СИМВОЛЫ ВРЕМЕНИ

Двадцатый век Анны Капицы

Воспоминания
Письма

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга основана на мемуарах, дневниковых записях, переписке и интервью Анны Алексеевны Капицы (1903–1996) — дочери крупнейшего русского инженера А. Н. Крылова и жены выдающегося ученого — академика, лауреата Нобелевской премии Петра Леонидовича Капицы (1894–1984). Время, охватываемое в этих материалах, включает три русские революции, Гражданскую и Великую Отечественную войны, сталинскую эпоху, годы брежневской стагнации и начало перестройки. В текстах проступает живая, заинтересованная личность, связанная многими связями с разными людьми и событиями, XX век обретает как бы новое измерение.

Книга подготовлена Е. Л. Капицей и П. Е. Рубининым — личным доверенным помощником академика П. Л. Капицы, снабжена пояснительными статьями и необходимыми комментариями. Рассчитана на самые широкие круги читателей.

- ДВАДЦАТЫЙ ВЕК АННЫ КАПИЦЫ: ВОСПОМИНАНИЯ, ПИСЬМА
  - От составителей
  - Предисловие (С. П. Капица)
  - Из первого дневника Ани Крыловой. Угличъ, 1917. (Публикация П. Е. Рубинина.)
  - «Ты должна записать мои рассказы…» (Е. Капица)
  - Из дневника Анны Алексеевны. Встреча с Англией, 1927 (Публикация П. Е. Рубинина.)
  - Свадьба и жизнь в Кембридже (Запись и литературная обработка Е. Капицы.)
  - Глазами матери (Е. Капица)
  - Письма отца (Публикация Е. Капицы.)
  - Письма в год разлуки (Публикация П. Е. Рубинина.)
  - «Я люблю с вами разговаривать…» (Публикация Е. Капицы.)
  - «Дирак, ты настоящий и очень драгоценный друг…» (Публикация Е. Капицы.)
  - Жена «дела Капицы» (Е. Капица)
  - Война
    - Из воспоминаний Анны Алексеевны (Запись и литературная обработка Е. Капицы.)
    - Из воспоминаний В. В. Кованова, врача казанского военного госпиталя № 3647
    - Из писем военных лет (Публикация

П. Е. Рубинина.)
- Шутка Анны Алексеевны (П. Е. Рубинин)
- Из переписки с мужем (Публикация Е. Капицы.)
- Банкет Победы в Кремле (Публикация Е. Капицы.) [122]

- Письма из Парижа (Е. Капица)
- Опала. Жизнь на Николиной Горе
  -
  - Из воспоминании Анны Алексеевны (Запись и литературная обработка Е. Капицы.)
  - Из переписки с сыном Андреем (Публикация П. Е. Рубинина.)
- Из дневников Анны Алексеевны. 1958 (Публикация П. Е. Рубинина.)
- «Очень без Вас скучно…» (Публикация Е. Капицы.)
- Иллюстрации

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27

- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71

- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115

- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159

- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК АННЫ КАПИЦЫ: ВОСПОМИНАНИЯ, ПИСЬМА

От составителей

Анна Алексеевна Капица (урожденная Крылова) прожила со своим мужем, выдающимся русским физиком Петром Леонидовичем Капицей, более 50 лет. Все, кто знал ее, неизменно отмечали ее незаурядный ум и волевой характер. В юные годы Анна Алексеевна собиралась стать археологом. Во Франции она получила соответствующее образование и уже готовилась защитить диплом, но неожиданная встреча с Петром Леонидовичем круто изменила ее судьбу. Она полностью оставила свои собственные интересы и отдала себя служению мужу, хорошо понимая, что, по крайней мере для нее, научная работа несовместима с положением жены Капицы. Как показало время, она оправдала взятые на себя обязательства — во всех сложнейших жизненных коллизиях Анна Алексеевна всегда была рядом с мужем, поддерживала его, разделяла с ним не только радости, но и тяжелые испытания.

Еще при жизни Петра Леонидовича Анна Алексеевна привела в порядок его громадный и очень разноплановый архив. После кончины мужа она много сил положила на создание Мемориального музея, была, без сомнения, главным идейным вдохновителем его обустройства и работы. Весь архив Капицы она передала в этот музей.

Анна Алексеевна всегда сознательно отодвигала себя на второй план и даже в экспозиции музея свела к минимуму свои изображения. Нам, к примеру, с большим трудом удалось уговорить ее вытащить из «подполья» очень красивый мраморный бюст работы скульптора А. Портянко.

После смерти Анны Алексеевны ее наследники передали сотрудникам Мемориального музея тот архив, который она до последнего дня хранила дома и который, как она, видимо, считала, больше касался ее самой. Там мы обнаружили обширную переписку Анны Алексеевны с самыми разнообразными людьми. Среди ее корреспондентов были и выдающиеся ученые, и деятели культуры, а часто и просто ее добрые знакомые. И что стало для нас полнейшей неожиданностью, так это дневники Анны Алексеевны. Конечно, многие десятилетия в истории нашей страны особенно не располагали к ведению дневников, но — уже начиная с 50-х годов — ее записи дневникового характера сохранились. Особенно регулярно и много она пишет после смерти Петра Леонидовича в 80-х и 90-х годах.

Кроме того, в наших руках были магнитофонные ленты с рассказами Анны Алексеевны о своей жизни и о людях, с

которыми ее сталкивала судьба.

Мы хорошо знали и очень любили Анну Алексеевну, и нам хотелось отдать должное этой, безусловно, выдающейся женщине. Так и родилась эта книга. Она составлена в основном из ее воспоминаний, писем и дневников. Анна Алексеевна прожила долгую жизнь, охватывающую практически весь двадцатый век. Рожденная еще до Октябрьского переворота, она прошла через годы эмиграции, долго жила в Париже и Кембридже. Затем было возвращение в Россию уже советской гражданкой в самое страшное время сталинских репрессий. Война. В семье Капиц никто не погиб в эти суровые годы, но были долгие девять лет, когда Капица жил, отстраненный от дел, в опальном положении, с минуты на минуту ожидая расправы. После смерти Сталина — возвращение к нормальной жизни в Москве. И еще пятьдесят с лишним лет уже послевоенной истории нашей страны прошли у нее перед глазами. Умерла Анна Алексеевна весной 1996 года, до последнего дня сохраняя полную ясность мысли и живой интерес к окружающим событиям.

Предисловие *(С. П. Капица)*

Перед вами книга, основанная на дневниках, переписке и воспоминаниях моей матери Анны Алексеевны Капицы. Ее жизнь с удивительной полнотой ложится на весь двадцатый век и, несомненно, отражает — как в ее судьбе, так и в судьбах близких ей людей — это необыкновенно насыщенное событиями время. Время, которым завершается не только столетие, но и тысячелетие истории человечества. Такое утверждение может показаться драматическим преувеличением, однако для него есть глубокие причины, показывающие, почему именно эта эпоха так значима. Более того, именно русский читатель легко поймет это в свете нашего исторического опыта, опыта, отраженного в жизни одной женщины.

С одной стороны, эта книга глубоко личная, но, с другой стороны, жизнь моей матери проходила на фоне самых крупных событий двадцатого века. Она родилась в 1903 году в Петербурге, и ее молодость пришлась на ту замечательную эпоху, которую в европейской истории называют Belle Époque, а в русской литературе Серебряным веком. Недаром ее так привлекала история искусств. Ее отец, Алексей Николаевич Крылов, был крупным ученым и инженером. Именно его идеям и энергии Россия обязана созданием отечественного флота, после того как страна потеряла старый в русско-японской войне. Этот новый флот служил России, как в Первую мировую, так и после Революции, в Великую Отечественную войну, до самого начала которой дед продолжал активно влиять на развитие флота. Он скончался осенью 1945 года в Ленинграде. Город и флот хоронили его как выдающегося деятеля, во все времена служившего своей родине. В 1927 году в Париже моя мать вышла замуж за Петра Леонидовича Капицу, с которым она прожила долгую и богатую событиями жизнь вплоть до 1984 года, когда отец, не дожив трех месяцев до своего 90-летия, скончался в Москве. Мать, пережив распад Союза, умерла в 1996 году. Я и мой брат Андрей родились соответственно в 1928 и 1931 годах в Англии, где тогда жил и работал отец. В 1934–1936 году по решению Сталина мы переехали в Советский Союз. Таковы временные и пространственные рамки жизни нашей семьи.

Два тома, посвященные жизни Анны Алексеевны, возможно, следует читать вместе с томом статей и материалов, связанных с жизнью и трудами П. Л. Капицы[1] и книгой А. Н. Крылова «Мои Воспоминания»[2]. Я хорошо помню, как глубокой осенью 1941 года, в первый год войны, в Казани, куда из Ленинграда был

эвакуирован дед, он, часто при неровном свете коптилки, глухим голосом читал нам свою книгу. А мы с братом, сидя у его ног, затаив дыхание, слушали. Так для нас впервые прошлое стало зримым и реальным — перед нами словно наяву разворачивались картины его детства и молодости. Описанные точным и выразительным языком, эти события теперь уже отделены от нас полутора веками истории.

Отец же не написал воспоминаний, но после него осталась, помимо статей, обширная переписка. Его письма к матери и жене написаны с удивительной теплотой и литературным мастерством и, несомненно, являются интереснейшими документами своего времени[3]. Не менее значима его переписка с коллегами и, особенно с Властью[4]. Этой, некогда секретной, переписке отец уделял особое внимание, а мать неоднократно перепечатывала эти письма с рукописи. Сегодня, когда так обострились взаимоотношения науки и общества, письма отца никак не потеряли своего значения и читаются с неизменным интересом и, я надеюсь, пользой.

Я потому так подробно останавливаюсь на том окружении, в котором жила Анна Алексеевна, что все это нашло свое отражение в ее собственных текстах. Это тем более существенно, что в наше время чрезвычайно возросла потребность в мемуарах, в человеческих документах нашей истории. Причем этот интерес появился у широкого круга читателей, и поэтому так важно понять его происхождение. Мне кажется, что это связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, художественная литература как-то потеряла способность к тому, чтобы достоверно, честно и доступно обобщать и описывать прошлое. Поэтому, быть может, слухи о смерти романа не так уж и преувеличены.

Другая же причина кроется в том, как мы обращаемся со своим прошлым, подчиняя его описание либо сиюминутной политической конъюнктуре, либо крайнему субъективизму, даже невежеству некоторых авторов. А в то же время именно в переломные эпохи особенно возрастает потребность в понимании как недавнего прошлого, так и настоящего. Поэтому, обращаясь к воспоминаниям, читатель надеется таким образом самостоятельно разобраться, что же происходило на самом деле и что происходит теперь. Так в минуты кризиса, если не отчаяния, мы все чаще обращаемся к прошлому.

Выше я уже отмечал, что наше время — это не просто конец века или тысячелетия. В конце концов, как по старославянскому церковному календарю, так и по календарям евреев, мусульман или китайцев никакой роковой даты мы как бы и не переживаем. Но тем не менее человечество, несомненно, проходит самый

серьезный рубеж в своем развитии за миллион лет своего существования. Именно потому прошедший век так важен, что он подводит нас к самому рубежу всемирного кризиса, середина которого приходится на 2000 год.

Эту критическую эпоху историк из будущего, наверное, будет сравнивать с «осевым временем», когда между 8 и 5 веком до Р.Х. происходит резкая смена ценностей, управляющих жизнью людей. Именно тогда, практически одновременно, начали появляться мировые религии и новая система ценностей, обращенных к человеку. Сегодня же порвалась связь времен, разрушаются не только исторические структуры и империи, но и общество и семья. Жизнь же каждого из нас оказывается дольше времени этих драматических перемен, а в состоянии стресса мы не можем адаптироваться к таким резким изменениям. Я хорошо помню, как Анна Алексеевна утешала своих правнуков, когда они искали у нее объяснения того, что происходит в стране. Она говорила, что пережила три революции, гибель своих братьев в Гражданской войне, эмиграцию и потрясения времен Сталина и Отечественной войны. Тем не менее этот исторический опыт служил основой ее оптимизма и жизненной силы, что так привлекало к ней близких и друзей. Теперь это завещано в книге, которая лежит перед читателем.

Эта книга обязана своим появлением трудам Павла Евгеньевича Рубинина и Елены Леонидовны Капицы. П. Е. Рубинин в течение почти тридцати лет был личным доверенным помощником моего отца, а затем все последующие годы посвятил работе над его архивом. Именно благодаря его таланту историка и публикатора архив Капицы стал доступен широкому читателю. Е. Л. Капице мы обязаны многочасовыми записями бесед с Анной Алексеевной, которые легли в основу опубликованных ниже воспоминаний.

Семья Капиц выражает им свою глубокую благодарность, равно как и издательству «Аграф», за осуществление этого проекта.

С. П. Капица

Николина Гора

5 июля 2003 года

Из первого дневника Ани Крыловой. Угличъ, 1917. *(Публикация П. Е. Рубинина.)*

Предателя ждали
Найти вы во мне
Ихъ нет и не будет
На русской земле.
Въ ней каждый отчизну
Съ младенчества любитъ
И душу изменой своей
Не погубит[5]

21 мая. Были в Покровском монастыре (вечером). В бору и на берегу. Утром в женском монастыре служили последний раз в зимней церкви. Очень богатая. Видели схимницу. В Покровском 4 монаха. Вышли в 4½, пришли в 1½ — Дама одна, Дуня, Маня пошли в сад. В саду сегодня митинг. В Покровском страшно много комаров. Вернулись со сметаной, творогом и рыбой. Переезжая реку, Е.О.А. оперлась на зонтик, он не выдержал, и она свалилась в лодку. Ловили майских жуков. <…>

22 мая. Ездили на лодке с Белоусовыми, с Антошей и В. М. до Зеленого ручья. Разводили костер. Взбирались на обрыв. Ходили в лесу, ели кислицу. Они не хотели попробовать. Гребли они и я. Ходили по берегу, искали чертовы пальцы. Назад ехали и пугали В. М., что сорвется паром. Дрались из-за денег, кому платить. Пили чай и говорили о приятном обществе барышень. Говорили: кто барышня, а кто — нет. (Ире — 12 лет, Ане — 14, Мане — 15.) Вечером я и Маня пошли на Австрийский бульвар. Когда шли обратно, то встретили Антошу и пошли с ним и Ю. М. слушать соловья. Для этого влезли на забор дома, где живут австрийские офицеры (оказалось, беженцы). <…>

23 мая. Опять ездили на лодке. Я, Антоша и Маня сели в одну лодку и отъехали, предложив В. М., Люде и Ире другую. Они не захотели. Мы им кричали, чтобы они садились, но они хотели уходить. Тогда мы сели в одну лодку и поехали все вместе. Люда кокетничала. Потом пошли без Люды слушать соловья. Когда провожали Люду, встречаем даму, очень похожую на

В. П. Антоша, не долго думая, снимает шапку и говорит: «Здравия желаю!» Вдруг замечает, что это не тетушка. Мы страшно смеялись. Когда шли домой, то видели ежа. «Тага» бросилась на него и отскочила как ужаленная.

24 мая. Сегодня мы первый раз купались. Страшно быстрое течение. После обеда ходили гулять по Рыбинской дороге. <…> Вечером ходили провожать Любочку. Возвращались и говорили о нашей надежде, т. е. велосипеде. Легли в 12 часов.

25 мая. Я не получила ни одного письма, сама все время пишу и пишу. Опять купались. Хотим не пропустить ни одного дня. Тетя Оля больна. Читаю «Вольтерьянец» и никак не могу прочесть. По-моему, в конце, где Нелидова и Павел I-й, там скучно. Совсем не занимаюсь. Очень хотела бы достать велосипед. А то так скучно. Что будет завтра? Получу ли я письмо? Наверное, нет. Сейчас засушу незабудки, пошлю их Наташе [Бурцевой]. Хотя и так она меня (я надеюсь) не забудет.

Вечером, даже, пожалуй, днем, ходили гулять я и Маня по Рыбинской дороге. Шли разутыми, потом обулись. Вечером провожали Е. И., смотрели на пароход. Уезжали новобранцы. Сидели на скамейке и видели Антошу с товарищем. Разговаривали о какой-то Катеньке. Играли с «Тагой», а с Антошей даже словом не обмолвились. <…>

7 июня. Была опять на службе с Иосифом. Простояла всю службу. Он говорил речь:

300 лет тому назад, когда взошел на престол 1-й Романов, мать благословила его иконой Федоровской Богоматери. Вот теперь произошло чудо, которое мало кто заметил. Под Москвой в г. Коломне одна женщина три дня подряд видела во сне видение Богоматери. Она была со скипетром и державой в руке. Богоматерь приказала женщине, чтобы она нашла икону, похожую на нее. Сначала женщина не верила, но потом пошла отыскивать икону. Она нашла ее в одной церкви, совершенно заброшенною. Это случилось в тот день и, может быть, час, когда Николай II подписывал отречение. После того икону восстановили, и она теперь совершает многочисленные чудеса.

Архиерей объясняет это так:

БОГ помазал на царство Михаила, и также БОГ и сверг Николая II. Теперь нашей Царицей будет Святая Дева Мария.

«Глас Божий — глас Народа».

Мне очень понравилась речь.

8 июня. Вчера вечером здесь ловили вора. Мы хотели ложиться спать, как услышали крики: «Держи! Лови! Бей! …… вора!» Мы выскочили и побежали ловить или, скорее, смотреть, как ловят. Мы побежали скорее. Видим — ведут. Он в белой рубашке и говорит: «Я ездил на ту сторону». У самого в руках узелок. Он ехал на лодке. Оказалось — не вор, матрос с пристани!

9 июня. Уехали из Углича. Ждали парохода с 12 ч. ночи до 5 ч. утра. Сели и уехали. Прощай, Углич. Я и М. сидели на корме и любовались видом. Я заснула на поезде. Села в вагон, и все лежали и спали. Была гроза. В Петроград приехали 11 июня. Колю[6] произвели 15 июня. Был Значко-Яворский. Красавец! Все офицеры. Уехали 16 июня в 7 ч. утра, чуть не опоздали на поезд. В школу шли пешком. Я исполняла роль трубочиста. Дым идет, куда угодит, только не в трубу. Купаться хожу к мальчикам. Наверное, поедем в Сырятино[7].

«Ты должна записать мои рассказы…» *(Е. Капица)*

Довольно скоро после того, как я начала работать в Мемориальном музее Петра Леонидовича, Анна Алексеевна стала мне постоянно говорить: «Ты должна записать мои рассказы о нашей жизни». Наши разговоры с магнитофонной их записью начались в 1991 году. Я часто приходила в ее уютную красивую квартиру, мы усаживались в глубокие кожаные кресла, и Анна Алексеевна начинала свой рассказ о прожитом. Она больше любила вспоминать свою жизнь с Петром Леонидовичем, для нее было главным сохранить как можно больше правдивых и прямых свидетельств. Она хотела в меру своих сил уберечь его биографию от всяческих измышлений и лжи. Но иной раз разговор принимал другой оборот, и Анна Алексеевна возвращалась мыслями к своему детству и юности, к тем годам, которые во всех архивных материалах она помечала «до Петра Леонидовича». Эти рассказы были уже о семье другого выдающегося русского ученого — Алексея Николаевича Крылова, и снова любое ее свидетельство было бесценно.

Когда образовалось несколько пленок, Анна Алексеевна отдала их расшифровать замечательной женщине — Тамаре Сергеевне Герасимовой. Тамара Сергеевна, вдова знаменитого антрополога М. М. Герасимова, всю жизнь работала стенографисткой в Академии наук и была очень дружна с нашей семьей. Отдавая Тамаре Сергеевне пленки для расшифровки, Анна Алексеевна преследовала сразу две цели — с одной стороны, ей очень хотелось поскорее увидеть результат нашей совместной работы, но наряду с этим она стремилась очень тактично поддержать Тамару Сергеевну материально, зная, что та живет лишь на свою пенсию.

В результате я стала обладателем объемистой стопки листов с записями рассказов Анны Алексеевны. Из них и были выстроены публикуемый ниже тексты («Ты должна записать мои рассказы…», «Свадьба и жизнь в Кембридже» «Из воспоминаний Анны Алексеевны»). Еще во время записи обращало на себя внимание то, что в ее воспоминаниях была некоторая «неравномерность». Какие-то эпизоды она рассказывала очень «отточенно», «подготовленно», а некоторые довольно продолжительные периоды были почти стерты из ее памяти, или она их излагала со значительными неточностями. Много лет спустя, уже после смерти Анны Алексеевны, мы обнаружили большое количество ее

дневниковых записей. Писала она нерегулярно, от случая к случаю. Значительная часть записей посвящена Петру Леонидовичу, их совместной жизни. И видно, что именно те моменты, которые она уже обдумала и записала, в дальнейшем она рассказывала особенно легко. Но интересно, что, несмотря на большое количество этих записей «для себя», она всегда отвергала предложение самостоятельно написать воспоминания «для публикации». Однако, получив составленный мной текст, она внимательно его прочитывала и вносила те изменения и уточнения, которые считала необходимыми.

Родилась Анна Алексеевна в 1903 году, и перед ее глазами прошел почти весь двадцатый век. До последних дней, а скончалась она в возрасте 93 лет, сохранила Анна Алексеевна живейший интерес к происходящему, темпераментно переживая наши политические и бытовые коллизии. «Жизнь человека длится, пока ему интересно», — любила она повторять.

«Я была пятым ребенком в семье. Первая девочка, названная Анной, умерла в семилетнем возрасте от общего туберкулеза. Вскоре родилась еще девочка, ее снова назвали Анечкой, но ей не суждено было прожить и нескольких месяцев. Потом появились мои братья, погодки — Коля и Алеша, а еще спустя лет шесть снова родилась девочка, и ее снова назвали Анной, — это и была я. Я — Анна третья».

Я была поражена таким упорством в выборе имени для дочери. Ведь даже очень здравомыслящий человек, на мой взгляд, не мог не поддаться ощущению рока, висящего над именем Анна.

«Я думаю, — объяснила мне Анна Алексеевна, — имя Анна было так дорого моей маме вот почему. Моя бабушка умерла очень рано. Дедушка Дмитрий Иванович Драницын, был чиновником довольно высокого ранга, вот и натура у него была чиновничья. Мне рассказывали, что человеком он был очень малоприятным, такой самодур — деспотичный и грубый. Детьми своими, которых у него было четверо, он тяготился, никакой привязанности к ним не испытывал, а овдовев, постарался поскорее распределить их в разные институты подальше от себя. Мою маму еще маленькой он забросил в институт в Казань. И вот с этого времени большое участие в ее судьбе начала принимать родная сестра ее матери — Анна Ипполитовна Тюбукина-Филатова. У них с мамой возникла какая-то особая душевная близость, они очень привязались друг к другу, стали очень дружны. Бесконечная любовь и благодарность Анне Ипполитовне,

заменившей ей мать и согревавшей маму в ее сиротстве, и побуждали всех рождавшихся девочек называть в ее честь».

Анна Алексеевна была всегда ярой феминисткой. Она постоянно повторяла: «Нельзя, чтобы половина населения не принимала участия в общественной и политической жизни страны». И очень становятся понятны истоки этих убеждений, когда слушаешь ее рассказ.

«Каникулы мама всегда проводила в имении у Анны Ипполитовны среди всей нашей многочисленной родни, а родня у нас была колоссальная — Филатовы, Ляпуновы, Жидковы, Сеченовы. Молодежь — бесконечное количество двоюродных братьев и сестер приблизительно одного возраста, очень либеральные и просвещенные люди. Достаточно сказать, что племянницей моей бабушки была знаменитая революционерка Вера Фигнер. И мама все время вертелась в этом либеральном обществе. Неудивительно поэтому, что, окончив институт в Казани, она сразу же решила ехать в Петербург и поступать там на Высшие женские (Бестужевские) курсы. Тогда в либеральных кругах считали, что в России должна быть культура и женщине непременно нужно продолжать образование, работать, быть самостоятельной, а не только женой и матерью».

В Петербурге и произошло знакомство юной Елизаветы Дмитриевны Драницыной с блестящим морским офицером Алексеем Николаевичем Крыловым. Надо сказать, что они были достаточно близкими родственниками — троюродными братом и сестрой.

«Когда мама решила ехать в Петербург поступать на Курсы, — продолжает свой рассказ Анна Алексеевна, — Анна Ипполитовна написала в Петербург своей родственнице Софье Викторовне Крыловой и попросила опекать молодую девушку. И тут довольно скоро начался роман у мамы с Алексеем Николаевичем. Софья Викторовна была сначала в ужасе: как это так, ей поручили девушку, и вдруг сын решил на ней жениться. К тому же — близкие родственники. Но в конце концов все уладилось. Мама вышла замуж, еще не окончив Курсы, — выпускалась она уже не Драницыной, а Крыловой».

Карьера Алексея Николаевича Крылова была блестящей и стремительной. Ко времени рождения Анны Алексеевны — он уже крупный ученый, математик, кораблестроитель, произведен в подполковники.

«В моих детских воспоминаниях отец — высокого роста, плечистый, с густыми черными волосами и окладистой черной

бородой. Творчество всегда его поглощало, оно было частью его жизни. Алексей Николаевич никогда не бывал праздным, чтобы отвлечься от одной работы, он находил другую. Но это не был кабинетный ученый, он всегда был среди людей. Блестящий рассказчик, очень остроумный, он любил веселый соленый анекдот и шутку. В молодости папа играл в теннис, ездил на велосипеде и очень увлекался стрельбой в цель.

Когда я была совсем маленькой, мы жили на Зверинской, это недалеко от Тучкова моста, на Петроградской стороне. И вот там, на Зверинской я помню бабушку и дедушку Крыловых, которые постоянно к нам приходили. Дедушка меня всегда дразнил, и поэтому я его немного побаивалась. Бабушка очень любила нас всех обшивать — всевозможные блузы, которые мы носили летом, — это все было сделано руками бабы Сони. Я воспитывалась очень демократически, по нашим теперешним выражениям. Папа был достаточно обеспеченным человеком, но у нас в семье никогда не было стремления к роскоши, была хорошая интеллигентская среда. Любимой книгой мамы был Некрасов, особенно „Русские женщины“. Они запали мне в душу с самого детства. Вероятно, отсюда мое чувство долга перед Петром Леонидовичем — дружба и стремление никогда не подводить, полное доверие, полная поддержка во всех случаях жизни.

Позже мы переехали на Каменноостровский, где родители снимали очень хорошую большую квартиру на втором этаже. У нашего дома был громадный задний двор и большой запущенный сад. Во дворе дома находился крошечный механический завод, принадлежавший друзьям Алексея Николаевича. На этом заводике делали все его необыкновенные приборы. Этот маленький заводик был знаменит именно изготовлением уникальных приборов ручной работы».

Анна Алексеевна доставала старинные альбомы, и, как бы в подтверждение ее слов, с любительских фотографий тех времен на нас смотрели молодые ее родители с веселыми лицами. Запечатленным оказался и Алексей Николаевич, стреляющий в цель, а рядом на фотографии видно, как он с явным удовлетворением рассматривает мишень. Большие компании, совершающие велосипедные прогулки, и среди них родители Анны Алексеевны и чета Боткиных — Александр Сергеевич и Мария Павловна, урожденная Третьякова.

«Лето и зимние каникулы, — поясняет Анна Алексеевна, — мы обычно проводили на даче в Финляндии. Это был небольшой

деревянный сруб, который родители выстроили одновременно со своими друзьями, дачи которых располагались вокруг нас. Кстати, нашими большими друзьями и соседями были Боткины, но у них был громадный дом и множество всяких строений вокруг — как-никак Боткины и Третьяковы, очень состоятельные люди. А наш дом был небольшим и стоял очень симпатично, на громадных кусках гранита вместо фундамента. Любимым нашим развлечением в детстве было лазать под него.

Перед дачей — большой луг, а потом Финский залив. Летом нам предоставлялась полная свобода: лес, лужайки, берег моря, лодки, купанье. Никто не останавливал наших шалостей. Мы лазали по деревьям как кошки, бегали до осени босиком, в дождь, в ветер, было очень весело. Нас было много — мои двоюродные сестры всегда жили с нами. Мы вполне наслаждались жизнью, там было очаровательно.

У меня были роскошные волосы, которые я, надо сказать, терпеть не могла. Особенно когда мама распускала их и, любуясь, расчесывала. Я вообще хотела быть мальчиком. Мама сшила мне штанишки, я закручивала косы вокруг головы и бегала как настоящий мальчишка. И меня очень забавляло, когда меня в самом деле принимали за мальчика.

Однажды, еще до войны, был такой случай. Папа дал какой-то совет одному очень знаменитому человеку по фамилии Захаров. Это был грек, один из самых богатых людей Европы, занимавшийся вооружением. Захаров был за это очень благодарен Алексею Николаевичу, а денег, очевидно, папа от него не получал. И тогда он прислал мне громадный сундук с великолепной куклой и со всем абсолютно набором одежды к ней, начиная с перчаток, да еще трех цветов — белого, розового и голубого. Это был совершенно роскошный подарок, все дети умирали от зависти, а мне было как-то все равно. Я в куклы не играла и всё говорила папе: „Ну почему Захаров не прислал тебе маленького тигренка, было бы гораздо интересней“. Зато потом моя тетушка жила довольно долго на этой кукле, продавая во время голода после революции вещички из ее приданого.

Мои два брата, Коля и Алеша, были абсолютно разные. Коля — высокий, черный, человек в себе, очень сдержанный, а Алеша, наоборот, был маленького роста, необыкновенно живой, контактный, веселый, блондинистый. Все его обожали и звали Лялька, не больше не меньше. И вот этот Лялька был необыкновенно мне нужен, потому что он всегда делал мои уроки. Я кричала: „Лялька, я не знаю, что тут в арифметике делать, пожалуйста, помоги мне“. Лялька приходил и с удовольствием мне помогал. Мои братья учились блестяще, они

оба были очень способные, особенно к математике, да и ко всем остальным предметам тоже. А я прилежанием не отличалась, зачем мне было надрываться. Ведь я была неслыханно избалованна. Да и как могло быть иначе — единственная девочка, которую так хотели, во что бы то ни стало. Ясно, что я была избалованна до предела. Это очень мешало мне в жизни, и еще долго с этой чертой характера мне приходилось бороться».

Уже после смерти Анны Алексеевны ко мне в руки попали сохраненные ею школьные тетрадки и аттестационные ведомости за первые годы обучения. И действительно, аккуратностью тетрадки не блещут, да и оценки весьма средние, разве что языки — французский и немецкий — давались ей очень хорошо. Встречаются записи «Очень болтлива и неусидчива», «С места отвечает хорошо, но связным рассказом затрудняется» и т. п. Но что поразило меня более всего, так это оценки по рисованию. Забегая вперед, скажу, что именно в рисунке и живописи в наибольшей степени проявился у нее талант впоследствии. В школе же по рисованию она получала всегда лишь «едва удовлетворительно».

«Иногда вдвоем с мамой, — вспоминала Анна Алексеевна, — мы ездили к Анне Ипполитовне, „бабе Анюте“, той самой, в честь которой я была названа. Братья предпочитали оставаться на даче в Финляндии, потому что там они всегда были заняты, что-то строили, мастерили. У бабы Анюты было малюсенькое имение в Симбирской губернии. Оно называлось очень смешно — Сырятино, но нам казалось, что это не от сырости, а от чего-то другого. Сырятино было для нас чудным местом, куда мама всегда ехала с восторгом, с огромным удовольствием. На железнодорожной станции нас уже поджидал бабушкин экипаж с ее любимым кучером Емельяном Ивановичем, которого мы все обожали. В моих воспоминаниях мы приезжали всегда вечером, и нам приходилось ехать еще верст пятнадцать, может быть двадцать. И вот уже в сумерках мы едем по этим бескрайним степям, и куда ни посмотришь — где-нибудь пожар, горит деревня. Это воспоминание детства совершенно яркое: мы едем, а где-то на горизонте горит.

Мы приезжали в деревню к бабушке. Баба Анюта восклицала: „Лизочка, как хорошо, что вы приехали“. Нас устраивали в очень уютную комнату. Это был такой старый дом, с портретами, с фарфором, очень симпатичный. Выходила тут же кухарка, толстая, ее очень смешно звали, но я никак не могу вспомнить, как, — у нее было очень странное русское имя. Она хлопотала

вокруг нас, делала какие-то пампушки, а утром мы сидели на террасе, перед нами был чудный сад, и бабушка радовалась. Очень всегда было хорошо у бабушки».

В альбоме у Анны Алексеевны я нашла фотографию Сырятина, а рядом было вклеено письмо к ней от одной из ее многочисленных тетушек. К сожалению, подписано письмо было просто «тетя Лиля», и мне не удалось установить более точных сведений о ней:

«Дорогая Аня, посылаю тебе фотографии твоих родителей и сад в Сырятине, посаженный руками тети Анюты. <…> Белый столб — это солнечные часы. Алеша (А. Н. Крылов. — *Е. К.*) их сделал, и в 12 дня все часы в доме поверялись по ним. <…> Помню, как радостно трепыхались сердца, когда летом мы подъезжали к Сырятину. Нас встречали на балконе дяди, тети и любимые кузины петербургские. Поцелуи, радостные восклицания, беспричинный смех, смех юности. Гувернантки остались дома. Взрослые нас не наблюдают. Какое раздолье! Большие в гостиной. Бабушка у своего столика вяжет бесконечный чулок, на столике колода карт, очешник, табакерка с нюхательным табаком. Мы носимся по двору, в конюшнях, опустошаем сад, перелетая, как стая воробьев, с крыжовника на вишни и яблони, бегаем купаться несколько раз в день. Непрерывное веселье, дружные крики и смех, смех…»

Неудивительно, что Елизавета Дмитриевна «всегда ехала туда с восторгом».

«Рядом в другом имении, через овраг, — продолжала Анна Алексеевна, — жил двоюродный брат бабушки, тут же были церковь, школа. Баба Анюта была известна тем, что она всех всегда лечила. В ранней юности во время последней турецкой кампании она была сестрой милосердия. И после — какая бы ни была война: 1905-го года — бабушка сестра милосердия, 14-го года (бабушка уже очень пожилая) — и опять она сестра милосердия».

В одном из семейных альбомов Анны Алексеевны есть такая страница: сверху написано — «Три поколения», и приклеены три фотографии, три медицинские сестры в косынках с красными крестами и в белых одеждах — Анна Ипполитовна, Елизавета Дмитриевна (на войне 14-го года) и она сама во время Великой Отечественной войны. Видимо, для Анны Алексеевны было очень внутренне важно, что она приняла семейную эстафету в этом благородном деле.

Мы не раз с Анной Алексеевной разговаривали о положении в современных общеобразовательных школах, о преимуществах и недостатках и частных, и государственных школ. Она рассказывала мне, как училась сама:

«Образование и мои братья, и я получили в очень интересной частной школе. Она называлась „Реальное училище для совместного обучения В. П. Кузьминой, основанное группой педагогов“, и в скобках стояло — нормальная общеобразовательная школа. Дело в том, что еще со времени ученья на Бестужевских курсах моя мама подружилась с целым кланом учителей-единомышленников, сторонников свободного обучения. Они решили создать свою собственную школу, где они могли бы проводить свои идеи. Было в нашей школе очень много нового. Как можно понять уже из названия, обучение было совместное — и мальчики, и девочки, классы маленькие — человек 8–10. Не существовало еврейской квоты, и у нас было очень много маленьких еврейских детишек, с которыми мы дружили с самого начала нашей жизни, и не было никогда никакого антисемитизма, даже признака, нам это просто и в голову не приходило. Нас учили прекрасные педагоги, особенно сильно давали математику и языки. Был танцевальный класс, где преподавал совсем юный танцор Романов, который потом стал одним из самых знаменитых хореографов в Мариинском театре. Мама принимала в нашей школе большое участие, заведовала там библиотекой и преподавала иногда историю. Мы очень любили школу, очень, и были необыкновенно дружны».

Здесь мне хочется прервать рассказ Анны Алексеевны воспоминаниями ее школьной подруги — Наташи Бурцевой. Спустя много лет, Наталия Николаевна стала женой выдающегося русского химика Н. Н. Семенова, а их дружба с Анной Алексеевной продолжалась почти 85 лет, до самой кончины. Умерли они в один год с разницей всего в несколько месяцев.

«Когда мне было 10 лет, — рассказывала мне Наталия Николаевна, — родители записали меня в частную школу В. П. Кузьминой. И почти сразу я обратила внимание на симпатичную девочку с толстой черной косой. Очень скоро мы с ней подружились. Девочку звали Аня Крылова. Мы были очень разные по характеру. Я — скорее чуть робкая, недаром у меня потом образовалось прозвище „Бэби“, немножко наивная, немножко застенчивая, в то время как Анечка отличалась довольно решительным характером. Несмотря на то что она была на год меня моложе, наши отношения, которые очень быстро

перешли в настоящую крепкую дружбу, всегда основывались на том, что Анечка меня опекала, мне диктовала, могла критиковать меня за какой-то поступок или ориентировать на какое-то действие. И я ей подчинялась. Но надо сказать, что это меня совсем не тяготило. Школу мы так и прошли вместе».

Анна Алексеевна всю жизнь бережно хранила тонкую связочку писем своих школьных подруг, написанных в основном, когда они все разъезжались на летние каникулы. В одном из писем Наташи Бурцевой есть такие строки:

«…Знаешь, Анечка, вот я теперь думаю, из всех моих трех одинаковых подруг — Нины, Юли и тебя, ты мне теперь нужнее всех, без тебя я больше всех скучаю, твоих писем я больше всего жду, с тобой мечтаю увидеться! И это не оттого, что я их стала меньше любить… Нет! Но за эту зиму мы с тобой очень сблизились, у нас все было общее, и радость, и неприятности, и огорчения! Правда? А помнишь, ты, когда читала „Накануне“, говорила, что мы непременно с тобой поссоримся, и на всю жизнь. А мне, наоборот, кажется, что мы подружились на всю жизнь! Не знаю уж, кто прав…»

Как показала жизнь, права была Наталия Николаевна.

В связи со школьными годами Анна Алексеевна рассказала и о своей первой поездке за границу.

«Наши мальчики кончили школу весной 14-го года и получили аттестаты зрелости — это был первый выпуск. В ознаменование этого родители и школьное начальство решили поехать на экскурсию за границу, чтобы показать детям Европу. Был закуплен большой тур, и было нас человек 15–20: дети, родители, педагоги. Меня тоже взяли с собой. Сначала мы были в Париже, потом — в Швейцарии, всё осматривали, всюду бегали… У меня сохранилась масса фотографий».

Анна Алексеевна подошла к полке и достала старинный альбом. В нем множество фотографий, запечатлевших это путешествие: виды Парижа, даже Альпы, куда они поднимались.

«И в Швейцарии, — продолжает Анна Алексеевна, — нас застала война. Мы оказались в полном бедствии, ведь у нас все было предусмотрено условиями тура, заранее оплачены обратные билеты, но были они через Германию. Сразу стало понятно, что с нашими молодыми людьми мы через Германию ехать не можем. Значит, надо было ехать кружным путем, а кружной путь требует денег. Все было сделано довольно быстро: кто-то деньги занял, что-то нам перевели, но с этого времени мы путешествовали уже самым дешевым образом, только бы доехать. Добирались мы восточным берегом Италии, вдоль Адриатики до порта Бари и

там сели на пароход.

Плыть было страшно интересно. Мы все жили на палубе, кругом — совершенно необыкновенные люди. Я с восторгом смотрела на албанцев, которые ходили в это время в юбочках, это был их национальный костюм — коротенькие юбочки в складку, очень живописные на фоне моря и гор. Особенно поразил меня на пароходе „древний грек“! Красивый человек, с длинными волосами до плеч, в сандалиях на босу ногу и обернутый в белую тогу. Я узнала, что это брат Айседоры Дункан. Он был привержен, как оказалось, жизни древних греков, их одежде и имел многочисленных последователей в Европе. Так что мы на фоне Древней Греции увидали „древнего грека“. Интересно было невероятно. Остановились в Пиреях, и тут же все бросились смотреть Афины. Афины оставили во мне неизгладимое впечатление на всю жизнь. Вообще, эта поездка запечатлелась в глазах и уме. Яркое солнце, выжженная желтая трава, синее море и не белый, а какой-то золотистый мрамор. Большие ступени к Акрополю. Чудеса кругом. Мне было 11 лет, но воспоминание осталось на всю жизнь. Насмотревшись Акрополя, мы поехали дальше — до Салоников на пароходе, а там сели на поезд и через Сербию в конце концов добрались до Ниша. Сербия в это время уже воевала, и Россия была на ее стороне. Помню очень хорошее отношение к нам сербов: нас кормили, поили, за нами ухаживали всячески, даже в поездах, которые были набиты до отказа, нас клали спать. В конце концов, через Болгарию и Румынию мы приехали на юг России. Все путешествие было для меня чудесным приключением. Так много надо было всего кругом увидеть, что обращать внимание на взволнованные разговоры взрослых просто не было времени. Одно запомнилось: нашим мальчикам 16–17 лет, как бы их не задержали где-нибудь. Конечно, нашим учителям и родителям пришлось нелегко, но им удалось выводить всю нашу компанию из очень трудных ситуаций.

Из путешествия мы вернулись уже в военный Петроград. Шла эта страшная война. Война начала менять жизнь и нашей семьи. Мама кончила курсы медсестер и все время работала в разных госпиталях, в лазаретах. Да и в доме у нас постоянно бывали, а иногда и жили раненые солдаты. Мама вела довольно большую работу, но все это было совершенно незаметно, как само собой разумеющееся. Детей военные события пока не коснулись — братья поступили в Политехнический институт на кораблестроительный факультет, а я продолжала учиться в школе.

Примерно в это же время у папы возник очень серьезный роман с Анной Богдановной Ферингер. Для мамы это был

тяжелейший удар — узнать о папиной измене. Она была в этом отношении безо всяких компромиссов и не могла даже подумать, что если Алексей Николаевич ей изменяет, то может быть хоть какое-нибудь прощение. Мама поручила нас своей сестре — Ольге Дмитриевне, а сама уехала на фронт сестрой милосердия. Когда мама уехала на фронт, папа был очень этим озадачен, но мама, если что-то важное решала для себя внутренне, то уже не могла от этого отойти».

Сохранились два письма, написанных маленькой Анечкой на фронт «Сестре Е. Д. Крыловой». Они полны милых любой матери подробностей детской жизни и тоски от разлуки.

«Дорогая моя мамочка, я и все мы здоровы. Я еще не получила четверть, но наверное скоро напишу тебе мои отметки. У нас уже шел снег, т. е. не снег, а дождь вместе со снегом, но все-таки в саду трава покрыта снегом, но он очень быстро тает, и получается грязь, и еще притом жидкая. <…> Мы по большей части обедаем все в разнос время. Я сегодня буду брать ванну и напишу тебе, промылись ли мои волосы или нет. Я думаю, что нет, потому что они никогда не промываются, а если и промываются, то плохо. <…> Наша учительница, Антонина Иосифовна, считает знаки препинания за ошибку! Но я все-таки не особенно много делаю ошибок. Елизавета Александровна нашему классу читает столько нотаций, что прямо ужас. Она делает так: перед уроком, во время урока и после урока читает нагоняй. Ты должна приехать к Рождеству непременно. Напиши мне, сколько я сделала ошибок. <…> До свидания, моя милая, и дорогая, и золотая, и серебряная мама.

Любящая тебя очень и очень твоя *Аня.*

P. S. У меня волосы более или менее промылись».

«Дорогая моя мама, я хочу к тебе приехать, здесь очень гадкая погода. Сообщаю тебе две неприятные новости. Во-первых — Лялька, ездя на мотоцикле, ушиб так себе ногу, что лежит уже третий день. Во-вторых: нашу дачу в Финляндии обокрали. Видишь, как все гадко, поэтому я и хочу к тебе приехать, еще я хочу посмотреть войну, это меня очень интересует. Ты должна приехать на Рождество непременно, а то мне будет без тебя скучно. <…> Приезжай к нам и возьми меня на войну вместе с тобой. „Я не хочу учиться, а хочу воевать“. Ну, до свиданья, моя мамочка. Ты приедешь и возьмешь меня, правда ведь? Тебя все целуют.

Любящая тебя очень твоя *Аня».*

«На фронте, — рассказывала Анна Алексеевна, — мама

пробыла около полугода, и, когда вернулась домой, внешне у нас в семье все сохранялось как прежде. Но война продолжалась, и жить становилось все сложнее и сложнее. К тому же весной 16-го года начался призыв студентов младших курсов в действующую армию. Братьям пришлось уйти из института, и они поступили в юнкерские училища: Алеша — в Михайловское артиллерийское, а Коля — в Инженерное. Это давало возможность идти в армию не солдатами, а самым младшим офицерским чином, прапорщиками, наверное.

Кончался 16-й год. Я хорошо помню волнение в доме — убийство Распутина, радость, разговоры, детали убийства. Это взбудоражило всех, произвело колоссальное впечатление на всю интеллигенцию. Говорили о том, что делается на фронте, какой развал. После Нового года, 1917-го, начались бурные события. Конец февраля — революция, отречение царя, общая радость, все вздохнули свободно. Интеллигенция встретила Февральскую революцию очень хорошо.

Запечатлелись в памяти споры взрослых, которые меня мало касались, и такая картина: белая кафельная печка, фигура папы. Он или стоит около печки, или сидит утром за столом, но видна только газета. Он просматривает „Новое время“. Мама читает „Речь“.

Летом 17-го года стало трудно с продовольствием, и было решено, что старшие классы нашей школы вместе с некоторыми родителями переедут на юг в Анапу. На юге можно было выжить лучше.

С этого времени семья наша распалась окончательно — мы с мамой уехали в Анапу, папа остался в Петрограде, братья ушли на фронт. Коля довольно быстро соединился с нами в Анапе. Алеша воевал до полного распада германского фронта».

У Анны Алексеевны хранилось письмо брата Алеши, написанное им в декабре 1917 года с фронта:

«Дорогая Анечка!

Я получил недавно твое письмо, за которое очень тебе благодарен. Сейчас я сижу в своей землянке и дежурю при телефоне (ты, наверное, знаешь, что я назначен в команду телефонистов). Я устроился очень хорошо и чувствую себя отлично, гораздо лучше, чем прежде. <…> Мир уже почти заключен — наверное, вы это знаете, у нас каждый день происходит братанье. Завтра я пойду смотреть, в чем оно состоит, и тогда допишу письмо. <…>

Сейчас получена телефонограмма, что переговоры о мире прерываются, т. к. союзники, а за ними и немцы, отказались от мира без аннексий и контрибуций. Объявлена мобилизация

(недавно у нас началась демобилизация), идет на фронт Красная гвардия — очевидно, Троцкий хочет запугать немцев, но вряд ли ему это удастся. В общем, кажется, опять будем воевать, хотя мы абсолютно не можем сдержать наступление немцев, если они вздумают наступать. Пока еще определенного ничего не известно…»

«Через некоторое время Алеша покинул Западный фронт, — продолжает свой рассказ Анна Алексеевна, — и включился в Белое движение. Коля тоже ушел в Белую армию, хотя он был абсолютно не военным человеком, воевать для него было ужасно. Но как офицер он не мог не войти в эту Армию. Алеша со своим темпераментом больше подходил к войне, она его как-то захватывала. Очень скоро мы с мамой получили известие, что Коля убит под Ставрополем (17 ноября 1918 года).

В 19-м году к нам в Анапу на короткий срок заехал Алеша и отправился дальше в Новороссийск. Там он вскоре поступил на бронепоезд, воевал и под Харьковом тоже был убит. (9 июля 1919 года).

Эти страшные смерти, гибель обоих сыновей, потрясли маму. Она была в ужасном состоянии. У нее произошел какой-то душевный переворот — она стала очень религиозным человеком и в этом находила успокоение. Мама решила, что меня нельзя оставлять в России — того и гляди я тоже уйду на фронт, тогда такое было настроение. А любила меня мама страстно. Но это я оценила много позже и, вероятно, часто доставляла ей если не горе, то боль. Но я была совершенно самостоятельна в своих вкусах, своих связях, дружбе и вообще в жизни. Я тоже очень любила маму, но близости, которой ей бы хотелось, у нас не было.

Мама решила эмигрировать, и мы уехали за границу вместе с нашими друзьями Скрипицыными. В Новороссийске сели на какой-то французский полугрузовой пароход, где спали и жили в трюме. Пароход, видимо, довез нас до Константинополя. Помню, что там я заболела и мы сняли комнату в Галате — это был самый бедный морской квартал. Но, несмотря ни на что, успели посмотреть Святую Софию.

В конце концов мы добрались до Женевы и на какое-то время осели там. У Скрипицыных в Женеве был свой дом, а мы с мамой рядом снимали комнату, очень симпатичную. С этого времени, хочешь не хочешь, мне пришлось стать серьезной, взяться за ум. Начала изучать английский язык, ведь французский я знала достаточно хорошо. Меня заинтересовало искусство, и я поступила в École des Arts et Métiers (Школа искусств и ремесел).

Это была школа, где изучалась и живопись, и разные прикладные вещи.

Через некоторое время мы решили перебраться в Париж. Жизнь в Швейцарии была очень дорогая. Когда мы переехали во Францию, там уже был в командировке папа. Мы встретились, а до этого, когда жили в Швейцарии, мы с ним только переписывались. Во Франции после пережитой трагедии — гибели сыновей, родители помирились вполне. Мама поняла, что семейной жизни у них не может быть, но дружба и любовь осталась. Существовала я — и для того, и для другого. Они оба сосредоточили свою любовь на мне и как бы в этом снова слились духовно. Их соединило общее горе и любовь ко мне, единственному оставшемуся ребенку из пяти! Папа всегда смотрел, чтоб мы с мамой ни в чем не нуждались, чтоб у нас было достаточно средств.

В Париже папа жил с Анной Богдановной Феринге́р, которая и была причиной разрыва родителей. Он занимался за границей самыми разнообразными флотскими делами. Кроме того, он никогда не прекращал научной работы, ведь он был математик, а математику не надо лаборатории, ему нужен карандаш и бумага. Я думаю, что ему просто хотелось жить заграницей. Мой отец был всегда вне политических событий. Он для своего класса был чрезвычайно странным человеком, принимал любое правительство, особенно не обращая на него внимания. Все правительства были одинаково плохи для него, он никакого не уважал и никому не доверял. Теперь когда я смотрю на его жизнь, то понимаю, что Алексей Николаевич смотрел на наше правительство как на землетрясение, наводнение, грозы. Что-то существует такое, но надо продолжать свое дело. Поэтому отец совершенно спокойно после Октябрьского переворота оставался, собственно, в том положении, в котором он был, преподавал в той же Морской Академии. И, в конце концов, ему предложили быть начальником Академии, на что он согласился. Конечно, это было в высшей степени странно: шел 18-й год, папа был полный царский генерал и, несмотря на это, совершенно спокойно стал начальником Академии. И тут ему пришлось читать лекции по высшей математике такому контингенту слушателей, которые, на мой взгляд, не знали вообще математики. Это был младший состав, а не офицеры. Но он был совершенно блистательным лектором и все это превзошел, и его слушатели, главное, это превзошли. Он, собственно, воспитал этих людей. Алексей Николаевич считал, что на нем лежит ответственность за судьбу русского флота и нужно делать свое дело. Он много лет работал за границей, мог там остаться, но ему это не приходило в голову.

Его психология очень интересна, потому что это совершенно не психология людей его класса.

В Париже мы с мамой какое-то время жили у Полин, одной из жен двоюродного брата папы — Виктора Анри. Виктор незадолго до этого развелся с Полин, а у нее была громадная квартира в Париже прямо рядом Lion de Belfort, это Denfert-Rochereau, левый берег, Raspail, Montparnasse. Мама была очень дружна с Полин, но когда та стала предлагать нам поселиться прямо в ее квартире, мама отказалась, ей хотелось жить отдельно и независимо, и попросила дать нам две комнаты наверху, предназначенные для прислуги.

У Полин была необыкновенная квартира — в нижнем этаже большого дома, с громадным садом, который как раз был на углу Lion de Belfort. Одно время она держала кур и уток, и в саду был крошечный пруд, где плавали утки, а куры спали на ветках деревьев. Полин была довольно известным ученым, работала в Институте Пастера и даже открыла какой-то микроб».

Анна Алексеевна, рассказывая о своей жизни в Париже в 20-е годы, была очень немногословна. Только значительно позже, разбирая альбомы, я как-то смогла представить себе некоторые ее фрагменты. По-видимому, у них был довольно большой круг знакомых в эмигрантской среде, в основном это были школьные друзья, учителя. Большой молодежной компанией они катались на лодках, разъезжали на велосипедах по окрестностям Парижа. Устраивали пикники, с костром, на котором кипятили чайник. Под одной из фотографий Анна Алексеевна сделала такую надпись: «Все лежат в изнеможении после велосипедной прогулки». Путешествовали они и по югу Франции, а также довольно часто навещали своих друзей Боткиных, которые обосновались в Италии, в Сан-Ремо. Как рассказывала Анна Алексеевна, Мария Павловна Боткина очень увлекалась фотографией, занималась этим практически профессионально. Она-то и приобщила Анну Алексеевну к фотографированию. Они посылали друг другу снимки. На одном из них запечатлен сильный снегопад в Италии, берег моря и сделана приписка: «Совсем как у нас в Финляндии». Увлекалась Анна Алексеевна и альпинизмом. Со специальным снаряжением, в теплых костюмах, связанные одной веревкой, поднимались они в Альпы. Есть фотоснимок: «Я на вершине Монблана».

«В Париже, — рассказывала Анна Алексеевна, — я бегала заниматься живописью на Монпарнас, это было рядом с нашим домом, просто десять минут ходьбы. Там были такие свободные

ателье, где стояла натура, ты платил 1–2 франка и мог заниматься. Кроме того, я стала серьезно изучать археологию в Эколь де Лувр. Особенно меня увлекали археологические раскопки в Сирии и Палестине, и я уже собиралась писать дипломную работу по керамике. Лувр и его коллекцию я знала очень хорошо, но мне хотелось поработать еще и в Британском музее в Лондоне. Но сколько бы я ни обращалась в английское консульство в Париже, мне вежливо, но твердо отказывали в визе со словами: „Мадемуазель, зачем вам ехать в Лондон, ведь Лувр такой хороший музей“. Я была эмигранткой — гражданкой с нансеновским паспортом.

Как раз в это время в конце лета 1926 года в Париж неожиданно приехала моя самая близкая школьная подруга — Наташа Бурцева. Она тогда уже была замужем за молодым талантливым физиком Николаем Николаевичем Семеновым. Приехала она в Париж из России вместе с мужем, который был командирован за границу для ознакомления с работами разных лабораторий».

Наталия Николаевна Семенова очень любила вспоминать эту поездку:

«Мы были за границей, — рассказывала она мне, — целых три месяца: сначала месяц в Германии, потом месяц в Англии, а потом во Франции. Когда я вышла замуж за Николая Николаевича, я довольно быстро узнала, что у него есть большой друг, русский физик, который живет и работает в Кембридже, — Петр Леонидович Капица. Когда мы приехали в Кембридж, я помню, Петр Леонидович сразу меня к себе расположил своей простотой, чувством юмора, жизнерадостностью и открытостью. Он опекал нас, заботился и все нам устроил хорошо, даже заранее снял домик к нашему приезду. Капица показывал Николаю Николаевичу лаборатории, знакомил с учеными. А потом возил нас на своей машине по всей Англии. После Англии мы уехали во Францию. Приехав в Париж, я, конечно, сразу же стала разыскивать Анечку Крылову, свою любимую школьную подругу. Все время, что мы провели в Париже, мы с ней общались каждый день. А тут и Петр Леонидович приехал из Англии, чтобы побыть с нами еще какое-то время, еще раз повидаться. Здесь и произошло знакомство Петра Леонидовича с Анечкой, при моей помощи, чем я очень горжусь.

Их общение сразу стало очень непринужденным, озорным, с шутками и розыгрышами. Я почувствовала, что они очень подходят друг другу. Через несколько дней был день рождения Елизаветы Дмитриевны, Анечкиной мамы, и мы все были

приглашены к ним в гости. Тут выяснилась одна интересная деталь — и мать Петра Леонидовича — Ольга Иеронимовна, и Елизавета Дмитриевна были студентками одного выпуска Высших женских (Бестужевских) курсов».

«Я с удовольствием показывала им Париж, который к тому времени успела хорошо изучить, — продолжает ее рассказ уже сама Анна Алексеевна. — О Капице я ничего не слышала раньше, хотя он был давно знаком с моим отцом и Алексей Николаевич к нему очень хорошо относился. Мы были очень счастливы все вместе и много веселились. Ходили в маленькие ресторанчики и кабачки, в кино и музеи. Петр Леонидович был веселый, озорной, любил выделывать всякие глупости, всякие штуки. Он мог, например, совершенно спокойно для развлечения влезть на фонарный столб посреди Парижа и смотреть на мою реакцию. Ему нравилось, что его выходки меня не шокируют и я принимаю вызовы с таким же озорством».

И снова рассказ Н. Н. Семеновой: «Я очень волновалась, как будут развиваться их отношения. Но знала, что с Анечкой нужно держать ухо востро: если я хоть раз намекну о каких-то своих матримониальных замыслах, то все будет кончено. Одно обстоятельство меня успокаивало — Анечка очень хочет попасть в Англию, поработать в Британском музее, а Капица с готовностью предложил ей свою помощь в этом предприятии…»

Вскоре после отъезда, Наталия Николаевна стала получать письма из Франции:

«27 сентября 1926 г., Париж

…Без вас в Париже грустно, некого дразнить, не с кем драться. И надо будет усиленно заниматься. Это хорошо. Я думаю за зиму много сделать для моей диссертации…»

«3 октября 1926 г., Париж

…Написала Птице-Капице. Он физик, человек потрясающий. Я получила от него письмо из Кембриджа. Нашел мне археолога на случай моего приезда в Англию. Теперь уверовала, что визу получу, когда нужно будет, наверняка. Но не поеду раньше марта-апреля, нельзя по причине диссертации…»

Письмо Анны Алексеевны Птице — Капице, то самое, о котором она упоминает, я обнаружила в архиве Петра Леонидовича, как и еще несколько писем и записок того времени, относящихся к началу их знакомства.

«6 октября 1926 г., Париж

Милый Петр Леонидович, спасибо большое за археолога, это очень хорошо, я ему обязательно напишу, когда соберусь в Лондон. Сейчас это не удастся, я думаю, что приеду только в марте или еще позднее. Сейчас никак нельзя. Я теперь совсем спокойна, что виза у меня будет.

Когда поеду в Лондон, то, конечно, больше всего буду сидеть в Британском музее, два отдела меня больше всего интересуют — восточный и греческой керамики.

Я очень жалею, что не могу поехать сейчас, но это никак нельзя переменить, хоть и хочется очень. Я Вам пересылаю письмо Семеновых, я нашла, что оно к Вам больше, чем ко мне относится, только я жалею, что Наташа его переписала, „муки творчества“ пропали. Они остались в Берлине дольше, чем думали. Думаю, что сейчас они или едут или уже в России. А меня тут еще археолог русский уговаривает ехать в Россию — копать.

Бедная птица померла, очень грустно, что не летает никто по комнате.

Когда будете в Париже — заходите.

Всего хорошего. Жму руку.

А. Крылова»

В письмо Анны Алексеевны было вложено «послание» Семеновых:

«[Без даты], Берлин

Если хочешь, пошли это П. Л.

Это послание написано моим супругом и повелителем в вагоне, написано ужасно, с зачеркиванием (муки творчества!!!), страницы идут в обратном порядке, а на нижней стороне — удостоверение, данное от отеля. Я предприняла кропотливый труд — переписать набело это дивное литературное произведение, дабы оно не пропало для потомства, а еще долгие века могло служить ему в назидание. Переписано буквально, если что не нравится — пеняйте на мужа…

Едем и скучаем без наших двух друзей. Перед нами четыре Рудольфа, из них 2 славных и молодых, но они не вцепляются друг другу в волосы, не ломают трубок, не целуют и обнимают Наташу. Нам очень грустно без круглоглазой и круглощекой морды, очень симпатичной, когда она улыбается, и менее симпатичной, когда читает проповеди, как следует жить и поступать. Также и без второй морды с папуасскими волосами и

черными угольками вместо глаз, которая силится показать, что она видела все виды и что ее ничем не проймешь, не разыграешь, а потом вдруг, сверкнув угольками, устремляется совсем искренне в бой. Мы сейчас только и думаем о будущем лете, когда мы твердо надеемся увидеть обе наши морды. Мне (Н. Семенов) очень хотелось бы, чтобы обе морды были в России в одно время, признаюсь, уже потому, что тогда прощай Петькина шевелюра, а значит, ему крыть будет нечем.

Петьке: не забудь привезти в Россию чемодан трубок.

Н. Семенов

(с подлинным верно)»

На рождественские каникулы Петр Леонидович приехал во Францию. Он и раньше часто ездил отдыхать в Париж, но теперь его особенно туда тянуло. Они проводили с Анной Алексеевной много времени вместе.

«31 декабря 1926 г., Париж

Милый Петр Леонидович, с удовольствием увижу Вас. И в театр соберусь. Я свободна все вечера, кроме сегодняшнего (31 декабря). Выбирайте сами, какой удобнее.

Всего хорошего.

А. Крылова»

Из писем А. Крыловой — Н. Семеновой:

«17 января 1927 г., Париж

…Около десяти дней гостил в Париже Петр Леонидович. Мы с ним хорошо время проводили, ходили вместе в театр. Он решил меня образовать, я ведь никогда здесь в театр не хожу. Были в музеях, обедали вместе, вас вспоминали очень много и за здоровье ваше все время пили и жалели, что вас нет. Драться нельзя было: свидетелей нет, а без них нельзя. Правда, сражались словесно, издевались всячески друг над другом, а расстались друзьями после всех битв. Правда, больше говорили о вещах серьезных. Однажды до поздней ночи в ресторане засиделись, вернулись домой только в три часа. Зовет в Англию, говорит, опекать меня там будет. Что ж, я не прочь. Он вас хорошо опекал. Я довольна, что вы мне его завещали. Глаза круглые, рот на сторону, трубка торчит все время. Славный малый. Мне положительно с ним легко быть и очень свободно. Когда поеду в Лондон, еще не знаю. Хотела в марте, да жаль занятия прерывать…»

«21 января 1927 г., Париж

…Я уже писала о Петре Леонидовиче. Что еще сообщить о нем? Однажды мы долго сидели и разговаривали, и я заметила, что у него иногда глаза его круглые становятся очень печальными и смотрят куда-то вбок.

Мы, кажется, пришли с ним к одному выводу, что надо быть веселыми и больше ничего. Людям приятнее видеть веселую и довольную физиономию. Раз это от меня зависит, то я и веселюсь. Зачем попусту грусть и тоску на других нагонять, когда лучше иметь вид веселый и довольный. И так довольно людей, которые этого не понимают. Так что и у него, и у меня были „морды“ очень веселые. Редко смотрели вбок. Зачем? От всего можно отучиться, и никогда не надо тоску и грусть другим показывать…»

Пишет Анна Алексеевна и в Кембридж, вспоминает проведенное вместе время и рассказывает о сложностях с получением английской визы.

«14 января 1927 г., Париж

Милый Петр Леонидович, конечно, будет гораздо лучше, если я Вашего археолога увижу в Париже. Я не люблю писать писем, предпочитаю разговаривать. Постараюсь начистить сапоги, как можно лучше, будут блестеть так, что издали видно будет.

Я, кстати, как только Вы уехали, так постриглась и причесалась, а то времени не было. Хорошо, что Вы мне напоминаете, что все пять конечностей должны быть в порядке, а, вот дело какое, у крыс[8] еще хвосты водятся, что с ними делать, указаний в Вашем письме не было?

Так что постараюсь к приезду Вашего археолога стряхнуть с себя всю пыль.

Я сейчас усиленно работаю, и меня даже взяло сомнение, ехать ли в Лондон, ведь это прервет мою работу, а я хочу посмотреть, могу ли я что-то сделать. Если нет, то надо со всем покончить и переменить радикально всю жизнь. Вместо Палестины поехать в Китай и бросить всю археологию. Это все выяснится так через шесть месяцев, за это время я хочу попробовать собрать хоть часть материалов.

Кстати, мальчишка Hals’a очень похож на Парижского, но гораздо лучше по технике, ловко написан, особенно нос и рот.

Всего хорошего, работайте побольше, а для чего, хорошо, что не знаете, так, по крайней мере, можете думать, что для пользы человечества, и этим утешаться.

Жму мышиную лапу крысиными когтями.

А. Крылова».

«11 февраля 1927 г., Париж

Милый Петр Леонидович,

Сегодня была в British Passport office, и все очень неутешительно, совсем дела мои плохи. Встретили меня там тем, что заявили: „да ведь Вас уже не пустили в прошлом году, почему же вы думаете, что пустят в этом“. Я ответила, что вообще ничего не думаю, а просто хочу поехать в Англию. Они мило улыбнулись и сказали, что очень маловероятно, что меня пустят, и вряд ли я там когда-нибудь буду. Я спросила, почему меня не пускают, говорят, что причина не уважительная — учиться всюду, должно быть, можно по их понятиям, и нечего мне по лондонам ездить. Самое лучшее, если я попрошу моих знакомых написать в Home Office и спросить объяснение, почему моя причина недостаточно уважительная. Я не могу им придумать другой причины, просто еду туда, потому что археологическая крыса и надо мне быть знакомой с музеями, особенно такими, как в Лондоне. Я начинаю жалеть, что в Лондоне нет никакого дяди или тетки старой, которые бы могли заболеть или умереть. Ну, да ничего не поделаешь. Я написала Robertson'ам, что они должны написать в Home Office. В прошлом году я просила визу на три недели, потому что это было на Пасху и я хотела там провести каникулы, теперь же мне желательно ее получить на шесть недель.

Собственно говоря, идет разговор о той визе, в которой мне отказали в прошлом году, я тогда подала прошение около 10 марта, теперь я пойду за новостями в British Passport office только после того, как Robertson'ы напишут в министерство. До чего же это все сложно и никому не нужно. Ведь я же еду на короткий срок, вроде как турист, какое же они имеют право меня не пускать? Я зла теперь страшно, бранюсь все время. Вам интересно, физическая обезьяна, знать, вычистила ли крыса сапоги, когда шла к Robertson'ам. Чистила их несколько дней подряд, не только их, сама постриглась, причесалась, была страшно хороша. Но, о ужас, пошел проливной дождь, так что к Robertson'ам пришла мокрая крыса. Очень было обидно, что красота, так долго и упорно наводимая, была уничтожена! И в консульство, когда шла, тоже сапоги вычистила — но и это не помогло! <…>

Всего хорошего.

Жму Вашу руку и благодарю за хлопоты — боюсь, что они напрасны и что легче мне увидеть несуществующие финикийские храмы, нежели Вестминстерское аббатство!

А. Крылова».

А теперь вернемся снова к рассказу самой Анны Алексеевны:

«Ранней весной 1927 года я получила наконец визу и оказалась в Лондоне. Денег у меня было не очень много, и я поселилась в общежитии YWCA (Young Women Christian Association[9]) — это очень дешевое, всего несколько шиллингов в день, общежитие, где останавливались девушки, которые приезжали в Англию учиться и работать. Со мной в комнате жила симпатичная индуска. Я сейчас же написала Петру Леонидовичу в Кембридж, и он приехал очень быстро. Мы много времени проводили вместе. По субботам и воскресеньям он непременно наведывался в Лондон, а иногда и я приезжала в Кембридж. Петр Леонидович любил искусство, особенно живопись, скульптуру меньше. Иногда мы устраивали такое развлечение. Показывали друг другу неизвестные нам картины, и требовалось определить автора. Я занималась в то время историей искусства и всегда угадывала правильно. Петра Леонидовича это забавляло, и надо сказать, он сам быстро стал ориентироваться правильно. Особенно Петр Леонидович любил Тинторетто, всегда старался его узнать».

И опять письма Анны Алексеевны. Как удивительно они дополняют ее рассказ — рассказ девяностолетней женщины перекликается с письмами двадцатичетырехлетней девушки.

«6 марта 1927 г., Париж

Милый Петр Леонидович,

Спасибо Вам за адрес, но я, кажется, буду жить у Христианских девочек (YWCA), я туда написала, и они ответили. Условия подходящие (2.2 фунта в неделю, а может быть еще дешевле, если приедет одна моя подружка, тогда будем жить вдвоем в одной комнате).

Я думаю выехать в среду утром, мне поручают тут заботиться об одной барышне, которая первый раз уезжает одна. Какая я оказалась солидная! Если будете в Лондоне в конце недели, то напишите в этот отель, мне приятно опекуна повидать. Но, вообще, будьте спокойны, я Вас буду мало беспокоить.

В случае, если туда не попаду, напишу Вам мой новый адрес, хотя думаю, что буду пока там жить.

Всего хорошего. Спасибо за визу, что бы крыса без Вас делала бы!?

А. Крылова».

«10 марта 1928 г., Лондон

Милый Петр Леонидович,

Хорошо все же приехать наконец в Лондон.

Буду ждать Вас в субботу, если, когда Вы прибудете, меня не будет дома, то подождите, значит, Крыса в Лондоне не на тот автобус забралась и опоздала. Христианские девочки меня решили заморозить, — думаю, что долго здесь не останусь. Хотя, может, это у Вас так принято в комнатах замерзать. Во всяком случае, я на одну неделю твердо обосновалась здесь.

Послушайте, обезьяна, будьте вежливы и не жмите у Крысы хвоста, а то она кусаться будет.

Кстати, одна из лондонских афиш поразила меня сходством с Dr. Kapitza.

Итак, до субботы.

Всего хорошего, опекун.

А. Крылова».

«17 марта 1927 г., Лондон

Милый опекун,

Я приеду в Кембридж в 5.50 (из Лондона поезд уходит в 4.15). Если опекун будет свободен, то, может быть, он снизойдет к воспитаннице и встретит ее? Чтобы она в умном городе не потерялась.

То, что приняли за меня приглашение к Robertson'ам, очень хорошо сделали. Все равно без Вашего разрешения я бы не посмела.

Всего хорошего.

А. Крылова».

«30 марта 1927 г., Лондон

Милый дядя,

Пожалуйста, напишите срочно адрес Robertson'ов и, вообще, как надо написать по-английски адрес на конверте. Я потеряла его, а надо написать скорее. Кстати, Вам нет выхода 8-го — шведка приглашена. Она мне все больше и больше нравится.

Всего хорошего.

А. Крылова».

«5 апреля 1927 г., Лондон

Милый дядя.

Приезжайте в пятницу, как хотели, к 2½, мы пойдем на картинки смотреть, я очень рада, что хорошая коллекция.

Путеводители куплю, те самые, что Вы написали. Вы знаете, что я всегда рада болтаться где угодно. На днях чуть в Лондон не приехал папа, но в последний день сообщил мне, что его вызвали срочно в Германию. Я очень жалею, мне хотелось моего старика

повидать и с ним поболтать. Теперь он, наверное, если и приедет, то меня не будет в Лондоне.

Всего хорошего, жду Вас в пятницу.

А. Крылова».

Путеводители в последнем письме упоминаются не случайно, и вот почему.

«Однажды, — вспоминала Анна Алексеевна, — под конец моего пребывания в Лондоне, Петр Леонидович сказал: „Хотите поездить по Англии? Посмотреть страну, ваши любимые замки и соборы?“ Я тут же согласилась. Да и кто же не согласится отправиться в поездку по Англии на открытой машине! Только у меня совсем не было денег. Но Петр Леонидович сказал: „Я вас приглашаю“. И мы отправились. Ездили по многим старинным аббатствам, старинным городам и доехали в конце концов до самых западных частей Англии».

Письма Петра Леонидовича к Анне Алексеевне того времени не сохранились, но своей маме он пишет:

«7 апреля 1927 г., Кембридж

Дорогая Мама,

Сегодня последний день работы, и завтра утром отправлюсь отдыхать. Сперва думаю поехать покататься на машине, потом на недельку в Париж. <…> Я решил поездить по Англии, т. к. ее меньше всего знаю. Никогда не оставался на каникулы здесь. <… > Тут я несколько раз виделся с Анной Алексеевной Крыловой. Она приезжала смотреть Кембридж. Очень умненькая и славная девочка. Много интересуется искусством и хорошо разбирается. Тебе, наверное, она понравилась бы. Твой вкус я хорошо знаю…»

«Путешествовали мы с полным удовольствием, у нас были очень хорошие отношения, вполне дружеские. Петр Леонидович любил шутить, любил подначивать, но и я была весьма независимой и энергичной особой. На ночлег мы останавливались в больших гостиницах. И вот как-то утром он спрашивает меня: „Что такое вы делали сегодня ночью? Администрация жаловалась, что мисс очень шумит“. „Очень просто, — ответила я, — перед самым окном стоял шкаф и мешал мне смотреть на великолепный пейзаж. Я его просто сдвинула и переставила на другое место“.

Во время нашей поездки Петр Леонидович много рассказывал мне о своей жизни, о трагических событиях, которые он пережил в России. Было впечатление, что ему хочется выговориться. Надо сказать, что позже, в последующие годы, он, наоборот, старался

никогда не говорить об этом…

Путешествие кончилось, и вот Петр Леонидович уже провожает меня на вокзале Виктория. Я отчетливо помню, как, уезжая, посмотрела в окно и увидела грустную, как мне показалось, маленькую фигурку, одиноко стоящую на перроне. И тут я почувствовала, что этот человек мне очень дорог…»

Кроме писем того времени, чудом сохранилась крошечная записная книжечка, что-то вроде ежедневника. Анна Алексеевна совершенно неожиданно обнаружила ее в своем домашнем архиве чуть ли не за несколько месяцев до кончины. Сохранившиеся в ней записи о времени, проведенном в Англии бесценны, ведь это непосредственные впечатления и ощущения «умненькой и славной девочки».

Из дневника Анны Алексеевны. Встреча с Англией, 1927 *(Публикация П. Е. Рубинина.)*

11 февраля, пятница. Была в British Passport Control Office[10]. Написала в Cambridge Капице и Robertson'ам. <…>

13 февраля, воскресенье. 21.30 M[usée] Guimet[11], лекция Marshall: Les recentes découvertes arch[éologiques] en Extrême-Orient[12].

27 февраля, воскресенье. Получила разрешение ехать в Англию. Написала Мите[13], Капице, Robertson'у.

2 марта, среда. 12.30. Крестины[14]. 3.00 Rotonde[15], потом Louvre.

9 марта, среда.…Уезжаю в Лондон. 3.30 h[16]. в Лондоне у YWCA. Холод. Завтра в B[ritish] M[useum]. На обед бурда. Родной Париж. Письмо маме. Капице. Говорю и понимаю.

10 марта, четверг. 10–6. B. M. <…> Ходила целый день по музею. Он очень хорош. Порядок, после L[ouvre], необыкн[овенный], и метода. Вазы. Парфсн[он]. Асс[ирия]. Ег[ипет]. Амер[ика] — Перу. И т. д., и т. д. Видела, т. е. прошла, кажется, весь…

11 марта, пятница. 10½ — 2½. Vic[toria] and Al[bert] музей[17]. Слишком велик. Чудная ит[альянская] и фр[анцузская] скульптура. Да здравствует грабеж! Есть абсолютно всё. <…> В музее завтракала. Опять B. M. — 3–6.

12 марта, суббота. N[ational] G[allery]. Веласкес не такой хороший, чудно повешено, но многое блестит. Piombo очень хороший, примитивы и пр.

5–6 — Капица. С птицей обедали и были на сыщиках в театре. Сначала ничего не понимала, потом пошло хорошо.

13 марта, воскресенье. С птицей на авто в Hampton C[ourt][18]. Прекрасно. Лондонские улицы все с одинаковыми домиками. Парламент и аббатство. В H. C. завтракали. Фрески

изумительные, а картины все подозрительные. Птица очень мил, и я тоже. Через неделю в Cambridge. <…>

14 марта, понедельник. В. М. Вазы и Ассирия до 3-х. Потом Лондон. Пешком до W[estminster] Abbey — ужасный хаос памятников внутри. <4 нрзб> Вернулась домой около 6-ти. После обеда писала письма маме и т. д.

15 марта, вторник. Была в Tate Gallery[19]. Англичане ужасны. St. Paul[20] — на самый верх, дивный вид. Лондон бесконечен. В. М. Написала массу писем. Кормят салом и мерзким супом. Все ем, потому что люблю гадость или безразлично, что глотать. Погода чудная.

16 марта, среда. Была в Tower[21], страшно. На набережных хорошо. И в темных улицах с домами-тюрьмами. 6.45. В. С. Вебер. Милый, похож на Алешу, но только пессимист. Нервный, <…> подергивается. Обедали, говорили, были в клубе.

17 марта, четверг. В. М., рисовала много и неплохо, но и не хорошо. Жаль. Писала письмо маме. Были с В. С. в кино, хорошо говорили, он меня трогательно опекает. Потом в кафе, боится, что меня плохо кормят.

18 марта, пятница. В В. М., Nat[ural] History. Замечательный, очень богатый и хорошо представлен. Там же завтракала — мерзость, сосиска несъедобная и т. д. Положительно, я становлюсь разборчива и обращаю внимание на мелочи. Лондон Museum. Чудный дом из керамики.

19 марта, суббота. Cambridge. 4.15 в Cam[bridge], Liverpool street. Ужинали, потом гуляли в молчании, как будто лишились языка. Глупо, но это еще придет. Остановилась в отеле Blue Boar[22].

20 марта, воскресенье. Гуляли всюду. Капица очень мил и заботлив. Завтракали у Robertson'ов. Ужасно. Молчу! Не пойду. Довольно. Были в labo[23]. Очень умный, тягаться трудно. Ужинали и много говорили, рассказывал о себе[24]. Я это люблю. Кончили вечер у Харитона[25] (Бэбин[26] друг, принимает ее всерьез).

21 марта, понедельник. Уехала в понедельник 21/III. Зашла в музей. Прекрасная критская <нрзб> Простилась до субботы.

22 марта, вторник. Письмо маме и папе. В Zoo, хорошо, но не понимаю, почему так знаменит, в Риме не хуже, а, по-моему, интереснее. Правда, здесь богаче. Например, жирафы очень хороши. Белого слона не видала, все серые. Опять тоска и я девочка. Плохо кончится.

23 марта, среда. В. М., и очень долго, до закрытия. Рисовала <нрзб> Nereides и все скульптуры, напоминающие знаменитый bas-relief из Pergam'a, где Афина дерет за волосы одного из гигантов.

24 марта, четверг. Была в PEF[27]. Надо зайти посмотреть их коллекции. 6 лет Hélène Henri[28]. Потом в N[ational] G[allery]. Хорошо, но начинаю не понимать живопись вообще, кроме Венеции, пожалуй. Olympia чертовски замечательна, забавна, главное танго. Вечером В. С.

25 марта, пятница. Дождь, град, чудная погода. В Hyde Park стадо баранов, митинги по воскресеньям. <…> В V[ictoria] and Albert Museum с Ingrid, потом Chelsea. Забавно звучит шведский. Хорошо не понимать ни слова, сидеть, слушать музыку языка и смотреть Chelsea old church[29]. Прекрасная. Вечер дома. Мамино письмо. Вечером 11½ прокатилась по <нрзб> ж.д.

26 марта, суббота. Жду дядю[30]. 1¼. W[estminster] Abbey — В. С. Были у тетки Shaw. <…> Гуляли хорошо по Hampstead Heath'у[31]. Вечером обедала с дядей и разговаривала на разные серьезные темы. Он плохо выглядел.

27 марта, воскресенье. Windsor Castle. Поехали все втроем в W. C. Ходили часа 3 по Virginia Water. Загоняли опекуна. Дождь, солнце. Дядя весел, забавлял нас шутками. Опекун, не привыкший к столь легкомысленной речи. Но я его предупреждала, что дядя — очень славный малый, но абсолютно бесцеремонный. Приехали все домой. Опекун ушел. С дядей были на отвратительном <2 нрзб>. Устали.

28 марта, понедельник. Письмо от Веры и мамы. С дядей в N[ational] G[allery]. Хорошо. Я только и чувствую себе хорошо в музеях. <…> Проводила до Кембриджа, хотела покататься. Погода очень хор[ошая]. Я, как маленький ребенок, радуюсь. До глупости. Дядя мил, но не очень, а я очень. <…>

29 марта, вторник. M[useum?] Soner[?] Очень хороший, манускрипты. В. М. Рисовала, погода поганая, льет дождь. Но ничего, хорошо даже под дождем. Я хожу почти без плана и совсем хорошо. Вечером индуска и шведка сидели у меня.

30 марта, среда. Написала по поручению <1 нрзб> в Прагу. V. and A. M. Хорошо смотрелись мерзости английские. С В. С. в Music hall'e. Ничего или мало понимала, но потом хорошо. Он очень славный. Домой от сада шла пешком. Хорошо пройтись ночью.

31 марта, четверг. Kew[32] — очень красиво <1 нрзб>, можно изучать ботанику с интересом. Никому не пишу, а надо очень многим. Получила письмо от дяди, что уезжает 8-го. Позже Robertson'ов. Устала. Спать. Надо пойти в PEF. Скоро месяц, как я в Лондоне, так много видела и узнала. Но решительно весела. Довольно горя, надо храбриться, как дядя. Он ловко это делает. Я также умею. Лондон очень хорош в тумане, под вечер. И [я] под дождем готова ходить всю ночь. Бедный опекун мокнет, но ему хорошо, он веселится; но надо прятаться, и так достаточно все плохо.

Я рада, что приезжает папа, очень его люблю. Хоть с дядей.

1 апреля, пятница. Tate Gallery. Письмо с дядей написала Rob[ertson'ям], что не приеду. Надо написать Наташе и Мите, он очень скучает. Я его недостаточно люблю, а он, в конце концов, хороший. Может, недостаточно для меня мерзавец. Вечер провела со своими Христианочками. Хорошо и весело. Как я глупа все же.

2 апреля, суббота. Boat Race[33], забавно. Количество народа невиданное, и все идут.

3 апреля, воскресенье. <…> 2½ опекун. Были в Kew с В. С. Хромает. Загуляли мы его с дядей. Поражаюсь его знанием ботаники, японских камелий. Вечером дивная прогулка по набережной Chelsea. Тихо, синий туман, огни еле видны. Долго гуляла одна. Хорошо! Вернулась домой.

4 апреля, понедельник. Папа не приедет, уехал в Гамбург и Киль. Жаль. <…> Люблю моего старика! <…> St. Bartolo <2 нрзб> норманская церковь. Ходила по Лондону. Завтракала с Ingrid. Хорошая она. Вечером дома забавлялись с Ingrid и de Souza. Дурачились. Завтра надо пойти в PEF, всерьез работа, а то так болтаюсь. Много читаю.

5 апреля, вторник. Была в Westminster'e. <…> Пол превосходный, ходишь как в мечети, в калошках. Католический громадный собор, Византийско-Романский. Неплохо, но будет гадко, когда кончат. Всюду мозаика испортится кирпичами. B. Museum, вазы.

6 апреля, среда. Читала целый день об аббатствах и замках. <…> Опекун грустный из-за Китая, но все же развеселила его немного.

7 апреля, четверг. Была с Ingrid в B. M. Ходили по скульптуре Ассирии, Египта, Греции. Она любит [скульптуру], и есть чутье, нужное археологу и кот[орое], я боюсь, у меня недостаточно развилось. Говорили с ней. Она не знает, что ей делать: выходить замуж за того, кот[орого] не очень любит, или разорять жизнь семьи, отчего она и уехала из Швеции. Вечером ушла с приятелем гулять. Писала письмо маме.

24 ч. Дядя, опекун, шведка и я кутили.

8 апреля, пятница. Были в Wallace Coll[ection]. Плохо. Ничего не видела хорошо. Дядя хорошо разбирается — что плохо, что хорошо. Лучше меня. Я понимаю, а он чувствует. Вечер провели все вместе. Дядя дурачился со шведкой. Очень поздно.

9 апреля, суббота. В 10 ч. заехал дядя, и поехали мы с ним через Winchester в Salisbury. Хорошо. Льет дождь, но дядя молодец, авто, как ручная лошадь, его слушается. W[inchester]. [Собор] хороший, но короток, потолок слишком низко. Первый (в смысле: лучший. — *П. Р.*) из соборов я увидела в S[alisbury]. Приехали вечером. Собор прекрасен. Старая готика.

10 апреля, воскресенье. Ramsey. Хорошее норманнское абб[атство]. Stonehenge[34], чудесный, очень страшный. На широком поле стоит один. Камни очень высокие. Красиво. Через Tauth [?] Castle в Minehead. T[ам] ничего особенного. Чуть не столкнулись, скользко, но д[ядя] хорошо управляет, тот был бы виноват.

Хороша Англия, холмы, поля, широко Море Сев[ерное], холодное, но хорошо. Окно на море, маяк, ветер шумит, морс. Все, что нужно.

11 апреля, понедельник. Забавлялись утром, как дети. Бегали

по пляжу.

20 апреля, среда. Уезжаю из Лондона (?)

Свадьба и жизнь в Кембридже *(Запись и литературная обработка Е. Капицы.)*

«Дорогая Ольга Иеронимовна, мне ничего не хочется писать Вам, только одно, что люблю Вашего Петю, совсем люблю. И Вас люблю за Вашу любовь к нему. И он будет счастлив, я сделаю все для этого. Ваша любовь к нему дала ему много счастья и спокойствия. Вот это мне и хочется больше всего — успокоить, уберечь его от всех волнений.

Про себя я ничего сказать не могу, только одно, что люблю его…»

(Из письма А. Крыловой к О. И. Капице
26 апреля 1927 года).

Когда я вернулась в Париж, после того нашего с Петром Леонидовичем путешествия по Англии, я уже ясно чувствовала, что этот человек мне очень дорог. Да и Петр Леонидович чуть ли не на следующий день приехал в Париж. Я поняла, что он мне никогда, что называется, не сделает предложения, что это должна сделать я. И тогда я сказала ему: «Я считаю, что мы должны пожениться». Он страшно обрадовался, и спустя несколько дней мы поженились.

Петр Леонидович написал своей матери:

«23 апреля 1927 г., Париж
Дорогая мама,
Я, кажется, на будущей неделе женюсь на Крысе Крыловой. Ты ее полюбишь. Целую всех, всех.
Петя».

Моя мама хотела, чтобы мы непременно венчались в церкви, что мы и сделали. Кроме того, надо было зарегистрировать наш брак в советском консульстве, а для этого мне было необходимо взамен эмигрантского получить советский паспорт. Мой отец, Алексей Николаевич Крылов, в то время работал во Франции и хорошо знал нашего посла Христиана Раковского. Он пришел к нему и сказал: «Моя дочь снюхалась с Капицей. Ей нужен советский паспорт». «Это очень непросто и займет много времени, — ответил посол. — Мы поступим проще: попросим персидское посольство дать ей персидский паспорт, и тогда нам

будет легко поменять его на советский». Отчего-то Алексею Николаевичу совсем не понравилась перспектива превращения его дочери в персиянку. Он страшно рассердился и поднял такую бучу в посольстве, что очень скоро все формальности были улажены. При регистрации нашего брака в советском консульстве произошла чудная история. Нас приняла там строгая дама, которая, как было видно сразу, абсолютно не понимала шуток. А Петр Леонидович всегда шутил и если видел, что у человека отсутствует чувство юмора, тут-то его особенно и разбирало. Строгая дама нас записала, а Петр Леонидович ей и говорит таким веселым тоном: «Ну, теперь вы нас три раза вокруг стола обведете?» (Он имел в виду — по аналогии с церковным венчанием.) Дама безумно обиделась, рассердилась и сказала сурово: «Ничего подобного. Но я должна сказать несколько слов вашей жене». И, обращаясь ко мне, добавила: «Если ваш муж будет принуждать вас к проституции, приходите к нам жаловаться». Даже Петр Леонидович был озадачен. Зато мы запомнили такое благословение на всю жизнь.

Обо всем этом Петр Леонидович написал Резерфорду:

«27 апреля 1927 г., Париж

Мой дорогой профессор Резерфорд,

Завтра и в пятницу я женюсь. Я хочу сказать, что завтра — в консульстве, а в пятницу — в русской церкви в Париже. Когда вернусь в Кембридж, я не знаю. Что Вы об этом думаете??!! Боюсь, что Вы скорее всего сердитесь. Вот почему я собираюсь обойтись без медового месяца и хочу привезти мою жену в Кембридж через несколько дней после женитьбы. <…>

Помолвка была примерно неделю назад, и все это время мы были заняты устройством формальной части моего бракосочетания. Дело оказалось очень трудным, поскольку моя будущая жена — русская эмигрантка и советское консульство чинило препятствия в отношении регистрации этого брака. Но сейчас, после длительных разговоров, они дали согласие. <…>

Надеюсь, Вы понимаете, что я пал жертвой собственных 300 000 гаусс, и должен признаться, что полученная мною доза была весьма велика…»

Вскоре был получен ответ:

«29 апреля 1927 г., Кембридж

Мой дорогой Капица,

Получил Ваше письмо сегодня утром, за завтраком, и прочитал его с большим интересом и удовольствием. Желаю Вам

и Вашей жене всевозможного счастья в вашем новом положении. <…> Мы с женой шлем Вам наши самые теплые поздравления с этим событием и наши наилучше пожелания на будущее. Говорят, плоха та жена, которая хоть немного не поможет, так что я могу рассчитывать на то, что Ваша работа пойдет еще успешнее.

Я не очень удивлен этой новостью, поскольку до меня уже доходили слухи о Вашей магнитной восприимчивости под воздействием сильно притягивающих полей!»

В Париже у Петра Леонидовича было много друзей. Он любил Францию и приезжал сюда не только по научным делам, часто проводил здесь свой отпуск. Среди людей, с которыми Петр Леонидович познакомил меня в Париже, был Пьер Бикар, ученик Ланжевена, молодой французский физик. У отца Бикара было большое меховое дело. Бикар предложил Капице купить мне меховое манто, при этом брался сделать так, что оно обошлось бы значительно дешевле. Каково же было его удивление, когда на вопрос Петра Леонидовича, хочу ли я манто, я с презрением ответила, что никогда не ношу мехов. Бикар был поражен: «Знаешь, Капица, первый раз вижу женщину, которая отказывается от мехового манто». Он всегда мне это вспоминал.

Решив, что надо устроить что-то вроде медового месяца, мы поехали в Довиль — очень модный и симпатичный курорт на Ла-Манше. Петр Леонидович любил модные места, роскошные гостиницы и всякую такую чепуху. Он никогда не мог привыкнуть к тому, что мне это абсолютно безразлично, и говорил: «Это ужасно, ты никогда не понимаешь, что ешь, тебя очень трудно угощать».

Не прошло и нескольких дней нашего медового месяца, как Петр Леонидович сказал мне: «Знаешь, мне очень хочется ехать в Кембридж, работать. Поедем». И мы поехали…

Довольно скоро я поняла, что первое и основное у него — его работа. Так что мне нужно было с самого начала решить, что работа — это самое главное. А все остальное к ней прилагается. И не надо мне по этому поводу делать ему никаких скандалов, хотя можно иногда сердиться — в конце концов, нельзя было все спускать, надо было его иногда и останавливать.

Сначала Петр Леонидович хотел, чтобы я ему помогала в лаборатории, занималась фотографированием и еще чем-то в этом роде. Но из этого ничего не получилось, потому что я абсолютно ни с какой стороны не научный работник. Было совершенно очевидно, что Лаурман все делает гораздо лучше, а на меня Петр Леонидович только раздражался.

Но в лаборатории я бывала часто. Когда к Петру Леонидовичу

приходили гости, он обязательно устраивал чай, прямо в том зале, где находилась большая машина. Там было много места, потому что машина должна была стоять далеко от катушки. Освобождали лабораторный стол и ставили его посередине. На него водружали большой самовар. Петр Леонидович был большим патриотом и всячески подчеркивал, что он русский, даже в мелочах.

Такой чай бывал, только когда к самому Петру Леонидовичу кто-нибудь приходил или Резерфорд кого-то приводил, а ежедневно чай пили в Кавендишской лаборатории. Около пяти был перерыв, и все сотрудники собирались на чай, но это не было долгим действом. Пили чай, решали какие-то свои насущные проблемы, которые можно было тут решить сразу, и уходили работать дальше.

Пока Капица не был женат, он жил в Тринити-колледже, у него были две хорошие комнаты на втором этаже Nevill's court. Но семейным людям не полагалось жить в колледже. Сначала мы сняли совсем маленький симпатичный домик в самом центре Кембриджа в Little St. Mary's Lane, но вскоре переехали в дом на Storey's way, где родился наш старший сын Сережа. Понемножку завели мебель. В то время Петр Леонидович еще играл на фортепьяно, и ему очень хотелось его иметь. Так что мы купили пианино, и впоследствии этот инструмент переехал с нами в Москву. Петр Леонидович любил, чтобы в доме были картины, и всегда говорил, что картины должны висеть в частных домах, а музей — это кладбище картин.

В доме на Storey's way мы жили долго. Туда к нам приезжала Ольга Иеронимовна, мать Петра Леонидовича. Она приехала познакомиться со мной и понянчить маленького, недавно родившегося внука. Есть прелестная фотография Ольги Иеронимовны с маленьким Сережей на руках. У нее такое веселое, счастливое лицо — наконец, она как-то успокоилась за Петра Леонидовича: он снова не один, у него семья, и, что немаловажно, его жена не англичанка.

Петр Леонидович был очень контактным человеком, с живым интересом к самым разнообразным проблемам науки, общества, искусства. Поэтому и круг друзей у нас был очень широк. Но я думаю, одним из самых близких Петру Леонидовичу был Поль Дирак. Замкнутый, немногословный, застенчивый, можно сказать, абсолютно противоположный Капице по характеру, Дирак был с ним как-то особенно душевно близок и трогательно внимателен. Когда Капица был вынужден остаться в СССР и не имел возможности сам никуда поехать, Дирак много раз приезжал в Россию, чтобы побыть с ним, чтобы Петру Леонидовичу не было

здесь одиноко. В самый трудный период — летом 1935 года, когда я с детьми еще оставалась в Кембридже, Дирак приехал специально, чтобы вместе провести отпуск.

Возвращаясь к нашей жизни в Кембридже, нельзя не вспомнить Джеймса Чадвика. Особенно в первые годы Чадвик был достаточно близок с Капицей. Однажды они поехали куда-то на мотоцикле Петра Леонидовича. Чадвик был за рулем. Так случилось, что на большой скорости мотоцикл опрокинулся, и они оба вылетели из него. Петр Леонидович при этом сильно рассек себе подбородок, и память об их с Чадвиком прогулке осталась у него на всю жизнь. Но их отношения, по-видимому, не испортились. Чадвик позвал Капицу быть шафером на своей свадьбе, а шафером, по английским традициям, мог быть только близкий друг.

Надо сказать, что в молодости Капица был очень лихим водителем. Приехав в Кембридж, он сразу купил себе мотоцикл, а когда мы познакомились, у него был уже автомобиль — «Лагонда». Он любил быструю езду и если чувствовал, что его пассажир в испуге смотрит на спидометр, то всегда утешал его тем, что спидометр показывает километры, а не мили в час (как это было на самом деле). Он мне рассказывал, как однажды проскочил между двумя идущими навстречу друг другу трамваями, в самый последний момент. Петр Леонидович очень любил Чарлза Эллиса. Это был прелестный человек. Он стал физиком в германском плену, куда по воле судьбы попал вместе с Чадвиком. Чадвик сумел заинтересовать Эллиса физикой, и он стал выдающимся ученым.

В начале своего пребывания в Кембридже Капица был дружен со Скиннером и всей его семьей, одно время отчаянно ухаживал за сестрой Скиннера, очень красивой девушкой. Мать Петра Леонидовича была в ужасе, что он женится на англичанке и не вернется в Россию. Капица всегда говорил, что Скиннер хороший физик, но у него есть один большой недостаток: он очень богат. Семья Скиннеров была владельцем знаменитых сапожных магазинов «Лилли энд Скиннер» (Lilley and Skinner).

Долгие годы близкими нашими друзьями были Кокрофты — Джон и Элизабет. Когда их первому ребенку было около четырех лет, он неожиданно для всех умер. Я до сих пор слышу голос Джона по телефону, когда он мне позвонил и сказал: «Тимоти умер…» — «Как умер?» — «Так, закашлялся и умер…» Это был страшный удар. Когда Кокрофт уезжал куда-нибудь вечером и Элизабет оставалась дома, я всегда к ней ездила, и мы проводили вечера вместе, чтобы она не оставалась одна. Это было большое общее горе. Джон и Петр Леонидович много работали вместе,

особенно над постройкой большой машины — «импульсного генератора». А потом, когда понадобилось переправлять генератор и все оборудование Мондовской лаборатории в Москву, то и здесь Кокрофт все организовал наилучшим образом.

Но, безусловно, наибольшее влияние на Капицу имел Резерфорд. Капица восхищался всегда Резерфордом и считал его не только гениальным ученым, но и совершенно поразительным человеком. У них была настоящая дружба, очень интересные внутренние отношения, о которых, в сущности, никто не может рассказать. После того как Капица стал членом Тринити-колледжа, он по заведенной традиции стал ходить туда на воскресные обеды. Это было такое место встречи, где всем было интересно. В обеде участвовали не только физики, но и ученые, работающие в самых разных областях, — члены колледжа и их гости. Непременно бывал и Резерфорд. Они проводили вместе вечер. Разговоры, начавшиеся за обедом, продолжались, когда Капица провожал Резерфорда домой. Дом Резерфорда был на их пути. Надо только пройти вглубь, перейти через мостик, и на Бекс-аллеях находился дом Резерфорда. И вот они вдвоем долго гуляли по этим аллеям перед тем, как расстаться. Говорили о самых разных вещах: о науке, о политике, об истории, обо всем. К сожалению, никто так и не узнает, о чем они говорили. Иногда эти прогулки длились долго. А потом Резерфорд входил в свой дом, а Петр Леонидович шел к себе. Уже много времени спустя, когда Капица оказался в Москве, Резерфорд писал ему, как ему не хватает этих прогулок и разговоров.

Однажды Петр Леонидович повел Резерфорда на представление «Дяди Вани» Чехова. Резерфорд заинтересовался Чеховым, его драмами. После спектакля он был сильно взволнован и сказал Капице: «Я бы так же, как дядя Ваня, стрелял в профессора…»

Когда Петр Леонидович учредил свой семинар, то он стремился к его международности. Он постоянно приглашал выступить всех физиков, которые приезжали в Англию, в Кембридж, а иногда у него докладывали и не физики. У Петра Леонидовича установились широкие связи и хорошие отношения практически со всеми физиками Европы. Он очень любил Ланжевена и, когда бывал в Париже, всегда с ним виделся. У него были друзья и в других европейских странах — Дебай, Штерн, Эренфест, Франк, Борн, Бор — со всеми этими замечательными учеными Петр Леонидович довольно часто встречался и переписывался. Меньше всего друзей у него было в Америке — ведь тогда там все только начиналось. Он был дружен с сыном большого американского физика Р. Э. Милликена, был у него и

ученик из Нового Света — канадец Вебстер.

Одно время у Петра Леонидовича работал молодой индус Даулат Сингх Котари. В Англии он чувствовал себя не очень уютно, так как хотя и не был националистом, но боролся за индийскую независимость. Котари с удовольствием приходил к нам — для него было очень важно, что мы не англичане, к тому же мы всячески старались его пригреть. Котари был вегетарианцем, мы учитывали и это. Когда Котари закончил работу у Петра Леонидовича и защитил диссертацию, то я спросила его, что он будет делать в Индии. Он грустным голосом ответил: «Наверное, сяду в тюрьму». Но, слава Богу, этого не произошло, хотя он и был очень близок Неру. Впоследствии Котари был в правительстве Неру, но физику не бросил; одно время был президентом Академии наук Индии. Котари всю жизнь почитал Петра Леонидовича, был ему глубоко благодарен. Когда много лет спустя мы были в Индии, то поняли, что в те далекие английские годы сделали для Котари что-то очень важное, что он запомнил на всю жизнь.

Петр Леонидович всегда следил, чтобы к нему приезжали русские физики, если они работали, как англичане говорят, на континенте. Когда И. В. Обреимов решил приехать на некоторое время в Англию, то Петр Леонидович помогал ему добыть визу. С этим связана чудная история. Петру Леонидовичу позвонили как-то по телефону и спросили: «Кто такой Обреимов?» Петр Леонидович ответил, что это известный молодой русский ученый. «А, ну тогда все благополучно». Как впоследствии выяснилось, когда Обреимов сошел на английскую землю, то был задержан — его вид не внушал доверия английским таможенникам. На нем был надет какой-то необыкновенный лапсердак, сзади висел рюкзак, сверху к рюкзаку был приделан чайник, а в чайнике лежали диапозитивы. Англичане не могли поверить, что у ученого может быть такой вид.

Кроме физиков, у нас было много друзей, самых разнообразных, — историки, литературоведы, археологи, священники, экономисты и т. д. Среди наших друзей были Мери и Хью Хьюзы. Он был выдающимся архитектором, довольно много строившим в Кембридже. По проекту Хьюза была сооружена Мондовская лаборатория, которую Лондонское Королевское общество построило специально для работ Петра Леонидовича. Он же проектировал и наш последний дом на Huntingdon Road. Кроме того, Хьюзы состояли в обществе охраны мельниц, и у них самих была мельница в Норфолке, на берегу моря. На этой мельнице мы с детьми жили три лета.

Когда мы решили построить собственный дом, нам удалось

получить хороший участок. Считалось, что это далеко от центра, но на самом деле было минут десять езды на велосипеде. Недалеко располагалась университетская ферма. У нас был большой участок с теннисным кортом. Рядом мы разбили очень смешной маленький сад, посадили там деревья. Когда мы поселились на Huntingdon Road, наш участок был совершенно голый, а сейчас там вырос сад. Мы наведались посмотреть, что стало с этим местом, когда приехали вновь в Кембридж после тридцатилетнего перерыва. В этом доме родился наш младший сын Андрюша.

Маленьких детей Петр Леонидович боялся, он почти никогда не брал их на руки. Он не мог забыть ужасной гибели своей первой семьи. После этой трагедии он страшно переживал болезни своих близких, до сердечных приступов. Болезни для него — это был просто ужас. Он никогда не мог успокоиться, и его безумно травмировали любые болезни детей. Он интересовался детьми, когда они становились более или менее большими. Трагедия, пережитая в юные годы, долго, очень долго не оставляла его. Он не любил вспоминать прошлое и никогда не рассказывал об этом. Мы не отмечали Рождественские праздники, ведь это были для Петра Леонидовича страшные дни, когда умерли его жена и новорожденная дочь. Только много позже, когда подросли наши дети, мы стали для них устраивать праздник.

Пока мы с Петром Леонидовичем жили в Англии, то почти каждое лето во время отпуска приезжали в Россию. И тогда он обязательно встречался с нашими «старшими товарищами», особенно с теми, кто заведовал в это время наукой. Как-то раз Петр Леонидович договорился о встрече с Н. И. Бухариным, и эта встреча совпала с днем нашего отъезда из Москвы в Ленинград. Бухарин был веселым человеком и хорошо говорил. Он был великолепным спорщиком. Бухарин пытался убедить Капицу, что чем больше ученых занимается наукой, чем больше существует научных институтов, тем лучше. Петр Леонидович же доказывал, что наука развивается совершенно по другим принципам. Они спорили долго, наконец Капица вынужден был сказать Бухарину, что ему надо ехать на вокзал, потому что сегодня он уезжает в Ленинград, на что Николай Иванович ответил: «В таком случае я вас провожу — ведь спор наш еще не окончен». И всю дорогу они продолжали спорить. Но вот мы приезжаем на вокзал, подходим к нашей «Стреле», Бухарин нас провожает, и они с Петром Леонидовичем все продолжают спорить. Нам надо уезжать, и тут Бухарин вдруг говорит: «Знаете, я не могу этого так оставить, я поеду с вами, только позвоню по телефону, что уезжаю». Через

некоторое время, когда поезд уже шел, Бухарин появился в нашем купе и спор продолжился. Далеко за полночь, когда они наконец кончили свой разговор, Петр Леонидович предложил Бухарину переночевать в нашем купе, на что тот ответил: «Спасибо, но я уже договорился с проводником, и он уступит мне одну из коек в своем купе». А ведь в это время Бухарин был все еще весьма крупной фигурой, но он мог совершенно спокойно, предупредив лишь по телефону, уехать, потому что не закончил важный для него разговор, и спать при этом в одном купе с проводником. Наутро он сел в поезд, уходящий в обратную сторону, и через сутки был в Москве…

Как-то, возвращаясь из России в Англию, мы решили остановиться на несколько дней в Берлине. Там нас встретил П. Гейландт, прекрасный инженер и один из крупнейших предпринимателей Германии. Он был владельцем фирмы «Линде и Гейландт», занимался жидким воздухом и жидким кислородом, был одним из главных «кислородчиков» в этой стране. Гейландт, естественно, знал Петра Леонидовича и очень ценил его как ученого. Так вот, когда мы попали в Берлин, Гейландт нас встретил и предложил гостеприимство своего дома. Это был великолепный дом с садом, оригинально устроенный. Часть его была абсолютно современна: нажимаешь, например, кнопку — громадная стеклянная дверь уходит вниз, и ты оказываешься в саду. Другая же половина, напротив, была совершенно старомодна — там стояла тяжелая черная резная мебель, на стенах висели старинные портреты. Дом был разделен в соответствии со вкусами стариков и молодежи.

Через несколько дней Гейландт должен был уехать из Берлина по делам, а опекать нас он поручил некоему мистеру Шмидту или Шульцу, сказав, что предоставляет нам свой автомобиль и мы можем распоряжаться им как своим. Однажды приходит этот Шульц к Петру Леонидовичу и говорит: «Я очень сожалею, но иногда господин Гейландт дает свою машину господину Гитлеру, и вот сегодня ему очень нужна машина. Вы позволите ему взять машину, которая сейчас в вашем пользовании?» Вот так и получилось, что когда-то мы дали разрешение Гитлеру ездить на «нашей» машине. Возвращаясь в прошлое, понимаешь, что именно эти богатейшие люди, крупные предприниматели, воспитали Гитлера и содержали его.

В конце августа 1934 года мы, как всегда, решили навестить Ольгу Иеронимовну и Леонида. На этот раз мы поехали в Россию на машине, которую незадолго до этого купили. Это была машина марки «Воксхолл». Сначала мы погрузили ее на пароход и отправились в Берген. Из Бергена уже на машине мы поехали на

север Норвегии и через Швецию и Финляндию добрались до Ленинграда. Это было очень красивое путешествие — мы проезжали фиорды, поднялись в горы, добрались до самых северных районов. По дороге останавливались, собирали грибы, тут же их жарили, купались в озерах. Одним словом, это была прелестная поездка. На границе Финляндии нам отчего-то пришлось вместе с машиной погрузиться в поезд, и таким образом мы переехали границу СССР и прибыли в Ленинград. В общей сложности наше путешествие продолжалось около двух недель.

Мы провели в Ленинграде какое-то время, потом Петр Леонидович съездил в Харьков, и мы уже стали понемногу собираться в обратный путь, как неожиданно его вызвали в Москву, в Совнарком. Он пробыл там долго, а когда вернулся, сказал: «Знаешь, они не пускают меня назад в Кембридж». Для Петра Леонидовича это было полнейшей неожиданностью и очень тяжелым ударом. В тот же вечер мы поехали обратно в Ленинград, и я хорошо помню эту ночь в поезде. Он был страшно потрясен, невероятно, все рухнуло. Он потерял лабораторию, только что построенную специально для него, с самыми новыми приборами, где уже был получен первый жидкий гелий и намечались очень интересные опыты. Все было готово в Кембридже, все его ждало, и тут все рухнуло.

Это было страшное время. Петр Леонидович не знал, как ему поступить и что делать. Сначала еще была какая-то надежда, что удастся договориться с властями, но потом стало совершенно ясно, что его не выпустят. Надо было решать, что делать в этой ситуации. Необходимо было посоветоваться с Резерфордом и узнать его настроение, к тому же в Кембридже оставались дети. Я должна была как можно скорее вернуться в Англию, моему отъезду не чинилось никаких препятствий. В первых числах октября я уехала. Но перед моим отъездом мы договорились с Петром Леонидовичем о самых разнообразных вещах — как мы будем переписываться и какие у нас будут в письмах шифры, чтобы было понятно только нам, обсуждали мы подробно, и как поступить с детьми. Мы совершенно не знали, чем окончится наша жизнь здесь: посадят — не посадят, вышлют — не вышлют, и не хотели, чтобы дети от этого страдали. Мы думали, что, может быть, я вернусь к Петру Леонидовичу, а детей оставим за границей, в каком-нибудь закрытом учебном заведении.

Петр Леонидович просил меня по приезде в Англию как можно скорее поговорить с Резерфордом, все ему рассказать, узнать его отношение. Когда Мондовская лаборатория планировалась, Петр Леонидович оговорил с Резерфордом

возможность того, что когда-нибудь он уедет и в таком случае сможет забрать оборудование с собой, возместив Кембриджскому университету все затраты. Так что в принципе он предусмотрел такую возможность, но никогда не думал, что все случится так неожиданно. Вот и отправилась я в Англию со всеми полномочиями от Петра Леонидовича.

По приезде в Англию я увиделась с Резерфордом и рассказала ему, что Петр Леонидович задержан в России, — он должен был знать все. Резерфорд был озадачен, очень огорчен и в высшей степени недоволен всем этим. Он тут же написал письмо нашему послу в Англии И. М. Майскому. Ответ посла содержал твердое заявление, что Советскому Союзу в данный момент необходимы все ученые, которые работали за рубежом. Таким образом стало ясно, что ситуация с Капицей — это не временное недоразумение.

По Кембриджу стали распространяться самые разнообразные слухи о том, что случилось с Капицей, о его положении в России. Резерфорд считал, что по возможности надо избегать проникновения этих слухов в печать. С другой стороны, он старался привлечь международное научное мнение. Он связывался с крупнейшими мировыми учеными — Бором, Ланжевеном, Дираком, Дебаем и некоторыми другими. И многие из них сделали все, что могли, чтобы оказать давление в помощь Петру Леонидовичу.

После того как Петра Леонидовича задержали в России, ко мне несколько раз обращались разные люди с предложением организовать его побег. Помню, пришел ко мне однажды Сцилард и говорит: «Давайте устроим побег Капицы. Мы его увезем на подводной лодке». Я ему ответила, что это, конечно, очень интересно, но, я думаю, Петр Леонидович никогда на это не согласится. Я знала настроения Петра Леонидовича и знала, что он никогда бы не смог остаться в Англии навсегда, порвав со своей родиной. То, что он все годы жизни в Англии оставался советским гражданином, сильно мешало всем, начиная с Лондонского Королевского общества, мешало всей нашей жизни в Кембридже. Сколько раз к нему обращались, говоря, что это неудобно, бесчисленное число раз. А для Резерфорда это был подвиг — иметь в своей лаборатории, всячески поддерживать и продвигать советского гражданина.

Мы с Петром Леонидовичем регулярно писали друг другу подробные письма, обычно 2–3 раза в неделю. Особенно в первое время он никому больше не писал, только мне. А я уже эти письма переводила, во всяком случае важнейшие места, и отдавала Резерфорду, чтобы он видел, какое настроение у Петра Леонидовича и что вокруг него происходит. Я была посланцем

Петра Леонидовича за границей. Через меня проходило все то, о чем он хотел, чтобы там знали.

Иногда я писала Петру Леонидовичу секретные письма. В то время довольно много наших друзей ездили в Россию и обратно, и я всегда посылала с ними посылку для Петра Леонидовича. Однажды я ему послала подробное письмо, написанное на тоненькой бумажке очень мелко. Там было детально описано все, что тут происходило, какие настроения, как кто реагирует на его положение, и к кому мы обращались за поддержкой, ну абсолютно все. Потом я взяла трубочку мыльной пасты, вытащила оттуда серединку, заткнула в освободившееся место мою бумажку, завернутую в какую-то серебряную штучку. Эту мыльную пасту я попросила передать Петру Леонидовичу среди прочих вещей — носков, мыла, рубашек. А Петру Леонидовичу написала нашим секретным способом — обрати внимание на те вещи, что я тебе посылаю. И он обратил внимание, извлек эту бумажку и после этого очень хорошо знал все обстоятельства его дела здесь, в Англии.

Мы, конечно, понимали, что долго скрывать положение вещей с Петром Леонидовичем невозможно. Самые разнообразные слухи распространились уже довольно широко. Однажды весной 1935 года он мне прислал письмо, где, используя наш шифр, писал о том, что нужно, собственно говоря, уже все рассказать о действительном положении вещей. После этого у меня был разговор с Франком Смитом, нашим хорошим знакомым. Он был научным секретарем Лондонского Королевского общества, секретарем Департамента научно-технических исследований и осуществлял связь с прессой. В результате в конце апреля в лондонской газете «Ньюс Кроникл» появилась заметка «Кембридж получил удар от Советов: известный русский ученый отозван». В этой статье была изложена вся история о том, как оставили Петра Леонидовича в России, и помещено интервью с Резерфордом. На следующий же день в газетах поднялся невероятный шум. Как всегда бывает, вместе с правдой попадалась полнейшая чепуха и вымысел. Несколькими днями позже в «Таймс» была опубликована большая статья Резерфорда о Капице, где подробно рассказывалось о его работе в Кембридже и о том, как его не выпустили из России. Однако наше руководство отвечало, что Капица нужен Советскому Союзу и ему там будут предоставлены все условия для работы.

В это время уже началось строительство Института физических проблем, директором которого был назначен Петр Леонидович. Но он все время чувствовал себя узником, к нему даже были приставлены два охранника, которые везде его

сопровождали и очень раздражали. К тому же Петра Леонидовича особенно огорчало, что он не мог напрямую открыто общаться с Резерфордом, ведь он знал, что все письма обязательно прочитываются.

Вскоре начались разговоры о том, что Мондовскую лабораторию можно было бы продать России. Конечно, это все было возможно только благодаря Резерфорду. Он имел громадное, колоссальное влияние в Англии как великий ученый. И он взялся за это дело. Он писал, что лаборатория не может быть без Капицы, а Капица не может быть без лаборатории, поэтому их надо объединить.

Тогда и я начала думать, что надо переезжать. Не очень было ясно, как поступить с детьми. Петр Леонидович ведь все время находился на острие ножа, и мы не знали, не были уверены до самого конца — вернусь я с детьми, или я вернусь, а дети останутся в Англии. Мне тогда очень помог Вебстер. Он вместе со мной ездил по разным закрытым учебным заведениям либерально нового толка, где дети воспитывались очень свободно и интересно. Мы хорошо понимали, что Петр Леонидович должен быть совершенно свободен в своих действиях: страх за семью, детей не должен мешать ему в принятии решений. Но под конец все-таки остановились на том, что надо брать детей с собой в Россию.

Перед тем как переезжать окончательно, я поехала в Москву на короткий срок, чтобы подготовить все к переезду с детьми. И тут произошел забавный случай, который при всей своей забавности показывает, как несвободен был тогда Петр Леонидович. Я ехала на поезде, и он захотел меня встретить на границе в Негорелом. Отпустить Петра Леонидовича одного не решились, и он поехал со своим заместителем Л. А. Ольбертом, который был приставлен к нему. Когда я приехала в Негорелое, то встретили меня они оба. Я появилась — такая фифочка заграничная, в шляпке, на высоких каблуках. Ольберт и решил, что я — дамочка. И вот, когда мы ехали в поезде назад в Москву в купе, я спросила, зачем он, собственно, приехал с Петром Леонидовичем. Ольберт ответил, что они боялись, что Петр Леонидович перебежит через границу. А я его спрашиваю: «Ну что бы вы сделали, если б он побежал?» — «Я бы в него стрелял». — «Как стреляли?» — «У меня револьвер есть». Он вынимает револьвер и мне показывает. Я ему говорю: «Да это не настоящий…» Ольберт мне револьвер протягивает, я его выхватываю у него из рук и говорю: «Теперь я его вам не отдам, а выброшу в окно». Ольберт был в ужасе. Он никак не ожидал от меня, «дамочки», таких решительных действий. А вдруг я и

вправду выброшу револьвер или, чего доброго, стрелять начну. Слава Богу, это была уже ранняя осень, и окошко в купе было закрыто, а то бы я, без всякого сомнения, вышвырнула револьвер. Меня очень раздражало и выводило из себя обращение с Петром Леонидовичем, недоверие к нему. Через некоторое время Петр Леонидович сказал примирительным тоном: «Ну, уж отдай ему его игрушку». После этого случая Ольберт меня зауважал и очень боялся. Он никогда не знал, что еще эта дамочка сделает.

После возвращения в Англию я развила большую энергию, занималась и домом, и лабораторией. Вместе с Кокрофтом мы следили, чтобы все было как надо упаковано и отправлено. Из дома нашего все, что возможно, мы перевезли в Россию, а сам дом сдали.

Глазами матери *(Е. Капица)*

Рассказывая мне о своей жизни, Анна Алексеевна как-то с грустью заметила: «Мама меня страстно любила, но я оценила это много позже и поэтому, вероятно, доставляла ей часто если не горе, то боль. Но я была совершенно самостоятельна в своих вкусах, своих связях, дружбе и вообще в жизни. Я маму очень любила, но близости, которой ей бы хотелось, у нас не было…» В последние годы мне довелось много времени проводить с Анной Алексеевной, записывать на магнитофон ее воспоминания, расспрашивать о прожитом. После смерти Петра Леонидовича сам характер ее жизни круто переменился — появилась возможность распоряжаться собой по собственному усмотрению, она ведь, что ни говори, сознательно, добровольно, с радостью отдала всю себя, всю свою жизнь служению Капице. Анна Алексеевна признавалась мне, что, наверное, была не очень хорошей матерью, ведь и интересами своих сыновей она всегда жертвовала в пользу Петра Леонидовича, говорила, что, возможно, сыновья обижались на нее за это. Теперь она часто бывала одна и, как мне казалось, никогда не тяготилась своим одиночеством. Очень неожиданно для меня она однажды вдруг сказала: «Я хорошо поняла теперь, что „Дни человека, как трава…“», процитировав 102 псалом. Анну Алексеевну трудно назвать религиозной, но в ее спальне стоял старинный складень, и я помню, что, приходя к нам в Страстную седмицу, она всегда отмечала: «Сегодня Великий четверг».

После кончины Анны Алексеевны, разбирая ее архив, я наткнулась на огромное количество писем к ней ее матери — Елизаветы Дмитриевны Крыловой. И мне показалось, что они проливают какой-то абсолютно новый свет на личность Анны Алексеевны. К сожалению, эта переписка носит односторонний характер — все письма самой Анны Алексеевны остались в Париже, и их судьба нам не известна. Сохранились только несколько писем того времени, адресованных Ольге Иеронимовне (свекрови Анны Алексеевны). Но они лишь частично восполняют этот пробел…

«30 апреля 1927 г., Париж

Дорогой Анечек,

Со всех сторон пишут и поздравляют тебя. <…> Говорила по телефону с Отцом Алексеем, он говорил с Тихоном Александровичем (Аметистовым. — *Е. К.*) и тот сказал, что обвенчаться можно, если у тебя есть нансеновский паспорт. <…

> Я надеюсь, что вы ничего не будете иметь против этого, и тогда Отец Алексей повенчает вас у себя запросто. Я очень, очень буду спокойна тогда. Напиши свои предположения, когда вернетесь. Венчаться нельзя только во вторник и в четверг. <…> Я направила вам телеграфом телеграмму от Резерфорда и письма в общем конверте, там же поздравительная телеграмма от Чадвика…»

«2 мая 1927 г., Париж

Дорогая моя девочка, как я рада была получить от тебя, что вам хорошо. Я очень хотела знать о вас и, конечно, волнуюсь, отчего, сама не знаю. Я вас очень, очень люблю, вы у меня слились в одно, а потому Петя как-то вошел весь в мое сердце, и я его так же нежно люблю, как и тебя. Благодарю Бога, что так случилось, ведь могло быть иначе. Рада, что ты пишешь, что будете венчаться у Отца Алексея. Он вчера приходил вечером и спрашивал, когда назначим свадьбу, но я не могла сказать, если хотите, назначим в пятницу в 5 часов. Этот час удобен, п.ч. никого нет рядом в ресторане. Он сказал, что Тихон Александрович, когда узнал о свадьбе и обо мне, то сказал, что для меня все можно, но ведь он не видел бумаг, т. е. нансеновского сертификата. <…> Отец Алексей спросил: „Будут ли говеть?“ Я сказала — не хотят. „Да, ведь Аня мне говорила, что она язычник“. Смеется. „Все придет в свое время“, — говорит. Я сказала, что никого не будет, что хора не надо и т. д., все как вы хотите. <…>

Целую вас обоих очень крепко, благословляю и горячо люблю.

Ваша старая и новая *мама.*

И пиши мне, деточка, хорошо ли вам, я хочу читать это, написанное черным по белому: „я счастлива“».

«3 мая 1927 г., Париж

Дорогие мои дети, вчера я совсем приуныла и подумала, что больше ничего не могу сделать, если и Отец Алексей отказался, но все же решила пойти к Тихону Александровичу в канцелярию и поговорить. Сегодня была там, и, благодаря его доброте и хорошему отношению ко мне, он решился действовать против французского закона и просил меня испросить разрешения у Владыки (Евлогия (Георгиевского) — *Е. К.*). Я была у него, призвала на помощь Тихона Александровича, и, наконец, решили, вопреки французскому закону, разрешить этот брак. Я благодарю Бога за это. Теперь дело за вами. Я бы хотела иметь, Анек, твой „certificat d’identité“, чтобы показать его и снять копию, п.ч.

только на основании его, хотя он и не дает права французского гражданского брака, сделают нам снисхождение. Брак будет как бы тайный, т. е. без особой огласки и не со всеми документами, п.ч. Владыка имел много неприятностей из-за таких браков. <… > Когда Владыка разводил руками и говорил, что с Пасхи уже много времени прошло и вы бы могли получить французский гражданский брак, я думала, что он прав, и мне трудно было на это возражать.

Думаю все про Ольгу Иеронимовну и очень жалею ее, что она так далеко от своего Пети и не знает его жены. Я сейчас счастливее ее, п.ч. не только узнала Петю, но и полюбила, и очень хочу, чтобы она полюбила Аню. Но, Бог даст, вы будете в России и порадуете ее».

Вскоре Елизавета Дмитриевна написала Ольге Иеронимовне:

«14 мая 1927 г., Париж

Дорогая Ольга Иеронимовна, я была очень рада Вашему письму, сама все собиралась написать Вам. Мне хотелось Вам написать о счастье наших детей. Они горячо любят друг друга и очень дружны. Я полюбила Вашего Петю, он мне очень нравится. Ведь уже 25 дней, как они здесь, и я больше узнала его. Вы пишете, что у него своеобразный характер, да, это верно, и, конечно, им придется поработать над собой, чтобы все шло гладко. Но сейчас у них могучее средство — любовь, и кажется, что они очень подходят друг другу. Веселы они очень, и оба сияют и не расстаются ни на минуту.

Сегодня они получили визу и уехали в Кембридж, это очень хорошо, потому что неполучение визы для Ани начинало уже беспокоить, да и работы у Пети много. Я нахожусь в более выгодном положении, чем Вы, я вижу их, радуюсь их счастью, глядя на них, а вы не видали жену Пети, мою Аню. А что я могу сказать про нее. Трудно хвалить или порицать свою дочь, но все же решусь сказать, что она девушка незаурядная. Но, может быть, Вы сами познакомитесь с ней, им очень хочется попасть к Вам осенью. Знаете, почему мне Петя сразу понравился, ведь он вылитый Ваш портрет, и когда я узнала, чей он сын, то сейчас же в нем увидала Вас, очень он на Вас похож. Я как сейчас помню Вас молодой девушкой. Вы мне очень нравились, когда мы были на курсах (Елизавета Дмитриевна и Ольга Иеронимовна учились вместе на Высших женских (Бестужевских) курсах — *Е. К.*), но я была очень несмелая и глупая институтка и совершенно не умела приблизиться к тем, кто мне нравился, и так и не имела там друзей.

Все это время, пока они ждали визу, они жили одни. Сначала уехали на море в Нормандию и прожили там неделю, которую, верно, никогда не забудут. И погода стояла чудесная, летняя. И здесь в Париже жили в отеле, но всякий день приходили ко мне.

С сегодняшнего дня я остаюсь одна, прожили мы с Аней не расставаясь 24 года. Но я не унываю, жить одна не боюсь и этим не тягощусь. Желаю только им счастья, и этого для меня довольно. Да у меня здесь есть кое-какие занятия, так что время мое занято. (Елизавета Дмитриевна много сил и времени отдавала уходу в нескольких больницах за тяжело больными людьми, часто безнадежно больными. Почти в каждом письме ее к Анне Алексеевне она упоминает об этом. — *Е. К.*)

Я и сама бы очень хотела повидаться с Вами, ведь нас теперь соединяет любовь наших детей. Итак, будем надеяться на полное счастье наших дорогих…»

«22 мая 1927 г., Париж

Вот вы и у себя. Но, как я поняла из разговоров еще в Париже, этот коттедж вам сдали ненадолго, чуть ли не на две недели, а потом что? Ты пишешь, что хочешь отделаться от знакомств и визитов, мне кажется, это не надо делать. Это повлечет за собой то, что ты всегда будешь избегать тех, против которых поступила не по правилам английской вежливости. Если же ты сразу все, что от тебя требуется, выполнишь, то потом будешь встречаться с чистой совестью и можешь отделываться милыми улыбками и кой-какими фразами, а знакомство настоящее заведешь с теми, кто к вам действительно подходит. А потому я стою за то, чтобы в начале пострадать, но все исполнить. Я думаю, что ты так и сделаешь, Кембридж слишком мал, все знают друг друга и Петю.

Ты пишешь, что стряпаешь, но разве у вас не будет „femme de ménage[35]“. Если нет, то у вас будет грязь в квартире…»

«26 мая 1927 г., Париж

Что же ты не пишешь мне, злая девочка, уже сегодня во сне я видела тебя больной, с опухшей шеей. <…> Папа был у меня, очень интересуется, познакомилась ли ты с Резерфордом. <…> Какой ужас — разрыв Англии с Советами[36]. Россия ведь страдать-то будет…»

«27 мая 1927 г., Париж

Сегодня вечером получила твое письмо, дорогой мой Анечек, очень была рада. Ты мне потом пришли план вашего нового дома. Я нахожу, что у вас будет слишком много комнат и его будет трудно обмеблировать, но можно постепенно. Ты познакомилась с

Резерфордом, а с его женой? Ведь ты должна ей понравиться в противовес Пете, он говорил, что она его не слишком любит. <…> Посылаю тебе письмо Боткиных. Видишь, как они изменили взгляды после моего письма. (Мария Павловна Боткина (урожд. Третьякова) и ее муж Сергей Александрович были очень близки с семьей Крыловых еще в Петербурге. Тесная дружба продолжалась и в эмиграции, хотя жили они в разных местах. Боткины обосновались в Италии в Сан-Ремо. Когда Елизавета Дмитриевна пишет о перемене взглядов, то она имеет в виду, что многие их знакомые эмигранты достаточно жестко восприняли брак Анны Алексеевны и принятие ею в этой связи советского гражданства. — *Е. К.*) <…> Я очень хочу осенью быть в Италии, хочу быть в Бари у Св. Николая Чудотворца и, конечно, заехать к Боткиным. <…> Ты не просматриваешь моих писем и не отвечаешь на вопросы. Как твое и Петино здоровье, как проходит ваш день? Опиши. <…> Как я стала далеко от тебя. Я очень занята, не скучаю и хорошо живу одна, но хотела бы, чтоб у нас была сердечная связь, чтобы она не оборвалась…»

«1 июня 1927 г., Париж

…Как я рада, что ты уже ходишь в библиотеку, как я хочу, чтобы ты занималась. А теперь совсем о другом: есть ли у тебя плечики, чтобы вешать *все* платья, иначе испортишь платья. Напиши, в каких ты была платьях и идут ли они к тебе…»

«2 июня 1927 г., Париж

…Я с большой печалью прочла о смерти Кустодиева, думала, что для Пети это большое огорчение и тебе так хотелось с ним познакомиться. Напечатано было только две строчки, и пока ничего не появилось в газетах. <…>

Вот какое у вас большое знакомство, уж очень рассеянную жизнь вы ведете, все по гостям. Петя-то в лаборатории, а ты после завтрака вместо библиотеки — в гости! А заниматься-то когда серьезно! А что дома читаешь? Я-то все диссертацию жду. Как твои успехи в английском языке, лучше или еще не заметно? Напиши англичанке о себе, она, может быть, все ждет тебя с уроками. Да она так тебя любила (живя в Париже, Анна Алексеевна брала уроки английского языка. — *Е. К.*). <…>

Очень трогательно, что вам все дарят, и даже 20 фунтов пастор подарил. Вот письменный стол и готов, и пастору будет приятно, что Петины умные работы будут на нем писаться. А ты не скучаешь, когда Пети нет, когда он в лаборатории или обедает не дома? А что ты готовишь? Напиши и меню.

Мне нравится, что тот, который подарил гравюры, ничего не

говорит, а только улыбается, кто же говорит-то? Ты, что ли? Какая же гравюра с одной собакой, да еще футуристической, это просто гадость, по-моему. <…> Какие газеты вы читаете? Русские есть?..»

«9 июня 1927 г., Париж

…Куда не приду, разговор все о тебе, всех ты пленила. А как в Кембридже, тоже ты нравишься? <…> Папу не вижу, но написала ему, что вы переезжаете на новую квартиру и что нужно покупать мебель, чтоб он послал тебе, как хотел. <…> Посылаю тебе открытку от немца[37]. Он все по горам лазит. Прошлый год вы все вшестером на Монблане были и как восхищались. Слава Богу, что сердце выдержало такой подъем.

Какая у вас погода? У нас были грозы и ливни. Потом холод и дождь. Сегодня тепло. В это воскресенье праздник Св. Троицы и в понедельник Св. Духа, я говею. <…>

Я здорова, занята и живу хорошо, не скучаю. Пиши мне, мой кротик, обо всем. Здоровы ли вы. Ведь я не могу уже потрогать твой лобик, чтоб узнать, нет ли жара!»

«18 июня 1927 г., Париж

Дорогие мои Петя и Аня, письмо Петино меня очень взволновало. И ждала я этого извещения, и все же взволновалась. Как только взяла конверт, подписанный Петиной рукой, так уже почувствовала, что что-то есть серьезное. Открываю его с волнением, и вот оно ожиданное-неожиданное. Ну что же, будем бодро ждать радостного события. Начинается для вас обоих новый период жизни, и для Ани кончилось беспечное время. Зато радость материнства так велика, что за все вознаградит.

Вот жаль, что Анек себя плохо чувствует. Но как это ни странно, но с этим надо бороться, надо очень бодриться, вести обычный образ жизни и не поддаваться. Это трудно, но все-таки надо. Со мной было так, что я совсем плохо себя чувствовала, и вдруг получаю письмо от мужа, который был в Париже, что он соскучился и чтоб я приезжала. В три дня я совершенно поправилась от радости и сейчас же выехала. 200 верст на лошадях проехала (я была у бабушки в имении) до Пензы, потом весь путь до Парижа без остановки. И в Париже была здорова, и потом ездили в Гавр, где я тонула, и купалась в Трувиле, и все прошло. <…>

Вы спрашиваете, чувствую ли я себя одинокой, нет. Я так рада вашему с Аней счастью, что другого мне ничего не надо, и к Вам, Петя, я Аню не ревную. Пусть она любит вас гораздо больше меня, а я буду любить и ее, и Вас, и внучку, вот и сравняемся…»

«28 июня 1927 г., Париж

…Что касается твоего замечания о прекрасных качествах Пети и „где таких разводят“, как ты выражаешься, то, надеясь, что и Петя то же думает про тебя, что ты про него, скажу тебе, что такие необыкновенные экземпляры водятся у бестужевских курсисток. А ты поблагодари Петину маму, что у нее такой сын…»

Незадолго до этого, Анна Алексеевна по собственной инициативе уже отправила Ольге Иеронимовне письмо с подробным описанием их жизни в Кембридже. Это письмо немного восполняет отсутствующие ее письма к Елизавете Дмитриевне, поэтому мы приводим его здесь.

«20 июня 1927 г., Кембридж

Дорогая Ольга Иеронимовна <…> Числа 3-го июля мы переезжаем в новый дом. Он на Storey's way, которая выходит на Huntingdon Road. Там очень хорошо, сады кругом, поле. Совсем на даче. Купили кой-какую мебель — письменный стол, буфет, надо еще кухонный стол, посуду и вообще всякую дребедень домашнюю.

<…> Знакомые сейчас уже не так одолевают, а первое время их было столько, что я никого не запомнила и всех перепутала. Теперь начинаю соображать понемногу, как в Кембридже живут люди, только вот с разговором плохо, я когда вижу много незнакомого народу, то пугаюсь и молчу как рыба. То же было и в Париже, где я научилась не пугаться французов только на пятый год! Я думаю, что здесь дело пойдет лучше и я совсем хорошо буду себя чувствовать с англичанами так через год или два. Петя сейчас много работает, я хожу к нему в лабораторию, снимаю их, как они там работают, снимки получаются очень забавные. Археология моя пока отдыхает, хотя у меня есть возможность работать в большой университетской библиотеке, но, пока все не наладится, и мы не устроимся окончательно, не хочу начинать работать. Это ничего, археология может подождать…»

Вскоре (10 июля) Анна Алексеевна вновь пишет Ольге Иеронимовне и подробно рассказывает об их жизни в новом доме:

«Дорогая Ольга Иеронимовна, наконец перебрались в наш новый дом. И оба очень счастливы, здесь чудно, спокойно, хорошо, много воздуха, солнца, окна громадные. Так что дом очень светлый.

Обзавелись мебелью, как раз в меру, не набито в комнатах и все есть, что надо. Купили пианино, и Петя играет каждую свободную минутку. Я сама в музыке абсолютно ничего не понимаю, но слушать очень люблю. Сад наш в диком состоянии, только перед домом получше. Зато растет малина и две яблони, правда, такие махонькие, что от земли не видно, но с яблоками все же.

Внизу — столовая и гостиная соединены большой дверью, так что получается одна большая комната, кухня и прихожая. Все порядочных размеров, что очень приятно. Наверху кабинет, спальня и две маленьких комнаты, ванна и пр. Одна комната предназначена для Вас. Мы очень хотим, чтобы Вы приехали пожить с нами, но не на месяц, а подольше — на полгода или больше. Вряд ли мы поедем в этом году в Ленинград. Очень это все сложно. Лучше приезжайте Вы к нам, посмотрите, как мы живем. <…> Петя ухитрился познакомить меня со 100 человеками, из которых я половину не могу узнать на улице и часто в недоумении, кто со мной разговаривает. Но понемногу я их всех выучу, и дело пойдет лучше…»

В следующем письме Анна Алексеевна дополняет:

«Посылаю Вам два изображения наших покоев, мы их до сих пор не собрались снять. Эти две комнаты соединены большой дверью. Около дивана — животное, похожее на акулу, — это Петин медведь. На камине стоят разные горшки — это мое помешательство. Я изо всех стран привожу самую простую глиняную посуду и на нее радуюсь. Она должна быть очень простой, стоить несколько копеек и употребляться в домашнем хозяйстве. Два моих любимых горшка приехали со мной из Рима, я их купила в Гетто. Они забавной формы, употребляются для воды. Я мечтаю, что привезу много из Германии, мы туда собираемся в сентябре. Сегодня получила письмо от папы из Парижа, мне наконец пришел паспорт, так что теперь все в порядке.

Петя работает много, собирается писать вторую работу, так что мы поедем отдыхать после того, как она будет, написана. Сегодня он вернулся веселый из лаборатории — потряс Крокодила[38] и какого-то важного визитера своими опытами — он их с большим успехом проделал на их глазах.

Мы завели себе приходящую прислугу на полдня, так что теперь я могу ходить в библиотеку, и дома все будет убрано и приготовлено.

Вы писали мне о мистере Робертсоне и мисс Вильсон, я

согласна, что они очень милые, особенно мне нравятся Робертсоны, они мне доставали визу в Англию, когда я ехала первый раз, так что я их больше знаю. Они оба славные, и с ней я себя хорошо чувствую, могу говорить и не пугаюсь. Он сейчас приходит к нам раз в неделю завтракать — жена во Франции. <…> Мама живет в Париже, не скучает, так что я спокойна за нее, а сейчас с удовольствием шьет приданое для своего будущего внука. Я думаю, что мы заедем в Париж по пути в Германию. Я себя в Париже чувствую как у себя дома, все-таки пять лет там прожила и очень его люблю…»

После небольшого отступления, позволяющего представить себе начало совместной жизни Петра Леонидовича и Анны Алексеевны в Кембридже, вернемся снова к письмам Елизаветы Дмитриевны.

«1 июля 1927 г., Париж

…Пришел папа (А. Н. Крылов — *Е. К.*), и мы с ним обо всем поговорили. Насчет внучки папа только мычит и не выражает восторга. <…> Посылает тебе чек 100 фунтов. <…>»

«11 июля 1927 г., Париж

Поздравляю вас с днем Ангела, дорогой Петя. Буду в этот день причащаться и молиться за вас обоих. <…>

Петя, вы пишете, что ваш крысенок хорошая хозяйка, а в то же время пишете, что у нее одна пуговка на пижаме, значит, другие оборваны, и один стежок она делает в пять минут, какая же она хорошая хозяйка. <…> Если в феврале я буду нужна, то приеду…»

«23 июля 1927 г., Париж

Дорогой мой милый Анечек, мои письма веселые, п.ч. пишу тебе, а когда я думаю о тебе и о Пете, то делаюсь веселой, п.ч. вы счастливы. А я неизменно в своих мыслях вас, т. е. тебя и Петю, соединяю, и вы для меня сделались одинаково дороги. <…> Итак, ты советская гражданка, с чем тебя и поздравляю! <…> Я рада, что ты хочешь ходить в библиотеку и заниматься. Папа раньше получения твоего письма последнего ко мне сказал с большой горечью: „Что ж Аня бросила свои занятия и не будет больше работать над своей диссертацией“. Прочтя твое письмо, он был очень рад, что ты хочешь начать заниматься…»

«15 сентября 1927 г., Париж

…Я завтра хороню одного моего больного, но все сама

хлопочу об этом. Больше в эту больницу ходить не буду, а оставлю себе другую больницу, где у меня есть больной. А то в эту больницу помещают безнадежных больных, это очень тяжело…»

«19 сентября 1927 г., Париж

…Сегодня получила твою телеграмму, что вы в Ницце. Вижу, что вы ваш выезд с Корсики ускорили. У меня лежит для Пети пакет с письмами, но я не хочу посылать его в Ниццу, ведь вы скоро вернетесь, и письма могут разойтись с вами. Вчера были мои именины. Сама я об них забываю, но оказалось, что кое-кто помнит, и пришло целое общество…»

И снова выдержка из письма Анны Алексеевны к Ольге Иеронимовне:

«3 ноября 1927 г., Кембридж

…Живем мы помаленьку в нашем домике. Надарили нам много вещей, и из них чудный эриванский ковер необыкновенно тонкой работы, он у нас украшает столовую.

Петя очень много работает, надо печатать работу, а он считает, что она еще не достаточно закончена, а Крокодил торопит, это все его волнует и беспокоит. К Рождеству все волнующие вопросы будут решены, и тогда все будет хорошо. Насчет предложений Николая Николаевича (Анна Алексеевна имеет в виду уговоры Семенова приехать работать в Россию — *Е. К.*) он много думает, но это труднее решить, чем это им всем кажется в Ленинграде. А главное, там придется все начинать с начала, а здесь вся лаборатория и работа уже налажены и все идет все лучше и лучше. Такое же письмо получил он от И. В. Обреимова, который сейчас работает в Лейдене, к сожалению, вряд ли придется с ним увидаться и переговорить.

На днях папа уехал в Москву и через несколько дней будет в Ленинграде. Он хотел к Вам зайти, но он ведь такой, что я не ручаюсь, что он правда зайдет. Зато уж если зайдет, то вы его хорошенько расспросите про нас, и приготовьте пакет заранее (Петя Вам пишет, что он хочет, чтоб Вы прислали), и не верьте ему, что он опять за ним зайдет, пусть возьмет его сейчас же. А если не возьмет, пошлите Леню, он снесет к нам и передаст Ольге Дмитриевне Глаголевой (это сестра моей мамы, которая живет у нас в квартире) и попросит заставить папу нам его привезти. Если такие строгие меры не принять, он ни за что не возьмет ничего! А нам приятно кустарные вещи иметь. Только Вы с папой не стесняйтесь, говорите решительно, заставьте его взять. Конечно,

может, он будет благодушный и возьмет пакет без разговоров, но этого нельзя никогда сказать с уверенностью! (К сожалению, после возвращения в Россию Крылову не дали возможности больше выехать за границу. — *Е. К.*) <…>

Вы давно спрашивали нас, интересуемся ли мы русской современной литературой, — очень, но только я ничего не читала, и ни одной книжки не знаю. Имею слабое понятие об именах. Но это не только современная русская литература у меня в таком состоянии, но вообще вся литература всех времен, кроме самых древних. Я очень мало читаю и читала, так что все, что Вы пришлете, будет очень интересно. <…> Я посылаю Вам на днях два фунта кофе. Думаю, что Вы его получите благополучно, хотя здесь на почте не только не знали, что такое USSR и Ленинград, но после того, как я объяснила, они меня еще спросили, в Европейской ли это России! Все же это довольно удивительно, не знать таких вещей почтовым чиновникам в Англии. Я Вам давно обещала фотографии нашего дома, но до сих пор, кажется, не прислала. Заодно пришлю Петю с усами! Он их отпустил и не хочет брить, хотя вид от этого у него не делается солиднее…»

Елизавета Дмитриевна — Анне Алексеевне

«15 ноября 1927 г., Париж

…Прочли в газетах, что лондонские рынки завалены советскими яблоками, вот бы вам купить…»

«11 декабря 1927 г., Париж

…Что касается моего приезда, то я все же очень хотела бы присутствовать при родах и быть в это время с вами. Но вы должны мне выхлопотать визу. <…> Итак, Петя все с усами, мне это не нравится, он такой хороший без усов, когда же он их сбреет, он себя портит ими. Ты пишешь об его занятиях так, что у меня впечатление такое, что ты его и не видишь, а он все в лаборатории и все погружен в свою работу. А ты все еще ходишь в библиотеку и на лекции? Твоими костюмами я очень недовольна, необходимо сделать такое платье, которое скрадывало бы полноту фигуры, а это что за безобразие, ходить с обтянутым животиком. <…> Присылай выкройку рубашечки, чтобы я успела все сшить…»

«21 января 1928 г., Париж

…Сегодня получила уведомление, что мне есть виза. <…> Я думаю выехать 7 февраля. <…>

Поклонись от меня Ване Обреимову. Расскажи ему о его

маме. Как ее любят, и как она бодро переносит свою слепоту. <…> Скорее начинайте все приготовления для ребенка, ведь времени до 10 февраля мало осталось. Все делайте хорошее, будущему останется…»

«7 февраля 1928 г., Париж

…У меня неожиданное осложнение с английской визой. Понять ничего нельзя. <…>

От папы получила телеграмму, что он здоров и много работает. Это он ответил на мой запрос, п.ч. здесь распространился слух, что он арестован. Оказалось вздором…»

По-видимому «вдогонку» послана открытка:

«7 февраля 1928 г., Париж

…Я выезжаю во вторник 11 февраля…»

Далее переписка прерывается, так как Елизавета Дмитриевна 5 месяцев провела в Кембридже, где у семьи Капиц родился первенец — сын Сергей.

Анна Алексеевна — Ольге Иеронимовне

«5 марта 1928 г., Кембридж

…Сейчас с нами мама, которая очень нам помогает. Пока она спит с внуком, он все еще не очень хорошо спит. А одного его оставлять не хочется, и Пете спать надо дать, так что так и устроили. Когда мама уедет, он переедет к нам в комнату, и к тому времени, я надеюсь, будет хорошим мальчиком. Хотим назвать его Сергеем. Вот какие глаза у него, не могу Вам написать, темные пока, но не карие, а так очень темно-серые. Я жалею, что не голубые. Я не люблю черный, хотя у меня самой они очень темные. <…> Сегодня Петя уехал в Лондон, у него доклад в Royal Society[39], специальное заседание о магнитных полях. Выступает Резерфорд со вступительным словом, а потом все заседание говорит Петя. Он так к концу месяца думает кончить свою работу о висмуте, значит, через месяц она будет уже напечатана…»

Елизавета Дмитриевна — Анне Алексеевне

«10 июля 1928 г., Париж

…Хочу спросить, как прошла первая ночь у малютки без

меня. Часто ли вы его будили или все обошлось спокойно. Оказывается, я хочу знать всякий час его жизни: был ли он весел, хорошо ли спал, ел и другое. <…> Его чудное личико стоит передо мной, но этого мало, хотелось бы прижать его к себе…»

«11 июля 1928 г., Париж

Поздравляю вас, дорогой Петя, с днем Ангела. <…> Вспоминаю с любовью милый Кембридж. Хотела бы сейчас поцеловать малютку Сережу. <…> Спасибо вам и за доброту, и ласку, и за гостеприимство…»

«2 августа 1928 г., Париж

…Рада, что Ольга Иеронимовна приехала и что ей нравится Сережа. Она должна его любить за двух бабушек, п.ч. я его не вижу…»

«16 августа 1928 г., Париж

…Мне очень тебя жаль, что ты устаешь от малютки и тебе это надоедает, но потерпи немного, ваши дела улучшатся, и ты возьмешь няню. <…> Я очень хочу, чтобы ты полюбила Петину маму, нам, старикам, так нужна любовь…»

«12 сентября 1928 г., Париж

…Вот какой Сереженька, встает на ножки, ползает. Воображаю, как он хорош! <…> О моем здоровье не беспокойся. Годы берут свое, и я уже не такая сильная, как была, и скоро устаю. Надо к этому привыкнуть…»

«26 сентября 1928 г., Париж

…Спасибо тебе за поздравление. <…> Я на именины получила 14 писем. От папы получила тоже из Москвы по воздушной почте. Папа каждую неделю ездит в Москву, п.ч. главный инженер Нефтесиндиката уехал во Францию принимать пароход. Пишет папа про Академию Наук, что там все заняты выбором 40 академиков, „особенно хитро словесникам по неопределенности их наук“. Это то значит, что большевики хотят всунуть своих. <…> Ты меня зовешь к себе. Жива буду — приеду…»

«12 октября 1928 г., Париж

…Я живу у Марии Ивановны. <…> (С этого времени Елизавета Дмитриевна поселяется в Париже вместе с Марией Ивановной Сабининой, которая была значительно, почти на двадцать лет, ее моложе и до конца дней трогательно заботилась

о Елизавете Дмитриевне — *Е. К.*). Живем мы тихо и мирно. Работаем (я себе рубашки шью), читаем и ходим в церковь…»

«16 октября 1928 г., Париж

…Сейчас получила твое письмо и так была ему рада, сказать тебе не могу. Я очень беспокоюсь, не получая от тебя больше двух недель, очень прошу писать мне всякую неделю. <…>

Я очень рада, что ты ездила с Петей, сколько же ты дней отсутствовала, если Сереженька тебя не узнал. Я сочувствую Ольге Иеронимовне, что ей больно оставлять своего малютку внука, он теперь, наверное, чудесный. <…>

Ты не пишешь, согласились ли на заводе сделать магнит для Пети. Много ли Петя работает, есть ли у него интересные работы и что-нибудь новое…»

«6 декабря 1928 г., Париж

…. Ты меня очень удивила, что берешь nurse[40] или хочешь взять ее. Бедный маленький Сережа утомил тебя, ты недовольна, что он лезет утром в твою кровать, а потом, когда будет nurse, как ты пожалеешь, что по утрам его не будет у тебя. Значит, ты хочешь заниматься, п.ч. было бы странно, что, взяв няню, ты не принялась бы за свои науки в свободное время…»

«15 декабря 1928 г., Париж

Дорогая Анюточка, получила твое письмо с приглашением приехать. <…> Рада, что ты хочешь ходить в библиотеку, иначе ты так обленишься, что поглупеешь и ничем уже не сможешь заниматься. Очень радуюсь. Только не откладывай, и как будет няня приходить, так и ты занимайся.

Я от тебя скрывала, что второй месяц хожу к англичанке заниматься два раза в неделю. Очень хорошая учительница, она в России преподавала. Я знаю очень много слов и глаголов, но говорить все же не могу, понимать тоже трудно, а читать легко могу…»

«11 января 1929 г., Париж

…Вчера была в английском консульстве. Там теперь сидят два господина и второй, у которого мы были, еще хуже первого. Очень был нелюбезен, пристал ко мне, зачем я еду, а затем сказал, чтобы я дала слово, что я не останусь больше того, что прошу. Так что, если они дадут, то я приеду в феврале. <…> У нас два раза зажигалась елка, во второй раз для одной новой нашей знакомой церковной, очень милой сорокалетней женщины с двумя племянницами. Очень симпатичные, истые москвички, а

бабушка и дедушка их были еще по старой вере, беспоповцы. Очень интересно было ее послушать о Москве староверческой. <…> Мария Ивановна в хлопотах. Ее привлекли в Сергиевское Подворье устраивать елку для бедных детей. Детей будет больше 100…»

«28 января 1929 г., Париж

…Что это ты меня так заторопила, визы мне до сих пор не прислали, так что раньше 10 дней к тебе не приеду. Пришлю тебе телеграмму, а пока сиди спокойно. <…> Напиши мне, могу ли я выписать на мое имя „Последние новости“ на три месяца или вас, советских граждан, это скомпрометирует…»

Анна Алексеевна так торопила Елизавету Дмитриевну с приездом, потому что присутствие матери давало ей возможность отлучаться надолго из дома и больше времени проводить с Петром Леонидовичем. Из письма Елизаветы Дмитриевны Ольге Иеронимовне:

«21 апреля 1929 г., Кембридж

…Давно собиралась написать Вам подробно о маленьком Сереже. Думаю, родители не достаточно пишут вам о нем. Я с ним в большой дружбе. Месяца полтора, как он переселился в мою комнату. (Далее следует подробнейшее описание распорядка дня, внешности и привычек внука — *Е. К.*). <…> Аня с Петей очень хорошо проехались на Пасхальные каникулы. Ездили на своем автомобиле, который только что отдавали в починку, и он отлично им служил. Пожили у моря, потом в гористой местности, очень много гуляли, и Петя очень хорошо отдохнул. Сегодня воскресенье и их нет дома. Они в пятницу поехали в Лондон и сегодня вечером хотели вернуться. Поехали повидаться со знакомыми, и хотелось побывать в театре, да и купить кое-что в Лондоне. Хорошо, что Петя отдохнул за 10-дневную поездку, он хоть и взял книги, но не занимался, а гулял и отдыхал. Они все так же дружны, как и прежде, и я рада за них. <…> Я на днях возвращаюсь в Париж…»

«30 апреля 1929 г., Париж

Дорогая Анюточка, доехала прекрасно.<…> Мария Ивановна меня встретила…»

«16 мая 1929 г., Париж

…Как я рада, что nurse хорошая, и ее полюбил Сереженька. Как бы я хотела видеть его бегающим. Я очень рада, что ты

пишешь [портрет] хотя бы Синельникова, лучше бы Петю, и что ходишь в библиотеку. <…> Ищем себе летнее пристанище с Марией Ивановной. А у вас этот вопрос остается открытым? <…> Инна Владимировна[41] со слов некоторых крупных промышленников-евреев из Польши, которые ведут дела с Россией, говорит, что дела в России очень плохи и евреи больше не будут поддерживать большевиков…»

«23 мая 1929 г., Париж

…Приехали сюда Ольденбурги и хотели меня видеть, я передала, что приду, куда они ни захотят, но так и не было от них ничего…»

«7 июня 1929 г., Жаржо

…Мы уже на даче. Здесь очень хорошо. Старинный домик в очень хорошем, немного запущенном помещичьем саду, а домик очень живописный, со старинной мебелью, огромным камином, где можно изжарить теленка, да и крючок для этого повешен. У нас три комнаты и кухня, кругом розы всех цветов…»

«11 июня 1929 г., Жаржо

Дорогая Анюточка, сейчас получила твое письмо, оно очень огорчило меня. Я так надеялась, что с няней у тебя наладилось и все пойдет хорошо, и вдруг такая история. Что Сережа выпал из коляски, так этого я давно боялась. <…> Из твоего письма неясно, какие недостатки имеет няня, недостатки, из-за которых ей надо отказать. Ты пишешь, что резко сделала ей замечание. Конечно, это не следует делать. Ведь человек, находящийся в подчинении, очень чувствителен, и его нужно щадить. Это не значит, что не надо ничего замечать, надо, но говорить спокойно, обсудить с ней вместе все недоразумения. Ты спрашиваешь, как поступить, отказать няне сейчас или ждать разрешения вопроса о вашем отъезде. Я не знаю, настолько ли она плоха, чтобы ей отказывать. <…> Главный вопрос, конечно, заключается в том, поедете ли вы в Россию. <…>

Итак, у вас еще нет решения насчет России. Что мне сказать об этом. Оттуда приходят очень тяжелые известия. Расстрел Мекка, Пальчинского и Величко без суда (да хотя бы и с судом, что он значит теперь, когда „надо защищать революцию“) произвел удручающее впечатление. Все, кто знал этих людей, знал, что они работают в советской России не за страх, а за совесть. Были они большие специалисты и отдавали все свое знание делу восстановления России, а их обвинили в разрушении дела, в котором они работали. Конечно, такие, ничего не

видящие, как Ваня О[бреимов] или Синельников, этому поверят, таких много в России. Папа твой так же работает честно, как и они, но и его то же может постигнуть, что он мне не раз и говорил и чего я всегда боюсь. Ведь расстрелы Мекка и др. есть маскирование общих неурядиц в большевистском правительстве. Надо отвлечь внимание народа от собственных неудач правительства и направить его на воображаемого врага. Это и прежде практиковалось, но теперь уже очень жестоко и бесцеремонно.

Зная все это про Россию, да и то, что вы узнали, могу ли я одобрить ваш план поездки. Никакие деньги не оплатят вам то, что может произойти. Если не Петю задержат, а это вполне возможно, то тебя могут оставить как бывшую белую. Главное, им хочется Петю перетянуть к себе. Да что мне говорить, вы сами все знаете и видите. Я бы считала, что не надо тянуть, а благовидно отказаться от поездки. Ведь у Пети постройка начнется в Кембридже, вот и предлог. Как бы вы ни решили, я не отказываюсь взять Сережу. <…>

Ты пишешь о своем характере, что он ухудшается. Знаю, что очень трудно бороться со своим характером, но если это сознаешь, то есть что надо его побеждать, если сознаешь, что несправедлива, несдержанна и т. д., то это уже первый шаг, и тут не надо отступать. Но дорога тут для каждого своя. Одно только есть правило для всех: не говорить в минуту раздражения, а переждать и успокоиться раньше. <…> Мне помогает побеждать себя вера. Я как бы прозрела и ясно увидела свои недостатки и благодаря этому снисходительно отношусь к другим, потому что искренне считаю их лучше. Надо выработать в себе доброжелательность к людям, и тогда будет легче. <…> Ведь когда любишь, то все легко. Но любить всех непосильно. Таких, как Варвара Павловна Кузьмина, мало. Но доброжелательно относиться ко всем без предвзятости можно, поработав над собой. Я шутя хотела спросить тебя в прошлом письме, не обижаешь ли ты Петю, а ты как бы мне отвечаешь, говоря о своем характере. Да, дорогая моя девочка, береги Петю и Сережу. Ты в семье средоточие мира, любви и счастья. Всё от тебя зависит. Я так хочу, чтобы вы были счастливы. Тебе надо серьезно заниматься наукой, а то, когда разленишься, все в жизни пойдет плохо.

<…> Социальное правительство здесь никого не удивило и не напугало, ведь у него весьма умеренный тон. Дай Бог, чтоб им удалось уменьшить безработицу, лишь бы с коммунистами не связывались. Россию-то они в первую главу признают, лишь бы сами большевики себе не напакостили, как всегда…»

«3 июля 1929 г., Жаржо

Сейчас получила твое письмо, дорогая Анюточка, очень рада, что вы решили ехать во Францию, а не в Россию. Конечно, там отдохнуть вам бы не пришлось и Петя еще больше бы утомился, если бы чего хуже бы не было. Вы, верно, читали в газетах о самоубийстве Грум-Гржимайло, это инженер крупный, папа знал обоих братьев, путешественника и этого. Он покончил с собой, п.ч. видел, что ничего не может сделать полезного для России, работая с большевиками, оставил письмо и в нем также пишет, что процесс инженеров донецкий был устроен, чтобы свалить свои неудачи и неуменье на инженеров. Да, верно, это есть в „Сегодня“…»

«19 июля 1929 г., Жаржо

…Очень рада, что вы собираетесь приехать пораньше. Мы постараемся быть в Pornichet 2 августа и вас там ждать…»

«28 сентября 1929 г., Порнише

В понедельник утром мы уезжаем. Погода стоит чудная, и, как ни скучно нам стало без вас всех, все же уезжать не хочется от теплого солнышка. Посылаю вам романчик и крестословицу…»

По приезде из Франции Анна Алексеевна пишет письмо Ольге Иеронимовне с описанием своих впечатлений:

«22 октября 1929 г., Кембридж

…Я привезла много интересных горшков из Франции, там, как это не странно, сохранилось очень много старых форм. Особенно в таких захолустьях, как Бретань. Я никак не думала, что Бретань такая невероятно отсталая провинция. Страшно бедные деревни, грязь непролазная, бедные хижины, громадный процент неграмотных. Невероятное количество духовенства, церквей, паломнических святых мест и пр. Видно, что духовенство крепко держит население в руках. Напоминает Италию в этом отношении. Все женщины ходят если не в костюмах, то обязательно на голове наколка, иногда самая неожиданная. Большинство в костюмах — черная юбка бархатная и кофта вроде жилета, почти все в трауре. Молодые девушки встречаются иногда в розовых, голубых и т. д. передниках. Видели и стариков в бархатных шапках и тоже костюмах специальных. Все между собой говорят на бретонском языке, абсолютно непонятном, но также и по-французски. Вообще не чувствуется совершенно, что Париж и Бретань — одно государство и всего в нескольких сотнях километров. Интересно

поездить по Франции на автомобиле, можно еще много интересного встретить…»

Елизавета Дмитриевна — Анне Алексеевне

«21 октября 1929 г., Париж

…Получила твое письмо и так поражена смертью маленького Тимофея (см. об этом — *Е. К.*). Это ужасное горе, и как жаль мне родителей и кроткую миссис Кокрофт. Какое это горе! И как это болезнь подкралась и доктора о ней не знали. Передай мое соболезнование бедной миссис Кокрофт, если найдешь это возможным. Я знаю, что это можно, ведь ее мысли все с сыном, а окружающие боятся сказать и напомнить. Это неправильно, по себе сужу…»

«19 ноября 1929 г., Париж

…Итак, у вас новое авто, как же вы справитесь с деньгами. Ну, что же, я очень рада. Ваш был уже староват. <…> Сереженька начинает говорить по-английски, но ты его учи и по-русски. <…> От папы получила письмо. Думаю, что ему очень хочется уехать из России. Ты, конечно, читала, как большевики поступили с Ольденбургом[42]. Он ли не работал добросовестно?…»

«16 декабря 1929 г., Париж

…Конечно, я очень рада, что вы будете строить дом, это будет вам выгоднее, чем платить за чужую квартиру, но сколько лет вы будете выплачивать за дом и когда он будет вашей собственностью? Насчет 100 фунтов, то вот что я тебе скажу. Напиши папе, знаю, что он тебе не откажет. Но напиши так, что я тебе дам 100 фунтов, а ты мне будешь их выплачивать помесячно и я не буду больше брать с папиного счета. Я ведь от него получила письмо, в котором он обиняком просит беречь его деньги. Я ответила ему, что трачу 1000 франков в месяц и даю ему слово, что больше ни за что тратить не буду. Я думаю, что эта сумма моего прожитка и то его поразила, но увы! Здесь жизнь очень вздорожала…»

«22 декабря 1929 г., Париж

…Очень мне хочется видеть Сереженьку, и, может быть, я и соберусь, если жива буду, перед Великим Постом вас всех повидать недели на две. <…> Ты считаешь, что 1000 франков не много я проживаю, нет, много, но трудно меньше, п.ч. очень много сборов у нас: то на туберкулезных, то на студентов, то на

духовную академию, то на елку для бедных детей и т. д., и т. д., и т. д., а не участвовать общей эмигрантской жизни нельзя. <…>

Что ты скажешь об Ольденбурге, не подлость ли, что с ним делают, он ли не работал на страх и на совесть. Кто может быть спокоен в России теперь. <…> Ты мне совсем не пишешь о Пете. Как его новая лаборатория, поставлены ли машины, кто там, все те же или еще кто-нибудь работает. Как идет дело в старой лаборатории, есть ли новые интересные опыты? <…> Да еще хочу тебя спросить, что же 25 лет вы всё будете за ваш дом платить по 120 фунтов или уменьшат плату?…»

«22 января 1930 г., Париж

…Недели через две, пожалуй, буду уже у вас. <…> Хочу взять обратный билет, п.ч. ни вас не хочу стеснять, ни сама стесняться, а пока у вас лишней комнаты нет, то всем будет неудобно. О моем удобстве не заботься, две недели и без удобств проживу. Если через две недели мне дадут визу, то я попаду на Сережино рождение и вовремя уеду к Посту. Ты знаешь, в этом году Пасха празднуется (православными и католиками — *Е. К.*) в одно время, совпадает».

«24 января 1930 г., Париж

…Посылаю тебе чек в 150 фунтов. Очень рада, что вы делаете мастерскую. Рассматривали ваш план, и нам с Марией Ивановной показалось, что все очень удобно и хорошо. <…> Как мало вам осталось на постройку дома, ведь в июле уже переезжаете…»

«1 марта 1930 г., Париж

…Доехала очень хорошо. <…> Никто меня на границе не обидел. Дома у себя в комнате нашла букет роз. <…> Получила письмо от Мушкетова[43]. Просит написать Ольге Дмитриевне о деньгах, она в панике. <…> Он заканчивает письмо так: „прошу сейчас же письмо мое сжечь“, и в письме просит никогда не упоминать его фамилии. Видно, что все в России сейчас в панике. Все письмо переполнено страхом. <…> Посылаю вам крестословицы, наслаждайтесь…»

«23 марта 1930 г., Париж

…Как идет ваша постройка? Не забудь написать мне о Петиных работах, как его полемика с немцем. Как новая лаборатория, наладилась ли?..»

«2 апреля 1930 г., Париж

…Ты уже справила свои именины-рождение, а я нет и буду их

справлять после Благовещения, не могу изменить этому дню. Все же поздравляю тебя и целую крепко, а в настоящий день буду молиться о тебе. <…> Что ваша русская колония? Пиши о ней…»

«25 апреля 1930 г., Париж

Воистину Воскресе! Дорогая моя Анюточка, очень была рада получить твое хорошее письмо. Очень меня обрадовало твое обращение. Сегодня я была в церкви и молилась о дорогих моих Колс и Алеше. Сегодня день рождения Коли, ему было бы 33 года. (Оба брата Анны Алексеевны, белые офицеры, погибли во время Гражданской войны — *Е. К.*) <…>

Когда будешь писать папе, то, пожалуйста, поцелуй его от меня. Мне не хочется им писать, только их компрометирую. Письма по большей части просматриваются, особенно заграничные. (С этого времени Елизавета Дмитриевна прекращает прямую переписку с А. Н. Крыловым, они узнают друг о друге только через Анну Алексеевну — *Е. К.*) <…> В газетах пишут, что главный вредитель Лены — Гольдфильдс[44] Малоземов и Ивч. Надеюсь, что Малоземов не в России теперь. <…>

Бедняга Маяковский, о нем очень хорошо и тепло написали „Последние новости“ и скверно „Возрождение“, которое я называю кликушей…»

«6 мая 1930 г., Париж

…Сегодня день вашей свадьбы, поздравляю вас обоих и целую. <…> Ты не писала нам три недели, а обыкновенно пишешь каждую неделю, я и раздумываю, что бы это значило. Если кто-либо из вас был болен, то ты должна сейчас же об этом писать мне. А не молчать. Это ты знай навсегда. Я должна всегда быть с вами мысленно вместе, это мне надо…»

«14 мая 1930 г., Париж

…Насчет вашей поездки в Россию что мне сказать. Очень я этому не рада. Приехать к вам на август и сентябрь, чтоб быть с Сережей, я хочу. Раз это вопрос об Ольге Иеронимовне, то что же тут возразишь…»

«6 июня 1930 г., Париж

…Сегодня мы с Марией Ивановной вернулись из церкви. Ведь сегодня Троица и так приятно, что наши праздники сходятся с французскими. Служба была очень торжественная, вся церковь в цветах. Молилась за вас и за тех, которые в России…»

«12 июня 1930 г., Париж

…Значит, вы едете в половине августа в Россию…»

«11 июля 1930 г., Париж

…В эту среду, т. е. 9 июля подала заявление о визе, он меня спрашивал как на духу, зачем на 6 месяцев. Я не могла сказать, что вы едете в Россию и можете там застрять. <…> Я писала тете Оле, что уезжаю к вам, а она многозначительно пишет, что надеется застать меня в Париже, что вы никуда не поедете, потому что не захотите оставить такого еще маленького сына. <…> Целую тебя, моя дорогая. Очень я не рада вашей поездке в Россию…»

На этот раз Анна Алексеевна и Петр Леонидович все же отправились в Россию и благополучно вернулись в Кембридж. На обратном пути они на неделю остановились в Брюсселе, где проходил Сольвеевский конгресс. Анна Алексеевна так описывает Ольге Иеронимовне свои впечатления:

«12 ноября 1930 г., Кембридж

Дорогая Ольга Иеронимовна, Петя просил Вам написать, он ужасно занят и боится, что будет все откладывать и откладывать письмо. В Брюсселе было очень хорошо, заставили физиков работать с 9 утра до 11 вечера. Все почти жили в одном отеле, встречались утром за кофе и тут же начинали физические разговоры. Шли толпой в „свободный университет“ и там читали доклады, спорили и говорили до 6 вечера, шли домой и обедали опять вместе и опять с физическими разговорами. И так всю неделю. Им всем было приятно, что люди, которых они почти никогда не видят, все собраны вместе и не надо путешествовать по всей Европе, чтобы со всеми ими разговаривать.

Эйнштейн — существо очень симпатичное, у него страшно веселые глаза, зато Madame Curie ужасно свирепая, страшно сухой принципиальный вид. Я думаю, она не самая симпатичная старуха на всем свете. Остальные физики все очень милые, некоторые невыносимо смешные. Все были очень довольны, но рады, когда кончилась неделя, слишком много наговорили.

Я была в Брюгге, очень славный городишко, совсем как на старых пейзажах, и картины очень хороши.

Сережа говорит по-русски совсем хорошо, но ужасно смешно, некоторые слова определенно с английским акцентом, получается забавно. <…> Мы, кажется, решили заводить еще одну зверушку, которая родится в конце июня. Не могу ручаться за девочку, но постараюсь! Проводили сегодня маму в Париж. <…>

Мы заняты сейчас посадкой и планировкой сада, вырастет он, конечно, через 25–50 лет, но все-таки надо посадить…»

В 1966 году, снова оказавшись после большого перерыва в Англии около своего дома, Анна Алексеевна напишет: «Жизнь человека — такой короткий срок. Больше всего меня поразили деревья, которые мы сажали у нашего дома. Вот они уже старые, а мы?..» *(из письма В. М. Ходасевич).*

Елизавета Дмитриевна — Анне Алексеевне

«14 февраля 1931 г., Париж

…Сегодня минуло три года дорогому нашему Сереженьке, поцелуй его крепко от бабы. Напиши, как прошел этот знаменательный день. <…> Пополнела ли ты, то есть, заметно ли твое положение?..»

«25 февраля 1931 г., Париж

…Очень мне жаль, что Хирьякова такая нетерпимая и сама себе делает больно. (Анна Алексеевна рассказывала, что Хирьяковы, их ближайшие друзья-эмигранты, так и не смогли принять тот факт, что она стала советской гражданкой — *Е. К.*). Ведь она так любила тебя, да еще вдобавок ты крестная мать…»

«1 июля 1931 г., Париж

…Напиши, как ты себя чувствуешь, и точно напиши мне, когда ожидаешь. Это для меня очень важно знать, я буду молиться о тебе. <…> Я могу приехать к вам, когда это будет удобнее, когда у вас не будет гостей…»

«6 июля 1931 г., Париж

…Письма наши разошлись. Мы получили твое с описанием вашего званого обеда. Разве тебе не трудно было хлопотать и всех принимать?…»

Анна Алексеевна писала Ольге Иеронимовне 25 июня 1931 года:

«Скоро приедут масса посетителей, делегаты из России на Educational congress, наверное, завернут в Кембридж. Френкель по дороге в Ленинград приезжает в начале июля! Только все они в очень неудобное для меня время приезжают…»)

«9 июля 1931 г., Париж

Дорогие мои Петя и Анечка, поздравляю вас с новым

малюткой сыном, товарищем Сереженьке…»

«12 июля 1931 г., Париж

Дорогая, милая моя Анюточка, как я обрадовалась твоему письму и как счастлива, что малютку вы назвали Андреем, это такое хорошее имя. Теперь я усиленно молюсь, чтобы твое сердце смягчилось и чтобы маленького Андрея окрестили. Не сердись на меня за эти строчки, но ведь крещение для меня Таинство, и я так люблю вас и малютку, что для меня отдаление от вас так тяжело. Но я терпеливо жду и надеюсь и надежду эту не потеряю. <…> Когда я получила телеграмму, то обрадовалась, но и грустно мне стало, что я не с вами, и грустно все это время…»

«18 июля 1931 г., Париж

…Сейчас получила твое письмо. Очень довольна им, ты все так хорошо и подробно описала. Конечно, я очень хочу видеть маленького Андрея и приеду, как ты говоришь, в первых числах августа. Как хорошо, что Сереженька любит братца своего, он и потом будет верно ему покровительствовать. <…> Ты устроила роды потихоньку, и Петя не проснулся, но меня бы ты так не провела…»

«20 ноября 1931 г., Париж

…Я всегда представляю себе Сереженьку и маленького Андрюшу с его толстыми щечками и очень их люблю и понимаю теперь, отчего бабушки так любят внуков…»

«4 марта 1932 г., Париж

…Очень рада, что ты занимаешься с Сережей русской грамотой, ему полезно сидеть смирно и немного сосредоточиться, хоть 10 минут. <…> Как хорошо, что Петя вовремя купил рядом землю и вам не помешает новый дом. Рада за Петины успехи по жидкому водороду и вообще. Виктор (Анри — *Е. К.*) хочет приехать к нему и посоветоваться насчет устройства лаборатории жидкого водорода, он у себя в Льеже хочет устроить. <…> Твоя перестановка мебели мне не вполне ясна. Нарисуй, как все стоит…»

«4 апреля 1932 г., Париж

Дорогая Анюточка, 26 марта / 8 апреля день твоего рождения и именин. Хоть ты и считаешь по новому стилю, но по старому — Благовещение Пресвятой Богородицы 25 марта, а ты родилась на следующий день, вот отчего я и праздную день твоего рождения после праздника Благовещения. (Анна Алексеевна всю жизнь

справляли свой день рождения 26 марта по новому стилю, сохранив дату, соответствующую старому стилю — *Е. К.*). <…> Кризис во Франции еще продолжается и много русских без работы, а фунт повысился. Как вы думаете, поднимется ли еще?..»

«9 мая 1932 г., Париж

…Получила твое письмо и наброски с Андрюши, очень мы обе были рады. Наброски очень понравились, особенно где он стоит в профиль, такой милашка. Но сейчас мы находимся в таком волнении от этого ужасного события: убийства русским французского президента[45]. Это дикое убийство мог совершить только сумасшедший. Но сумасшедший он или нет, он все же русский эмигрант, и это падает на всех нас, живущих во Франции и пользующихся такой широкой свободой здесь. За добро отплатил так ужасно. Всякий террористический акт вызывает во мне протест и угнетает, с какой бы стороны он ни шел, а такой лег на нас тяжелым гнетом. Как подумаю о русских, которые работают на заводах, об учащихся во французских школах, как им тяжело. Не думаю, что это только я чувствую так, нет, все одинаково так чувствуют. Конечно, это впечатление со временем сгладится, но пока очень тяжело. Ты, конечно, читаешь все подробности об этом событии и всякие предположения, но будем ждать судебного следствия, что оно откроет.

Что такое ты пишешь, что хотела бы поехать в Союз, т. е. в Россию? Почему ты пишешь, что *ты* хотела бы поехать. Как? Одна? Что это значит?

<…>Что же это Сереженька не делает успехов в русской грамоте, все же не оставляй с ним заниматься хоть 10 минут. <…>

Я очень рада, что Петина лаборатория вышла красивой, напиши, когда она откроется. <…> Мы раньше, чем ты написала, прочли про открытие Кокрофта. Мария Ивановна воскликнула: „Почему это не Петя открыл, ведь он работал над атомом“. Я же хочу знать вот что. Кокрофт работал у Пети в лаборатории и пользовался его машиной, если это так, то тут и Петина часть есть. Так ли это?..»

«23 мая 1932 г., Париж

…Получила твое длинное письмо, где, как сказала Мария Ивановна, много рассуждений о французской политике и мало о детях. Но я все же рада этому письму и с твоим мнением о французской политике согласна. Что касается о военных слухах, связанных с Японией и СССР, то это очень страшно. Но я не представляю, чтобы опять загорелся мировой пожар. Уж очень все

устали. <…> Ты спрашиваешь о моем приезде. Я свободна в конце июня, если это вам обоим удобно, я могу приехать. Конечно, останусь, сколько понадобится, если вы уедете в Россию. Понимаю Петю, что он хочет видеть маму, хоть и не перестаю бояться поездки туда для вас. <…> Очень рада за Петю, что скоро откроется его новая лаборатория…»

«14 июня 1932 г., Париж

Получила английскую визу, т. е. извещение, что могу ее взять на три месяца. Вчера, ввиду тревожных слухов о нансеновских паспортах, пошла в Префектуру узнать. Была спокойна, п.ч. у меня нансеновский паспорт до 13 августа 32 г. Но, увы, мне сказали, что если я хочу ехать сейчас и остаться после 13 августа, то мне надо не возобновить визу, как прежде, а взять новый нанс. паспорт и для этого потребуется 2 месяца. Эту репрессию сделали русским за убийство президента. Кончилось свободное передвижение, когда в два дня выправляли нансеновский паспорт. Теперь мое прошение пройдет два министерства, о моей благонадежности наведут справки…»

«2 июля 1932 г., Париж

…Поездка моя к вам еще не определилась. Как раз после твоего письма пришел ко мне „тип“ из Префектуры, смотрел мою „Carte d'id“ и что-то записывал и почему-то все спрашивал о папе. Очевидно, таким способом осуществляется проверка русских, живущих в Париже и желающих получить нансеновский паспорт. Пришел „тип“ на другой день после твоего письма, значит, ваше письмо к знакомому вашему французу еще не имело действия…»

«19 июля 1932 г., Париж

…Меня постигла неудача. Сейчас была в Префектуре, и мне не выдали визу, сказали, что запрос мой пошел в министерство. Я спросила, почему же всем выдают в 48 часов, а я не получаю. Ответили, что с некоторыми так поступают, причина им не известна. Одним словом, я нахожусь в подозрении…»

В архиве отсутствуют письма за длительный период — более года.

«4 октября 1933 г., Кембридж

…Сегодня получила твое письмо, посланное из Москвы 27 сентября, итак, оно пришло на восьмой день. Из „Узкого[46]“ также. Ты пишешь так, как бы не получала от меня писем, а между тем я пишу каждую неделю аккуратно. Дети, Слава Богу,

все время были здоровы, они оба очень веселы, и Сережа по-прежнему прекрасно себя ведет. <…>

Вы, вероятно, читали о смерти Эренфеста. Какая страшная драма. В английских газетах только сказано, что он пришел в больницу к сыну, выстрелил в него, ранил, а себя убил. Какой-то ужас. Я знала его и жену его Таню, когда они только что женились. <…>

Итак, вы едете на Кавказ…»

«14 октября 1933 г., Кембридж

…Теперь вы уже в Кисловодске, только бы погода была хорошая. <…> Дети здоровы, оба очень веселы. Сережа ходит в школу, но очень рад, когда не надо идти, то есть в субботу и воскресенье. Он так занят „мекано[47]“, все время строит и строит. Когда не скоро засыпает, я ему говорю: „что не спишь?“ Он отвечает, что думает и обдумывает, как бы лучше сделать машину, которую он хочет строить. Чаще строит не по книгам, а „из головы“, как он говорит. <…> Спасибо за виды Ленинграда, но в них нет Невы и набережной, купи их…»

«19 октября 1933 г., Кембридж

…Получила твое письмо из Кисловодска, очень рада, что вы так хорошо там устроены, и надеюсь, что Петя уже совсем поправился. Одного только боюсь, что по приезде домой он опять будет сидеть по ночам над работой и портить здоровье. <…> Сережа теперь очень увлечен „передачей“ и устроил себе из „мекано“ ящик и на нем всевозможные передачи, все колесики вертятся, одни с цепью, другие с ремнем…»

«14 февраля 1934 г., Париж

…14 февраля рождение Сереженьки. Поздравляю вас всех. <…> Спасибо тебе за гравюры, мне они очень понравились. Это очень красиво, и твоя мысль сделать серию Кембриджа — очень удачная мысль. <…> Всего лучше Сережа, он прелестно вышел, потом очень хороша дама с кошкой, вид и дама в кресле, но тут есть ошибка, у дамы белая полоса закрывает лицо. Очень будет интересно, если ты будешь продолжать. <…> Как хорошо, что ты вздумала писать нам ежедневно понемногу, и это письмо вышло интересное: и в Лондоне были, и о детях написала и даже о платье. Снимись в нем и пришли нам. Спасибо тебе за книгу Белого, отдала ее на прочтение Анне Николаевне, и еще есть желающие. Но я не могу одолеть ее, язык его слишком невыносим в этом романе, а предисловие написано ясно.

Мы сегодня сидим дома, но забастовка очень умеренная: есть

вода, газ, электричество, хлеб и молоко. На улицах пусто и тихо, мы немного гуляли. Газеты не вышли. Кажется, все успокоится.

Рада, что автомобиль у вас удачный. Рада, что Петя не устает от Лондона и от завода, я очень боялась, что завод его будет утомлять».

«6 марта 1934 г., Париж

…Ты пишешь о советской школе для Сережи, но ведь это значит лишить его и себя — его семьи, а себя сына, потому что он отвыкнет от вас, а Андрюшу лишить брата. К тому же в советской России, которая так еще молода, нет ни хороших учителей, ни школы удовлетворительной, они сами об этом часто пишут. Да и неудивительно это, для этого время требуется. Да и жизнь там еще не устроилась, и не наладилось с продуктами, все еще недоедают. Страна еще не вышла вполне из хаоса, еще строится. И в гигиеническом отношении не все в порядке, и эпидемий много. Одним словом, страна, и такая обширная, как Россия, пережила революцию, все еще строится, созидается, много увлечений, и сами часто отменяют то, что начали, и в школьном деле особенно. Буду надеяться, что найдешь в Кембридже неплохую школу и вы останетесь все вместе.

Очень рада была узнать, что папа здоров и меня вспоминает…»

«27 марта 1934 г., Париж

…Ты зовешь нас после Пасхи, но я к вам не могу приехать, да вдобавки, ведь вы в августе куда-нибудь с Петей улетите, вот тогда я и должна буду приехать, чтобы караулить детей. Итак, вы собираетесь в июле на мельницу (см. об этом — *Е. К.*), а ты там не скучаешь?

Спасибо за присланный отчет о папином юбилее. Очень было интересно прочесть. Чествовали папу очень сердечно и просто, и только один, и как раз начальник Военно-Морской Академии, нагородил о „темпах“, о „пролетарской диктатуре“ и т. д., и совсем некстати, а нарочито коммунистически, но это только один адрес был такой напыщенный, остальные очень просты и хороши. <…>

Через неделю у вас Пасха, а у нас на неделю позднее, и ты знаешь! — твои именины и рождение на первый день Пасхи приходятся, п.ч. в Страстную субботу Благовещение. Мне это очень нравится, что в первый день Святой я буду праздновать и твое рождение. Я очень этому рада…»

«26 апреля 1934 г., Париж

…Получила твое письмо и фото, они хороши, но обидели нас тем, что на них нет Андрюши. Но этот твой промах пополнила Вера (Анри. — *Е. К.*), которая прислала мне всех детей, снятых у вас, там и ты есть, и Петя, который, верно, снимал кинематографом, а может быть, просто фотографировал. Вера пишет обстоятельно обо всех своих и детских восторгах: и как у тебя хорошо, и какие вы оба ласковые и гостеприимные, и как весело проводили вечера у вас с русскими профессорами и т. д. Теперь они ждут вас, и т. к. вы хотите ехать на своем автомобиле, то, значит, в поездке осмотрите старинные бельгийские города. Только вот в Генте не увидите украденного Ван Эйка в соборе. Очень рада за вас, что попутешествуете. <…> Я отправила тебе книгу Шаляпина…»

«9 июля 1934 г., Париж

…Сегодня минуло три года маленькому Андрюше, и я крепко целую его щечки. <…> Письмо твое очень интересно, и о вашем пребывании на мельнице, и о путешествии по Бельгии. Понимаю тебя и Петю, что вы хотите ехать на автомобиле по северным странам, это очень интересно. Я боялась, что вы поедете через Германию, которая сошла с ума и очень опасна…»

В конце августа 1934 года Анна Алексеевна и Петр Леонидович, совершив замечательное путешествие на машине, через Скандинавию приехали в Россию. И на этот раз (а приехали они в Россию в четвертый раз) произошло то, чего так опасалась Елизавета Дмитриевна все эти годы, — Петра Леонидовича не выпустили обратно в Англию. Вернуться было позволено лишь Анне Алексеевне. Они провели в разлуке около года. И все это время Елизавета Дмитриевна жила вместе с Анной Алексеевной. Только в конце сентября 1935 года. Анна Алексеевна одна поехала в Россию повидать Петра Леонидовича и сориентироваться в обстановке, в частности, — можно ли привозить в Россию детей.

О впечатлениях Анны Алексеевны можно судить по ее письму Ольге Иеронимовне:

«2 ноября 1935 г., Москва

…Сейчас Петя очень занят в новом здании лаборатории. Оно вчерне закончено, но очень много деталей сделано небрежно и торопливо, а это обидно, потому что здание хорошее и если бы все детали были сделаны аккуратно, то было бы просто прекрасное. Но у нас так любят спешить и так трудно их всех убедить, что заканчивать надо хорошо, что просто радуешься, что

хоть здание-то стоит солидно. Шура (Шальников — *Е. К.*) сейчас очень кстати, много будет работы уже в самом помещении по проверке и оборудованию. Это разгружает Петю от необходимости заниматься мелочами, которые, к сожалению, ни на кого нельзя было оставить. Нужны специальные знания и опыт лабораторной работы. Мы на праздники поедем в Болшево и там спокойно проведем три дня. Погода опять в Москве стоит хорошая, сегодня солнце и тепло. Вчера получили письмо от мамы и приписку от Сережи, которую Вам и посылаю. (*Сережа Капица — родителям:* „Милые папа и мама. Я очень хочу скорее поехать в Москву с Андрюшей. Я очень тебя, папа, хочу видеть. Я ведь целый год тебя не видал. И другую бабушку и дедушку хочу видеть…“)

Нам наконец предложили порядочную квартиру в академическом доме на Пятницкой, 12. <…> Это старый дом, в котором была Академия Внешней торговли. Первые два этажа старые, а верх надстроен. Мы помещаемся во втором этаже. Квартира имеет один недостаток — она темноватая, одна комната вообще без окон! <…> Между прочим, фасад украшен колоннами, так что мы начинаем привыкать с ними жить! Видно, от них не уйти. <…> Так что мы очень довольны, что наконец устроились. Я надеюсь, что все переделки будут закончены до моего отъезда, я собираюсь уезжать 15–20 ноября и думаю вернуться через месяц уже с ребятами, так чтобы зиму уже прожить всем вместе. Если все переделки не будут закончены в срок, то, может быть, придется ребят послать в Ленинград и разделить между дедушкой и бабушкой. Петя только беспокоится, что они Вас со света сживут своим шумом и живостью…»

После возвращения в Кембридж Анна Алексеевна менее чем за два месяца «свернула» там все свои дела и вместе с детьми переехала жить в Россию. А Елизавета Дмитриевна осталась в Париже одна…

Продолжение переписки — см. «Письма из Франции».

Письма отца *(Публикация Е. Капицы.)*

Отец Анны Алексеевны — Алексей Николаевич Крылов после Октябрьской революции довольно долго жил за границей. Он отправился в Западную Европу в 1921 году как член делегации советских ученых для налаживания научных связей. Кстати, Петр Леонидович также был в составе этой делегации и был знаком с Алексеем Николаевичем задолго до того, как познакомился с его дочерью. После того как делегация ученых свою миссию выполнила, Крылов не вернулся в Россию, а остался жить в Париже в качестве представителя Советского Союза с самыми разнообразными заданиями. Анна Алексеевна в те годы также жила в Париже, они довольно часто встречались, поэтому переписка между ними началась лишь после замужества Анны Алексеевны и ее переезда в Кембридж.

«23 июля 1927 г., Париж

Милая Аня!

Вчера меня призывал наш генеральный консул Отто Христианович Ауссем и сказал, что тебе паспорт из Москвы разрешено выдать. Для этого необходимо:

Чтобы ты заявила, какую хочешь носить фамилию, т. е. Капица или Крылова — двух нельзя.

Прислала 4 фотографических карточки.

Прислала 12 долларов, если хочешь паспорт на годичный срок.

Перечислила свои приметы:

а) Рост (в см)

б) Цвет волос

в) Цвет глаз

г) Нос

д) Особые приметы.

Можешь писать и так:

Рост — дылдоватый

Волоса — карие

Глаза — когти

Нос — луковицей

Особые приметы: на лбу рожки еще не пробились, но места для них обозначились…»

«22 октября 1927 г., Париж

Милая Аня!

Получил твое письмо. Спасибо за поздравления и пожелания.

В конце будущей недели, вероятно, выеду в Москву, куда меня вызывает Нефтесиндикат для доклада о ходе постройки и о заказе еще двух таких же теплоходов. Побуду там и в Ленинграде, вероятно, недели три, так что вернусь сюда около 1-го декабря.

Я боюсь, что у Елизаветы Дмитриевны не хватит денег, тогда ты ей пошли после ее возвращения в Париж фунтов десять, я затем, когда вернусь, тебе переведу.

На днях я должен принимать так называемый Онегинский Музей[48], думаю его заодно пополнить некоторыми замечательными редкостями: так, на Quai я видел тот самый пистолет, из которого убит Пушкин (цена 5 фр.), и кружевные панталончики Наталии Николаевны. Подлинность их несомненна, так как у них оборвана пуговица. Пушкинский дом Ак. наук, вероятно, созовет Reinach'a, Dussaud и пр., чтобы решить следующие огромной важности вопросы:

Оборвана ли эта пуговица самою Наталией Николаевной, несколько торопившейся, когда ей было „кюхельбекерно и тошно", или эта пуговица оборвана торопившимся Дантесом.

Где находится теперь эта пуговица? Я имею сведения, что она в Мельбурне и, если профессор Гофман просил Ак. наук об ассигновании в его распоряжение 300 фунтов, чтобы съездить в Константинополь, где, по слухам, продавался веер Нат. Ник., то я хочу просить 500 фунтов, чтобы съездить в Мельбурн и разыскать знаменитую пуговицу…»

«31 декабря 1927 г., Москва

Милая Аня!

Поздравляю тебя и Петра Леонидовича с Новым Годом и желаю Вам всего хорошего и счастливого.

Как видишь, мое пребывание здесь затянулось гораздо дольше, чем я рассчитывал (Крылова больше не выпускали за границу — *Е. К.*), потому я просил Нефтесиндикат в Париже перевести тебе мое жалование за ноябрь — это для мамы, которой ты и передавай, сколько ей будет нужно по мере надобности или как будет удобнее.

Кроме того, я просил Анну Богдановну (Ферингер — *Е. К.*) переслать тебе мою книжку, ты также передай ее маме, когда она приедет.

Т.к. Анна Богдановна всегда очень нервничает, то ты ей ничего лишнего и меня касающегося не пиши (вероятно, Крылов имеет в виду свой разрыв с А. Б. Ферингер и объединение в Ленинграде с другой женщиной — Надеждой Константиновной Вовк-Росохо, или, как ее звали в семье, Вовочкой — *Е. К.*)…»

«25 марта 1928 г., Ленинград

Милая Аня!

Давно собирался тебе написать и пожелать всяческих благ моему внуку, которого даже не знаю, как вы обоктябрили или окрестили, я предлагаю назвать его или Асклипмодотат или Крокодилом, будет всю жизнь родителей поминать.

Передай прилагаемую записку П. Леон. Дело вот в чем — Cambridge Inst[rumental] C[ompany][49] изготовляет приборы (сейсмографы) системы Б. Б. Голицына. Может быть, узнав о болезни и тяжелом положении его вдовы, они признают возможным послать ей хотя бы малое вознаграждение за пользование изобретением Бор. Бор. Голицына. Для них какие-нибудь 5 ф. ст. время от времени ничего не значат, а здесь это будет уже большая помощь. Попроси П. Леонид. при оказии переговорить, вероятно, он в Cambridge Inst. С публику знает…»

«8 апреля 1928 г., Ленинград

Милая Аня, сегодня получил посылку кофе, — спасибо, но ты сделала ошибку. Я тебе писал, что надо посылать не более двух килограмм, т. е. четырех английских фунтов, ты же насыпала в жестянку 2 кг 600 г, поэтому за 2 кг взяли пошлину по 5 руб. за кг, а за 600 г избыточных — по 2 р. 50 к. за 100 г, т. е. 15 руб. Имей это в виду, и если что попрошу прислать и укажу норму, то надо ее соблюдать точно. <…>

Милая Аня, написал тебе открытку № 1, показал Вовочке, и она меня разнесла: за твое здоровье в день твоего рождения пили вкусный кофе, за который тебе сказал одно слово спасибо и написал десять строк назидания. И вышел, как Вовочка говорит, неблагодарное животное. Всего хорошего всем вам, жду фотографий, чтоб видеть тебя толстухой».

Анна Алексеевна всегда отмечала, что ее отец прежде всего стремился в любых условиях делать свое дело. Из его писем видно, как много он делал для России, несмотря на то что его не выпустили за границу.

«22 июня 1928 г., Ленинград

Милые и дорогие Лиза и Аня!

Виноват перед Вами, что так долго не писал.

Совсем окунулся в академическую жизнь, но, кроме того, имею и другие занятия практического рода, состоя консультантом Нефтесиндиката и Научно-Технического Управления Морским Ведомством.

По Нефтесиндикату участвую здесь в Центр[альном] Суд[остроительном] Бюро по проектированию нефтеналивных судов и присматриваю на заводе „Русский дизель“ за изготовлением цилиндров для „Азнефти“ и „Грознефти“ взамен лопнувших. По Науч. — Техн. Упр. главным образом занимаюсь по артиллерии, написал целую книгу (около 15 печ. листов) о вращательном движении снаряда, теперь начинают печатание. Кроме того, разрабатываю программу интересных опытов на осень в Севастополе.

Без малого каждую неделю езжу в Москву по судостроительным делам. Обыкновенно на один, много на два дня. Поезда очень удобные, вечером в 11 ч. 30 мин. ложусь спать в международном вагоне, утром в 9 ч. 30 мин. в Москве, а на другой день утром опять дома.

Академия теперь занята предстоящими выборами 40 новых членов примерно в декабре месяце.

Поблагодари Петра Леонидовича за все, что он сделал для Голицыной, я получил от нее письмо, но оно относится, по сути, не столько ко мне, а к Петру Леонидовичу, который все выхлопотал…»

«9 ноября 1928 г., Ленинград

Спасибо тебе, милая Аня, за твое письмо и за сообщение о гениальности моего внука. О. И. (Ольгу Иеронимовну — *Е. К.*) мне повидать еще не удалось, и я про него знаю только, что „палец в рот ему не клади“.

Вижу, что ты пробуешь писать на машинке, но тебе следует 1) переменить ленту, 2) смазать ее чернилами, или как это там делается, чтобы было отчетливее, и 3) поставить новый цилиндр со шрифтами, а то представляется, что на всем развале не нашлось более расхлябанной, но все-таки читать можно.

Статью П. Леон. получил, спасибо большое, просмотрел. И хотя этими вещами не занимаюсь, но думаю, что таких статей „крокодилу“ не часто приходится представлять в Royal Society (имеется в виду Лондонское Королевское Общество — *Е. К*). Абрам Федорович Иоффе очень хвалит, а в таком деле на него положиться можно. Посылаю П. Леон. две моих статейки…»

«9 января 1929 г., Ленинград

Милая Аня!

Давно тебе не писал. Карточку моего внука получил и по его виду и твоему описанию не сомневаюсь в его гениальности.

Я все по-прежнему два дня каждую неделю в Москве, а пять дней здесь. В Москве дело живое — Совторгфлот разрабатывает

типы и общие проекты судов, которые будут строиться в ближайшее время. Работа в техническом отделе поставлена очень разумно, заседания ведутся деловито, без болтовни, так что работать приятно. <…> В Академии выборная страда кончилась, так что осталось лишь Общее собрание 12 января, которое должно утвердить выборы, но это больше формальность. Кроме того, по Академии мне приходится сидеть в заседаниях Президиума два раза в неделю — эти заседания невыносимы по мелочности и пустяковине, которые обсуждаются часами. Я предупредил, что как войдут новые члены, то я от обязанностей Академика-Секретаря Отделения отказываюсь, пусть выберут кого помоложе и чистого ученого, а я обсуждать полчаса вопрос вроде того, кого посылать в составе делегации на 50-летний юбилей Казанского Археологического общества, не могу, мне такая пустяковина противна…»

«20 января 1929 г., Ленинград

В прошлый четверг А. Ф. Иоффе дал мне подписать вместе с П. П. Лазаревым представление П. Леонид. в члены-корреспонденты Академии и сообщил, что в середине апреля ты собираешься вместе с ним приехать сюда. I believe you are both just as childishly unreasonable as your baby[50] — ты теперь взрослая дама так по-английски оно вежливее выходит. Ты, видимо, забыла, что у нас новый стиль и середина апреля, это по старому начало апреля, т. е. самое худое время — Нева обыкновенно еще не прошла, с улиц скалывают грязный зимний лед — погода ни весна, ни зима, самая что ни на есть для простуды, а проживая так долго, как ты, в южных и теплых климатах, от нашей апрельской весны отвыкаешь. Ты должна помнить про бывший у тебя плеврит и пр.

Насколько отвыкаешь от климата, скажу про себя. Я жил в Питере с 1877 года по 1921 год, т. е. 44 года и, как знаешь, зиму и лето ходил в том же самом пальто, никогда не хворал, разве только насморком и хрипотой на два дня. Так вот, вернувшись в прошлом году сюда (в ноябре), я к концу ноября захватил какой-то поганый кашель, который и мучил меня до июня. Я в этом году, опасаясь повторения, перешил Николая Александровича (отец Алексея Николаевича — *Е. К.*) енотовую шубу на пальто, и пока хорошо.

Сюда можно приезжать и тебе, и П. Л. не в середине апреля, а в середине мая, когда будет уже тепло, и весь лед будет свезен, улицы вычищены, и погода вообще теплая. <…> Пошевели мозгами и прежде чем ехать сообрази все как следует…»

Конечно, Крылов не мог написать в своем письме обо всем,

что происходило в России, прямо. Он пользуется намеками и иносказаниями, желая предостеречь Капиц от приезда в СССР. Беспокоясь, что Анна Алексеевна и Петр Леонидович могут этого не понять, он при первой же возможности просит передать предостережения им лично, и делает это через математика Я. В. Успенского, который отправился в заграничную командировку и мог оттуда написать Капицам, не опасаясь перлюстрации писем (кстати, сам Успенский из зарубежной командировки не вернулся, стал «невозвращенцем»):

«9 апреля 1929 г., Берлин

Многоуважаемый Петр Леонидович!

Пишу Вам по поручению Алексея Николаевича Крылова, который просил меня сообщить Вам о нижеследующем. А. Н., узнав, что Вы собираетесь приехать в СССР для временной работы, убедительно просит Вас *не делать этого.* Положение сейчас таково, что никаким гарантиям того, что Вас по истечении некоторого срока выпустят обратно, *доверять нельзя.* Приехав однажды в СССР, Вы рискуете остаться там навсегда. Но, допустив даже, что этого не случится, все-таки можно очень сомневаться, что Вам удастся вести работу при таких условиях, какие Вы имеете в Кембридже. Поэтому А. Н. просит Вас отменить Ваш приезд в СССР и известить об этом А. Ф. Иоффе под каким-либо благовидным предлогом или еще тянуть дело так, чтобы не сказать ни да, ни нет. Обо всем этом нужно писать осторожно и дипломатически, что Вы, вероятно, и сами понимаете. <…>

С искренним уважением, *Я. Успенский»*

Анна Алексеевна и Петр Леонидович на этот раз к настойчивым предостережениям Крылова прислушались и в Россию не поехали.

«1 апреля 1929 г., Ленинград

…Мама пишет, что ты стала совсем belle-femme[51], непременно снимись и пришли фотографию, да не любительскую дрянь, а хорошую…»

«28 сентября 1929 г., Ленинград

…Сегодня возвращался из Москвы с П. П. Лазаревым. Передай П. Леон., что Crowther'y (Краузер был научным публицистом и приехал в Россию, чтоб написать о развитии науки в СССР, с рекомендательным письмом Капицы. — *Е. К.*) в Москве было оказано полное внимание — П. П. сам ему показал все главнейшие научные учреждения. Так что Crowther мог получить

в короткое время полное представление о их работах. Вероятно, он будет описывать это в Manchester Guardian, если тебя не затруднит, пришли его статьи, интересно, что он скажет, — видимо, парень толковый. <…>

Затем еще к тебе просьба: закажи какому-нибудь книготорговцу, чтоб он достал в Лондоне „Report of the Commitee appointed by the President of the Board of Trade to advise on Load lines of Merchant Ships[52]“.

Этот Report вышел недавно, предлагаются новые правила „грузовой марки“ и высоты борта. А так как мы спешно проектируем громадный танкер, то, чтобы не пришлось переделывать, надо сразу сообразовать с новыми правилами. Одно мне удалось предугадать — по старым правилам для нашего корабля превышение носа над срединой полагали не менее 2,45 метра, я велел делать 3,5 — по новым правилам будет требоваться не менее 3,30 м, ну да всего не угадаешь.

Твою карточку все жду, может быть, к совершеннолетию Сережи и получу…»

«4 ноября 1929 г., Ленинград

Спасибо тебе за присланный Report, он мне весьма пригодился, видимо, здесь это пока единственный экземпляр, и в „Судопроекте“ с ним не расстаются. <…>

Жду карточку!»

«31 декабря 1929 г., Ленинград

Спасибо тебе за карточку, которая в смысле фотографического искусства очень хороша, но видно, что фотограф нагнал на тебя такую серьезность, как будто ты собираешься представиться архиепископу Кентерберийскому.

Я по-прежнему занят проектом 15 000-тонного теплохода — проект подходит к концу, надо торопить, т. к. решено строить сразу два таких корабля. <…>

Ты писала, что П. Л. занят устройством новой лаборатории холода и сжижения газов, передай ему, что надо соблюдать крайнюю осторожность при накачивании под большими давлениями кислорода, особенно надо опасаться масла в цилиндрах насоса, сепараторах или баллоне. Когда давление кислорода достигает 150 атм., то масло само воспламеняется и происходит взрыв. Пусть хорошенько разузнает и примет все предосторожности. Пока не умели обращаться, у нас лет 28 тому назад было несколько случаев…»

Петр Леонидович вскоре отвечает Крылову:

«18 января 1930 г., Кембридж

Дорогой Алексей Николаевич!

<…> Что касается Ваших замечаний насчет мер предосторожности, то большое спасибо за них. Я все время озабочен ими. Мы думаем производить до 9 литров жидкого водорода в час, и это большая опасность. Будем употреблять вместо жидкого воздуха (для предварительного охлаждения) жидкий азот. Машина для его получения в больших количествах уже работает (12 литров в час). Потом у нас налажена вентиляция. Есть один аппарат, который обнаруживает 1–2% водорода в комнате. Этот детектор приводит в действие реле, причем все машины автоматически останавливаются, а окна открываются. Думаем насчет испытания к середине будущего месяца. <…>

Внук Ваш растет и умнеет. Проявляет значительные зачатки ума и сообразительности, игрив и весел и нас всех забавит. Особо любит он ездить на автомобиле и ревет, когда его мало катают.

Анна регулярно ходит в библиотеку. Что там делает, не знаю, но, по-видимому, занимается. Все мои стремления убедить ее, чтобы она поступила тут в университет, остались без успеха, ее прямо принимали как В. А (бакалавра искусств — *Е. К.*) и предлагали защищать после написания докторскую диссертацию. Может быть, Ваше отцовское внушение повлияет.

Может быть, соберемся этим летом (август-сентябрь) в Питер. Что Вы об этом думаете? С Вашими советами, как Вы знаете, мы весьма считаемся…»

«4 февраля 1930 г., Ленинград

…Письмо твое и карточку Сережи получил дня четыре тому назад, а сегодня получил и кофе — спасибо большое.

Карточка Сережи меня невольно заставила вспомнить книгу, изданную лет 45 тому назад знаменитым балетоманом и еще более знаменитым взяточником К. А. Скальковским „О женщинах“.

О ее содержании можешь судить по началу: „Женщина состоит из души, тела и платья. Самое несомненное — это то, что у нее есть тело, платье не всегда бывает, и без платья женщина много интереснее, нежели в платье. Что касается души, то хотя и исписаны горы фолиантов за и против ее существования у женщины, но вопрос этот и до сих пор окончательно не решен“. Так вот, Скальковский в одном месте пишет: „только та жена верна своему мужу, у которой некрасивые колени“. Хотя у Сережи и очень красивые колени, но это не резон, чтобы их ставить в

фокус при съемке карточки, а лицо не в фокусе…»

«6 мая 1930 г., Ленинград

…Послал тебе вчера опять в письме поручение — прости, что надоедаю, хотел тебе что-нибудь послать в подарок и, написав „6 мая 1930 г.“, вижу, что по старому стилю это столетие со дня рождения моего отца, а твоего деда Николая Александровича.

Переписка Н. Ал. с моей бабушкой, его матушкой Марией Михайловной охватывает 50 лет — с 1842 по 1892 год. Особенно замечательны письма за время 1854–1857 годов, т. е. Крымской войны, воцарения и коронации Александра II. (Хочется отметить, что значительная часть этих писем сохранилась в архиве семьи Капиц и представляет собой уникальный исторический документ, требующий публикации и изучения — *Е. К.*). Здесь можно проследить, как молодой лихой офицер, сперва горячий патриот, превращается в ненавистника царей и их режима.

Много повлияло, например, и то, что их батарею на войну послали с 60-ю зарядами на орудие, а на коронацию — с 500-ми для салютов…»

«24 апреля 1931 г., Ленинград

…Как я подсчитал, то оказалось, что я целые полгода тебе не писал, но зато тебе писала Вовочка. Не сердись и пиши.

Посылаю тебе циркуляр Лондонского отделения ВОКСа, т. е. Всесоюзного Общества Культурных Связей, Центральное управление которого в Москве. Из этого циркуляра ты увидишь, что через него можно получать интересующие тебя плакаты. (Анна Алексеевна коллекционировала плакаты первых послереволюционных лет — *Е. К.*). Надо тебе сказать, что здесь книги расходятся так быстро, что если две-три недели пропустить, то и не достанешь.

Это не только художественные издания, так моя книжка, изданная Академией наук о расчете балок в 1000 экз., разошлась в два месяца. Академия решила напечатать второе издание, и уже есть заказов из провинции на 6000 экз. <…>»

«18 сентября 1931 г., Ленинград

…Спасибо тебе за фотографии внуков, но все-таки советую тебе вместо Андрея давать Сергею как игрушку или какую-нибудь куклу, или щенка. Они гораздо прочнее, а щенок еще тем хорош, что через год он будет себя считать умнее Сергея и будет нянчить его. Подумай об этом…»

«13 апреля 1932 г., Ленинград

… Вчера мне попал у букиниста прекрасный экземпляр Полного собрания сочинений П. Н. Лебедева. Спроси у П. Л., есть ли у него эта книга, если нет, то я пришлю. Приборы, построенные Лебедевым своими руками для измерения светового давления, и некоторые другие почти так же деликатны и нежны, как и некоторые приборы П. Леон. Но все-таки у Лебедева они размерами с черного таракана, а у П. Леон. побольше блохи, но меньше клопа…»

«12 февраля 1933 г., Ленинград

Ольга Иеронимовна дала Вовочке твое письмо о моих внуках и об открытии Лаборатории или, лучше сказать, о приготовлении к нему. Т. к. П. Леонид. в „вере исправился“ и более адское „зелие тютюн“ не сосет, то догадался ли он поднести свою старую трубку Baldwin'y — вот то бы фурор был. А о тютюне, или табаке, в гл. XXV ст. 11-й Уложения царя Алексея Михайловича сказано: „…на Москве и в городах о табаке заказ (по старинному значит „запрет“) учинен крепкий под смертною казнию, чтоб нигде Русские люди и иноземцы всякие табаку у себя не держали и не пили и табаком не торговали. А кто Русские люди и иноземцы учнут торговати: и тех людей продавцов и купцов (значит покупателей) велено имати и присылати в Новую Четверть, и за то людям чинить наказание большое без пощады, под смертною казнью, и дворы их и животных имая продавати, а деньги имати в Государеву казну…“ Так-то учили курильщиков всего 284 года тому назад.

На открытие Лаборатории все академики Физики, и я с ними как числящийся по мат. физике, послали Петру Леон. приветственную телеграмму, получил ли он ее? Так как ты нахрапом была на открытии Лаборатории, то опиши, как оно происходило, какие говорились спичи, где вас, присутствующих „ladies“, посадили и поминали ли вас, т. е. начинали ли спичи словами „My Lord Chancellor, ladies and gentlemen“ или обращались к одним джентльменам? В старину Кембриджский университет придерживался монастырских порядков и там явно ваше женское сословие не жаловали. Тайно — это другое дело. Даже сам Ньютон в своем знаменитом ругательном письме к философу Локку выговаривал ему, что Локк „вредит ему во мнении женщин“».

«2 июня 1933 г., Ленинград

…Спасибо тебе за присланные иллюстрации. Они очень интересны и поучительны как показатели того, до каких нелепостей доходят в угоду требованиям роскоши диких

американцев, забывая, что для корабля первый принцип „safety first“[53].

В 1910 году на „Титанике“ потонуло 1500 человек. Дождутся того, что на какой-нибудь „France“, „Normandie“ потонет 3000, и тем не менее не проймутся, ибо ум человеческий ограничен, а глупость беспредельна…»

«3 августа 1933 г., Москва

Пишу тебе из Москвы, куда приехал на три дня для обсуждения проектов нового типа теплоходов пассажирских — одного для Волги, другого для Черного моря. Суда будут великолепные. <…>

Так как вы намереваетесь приехать около 15 августа, то мы с Вовочкой решили одновременно отпраздновать вашу встречу и день моего рождения — мне минет 70 лет. А так как мой прадед и родоначальник бесчисленной Филатовской породы Михаил Федорович жил до 97 лет, то и я хочу следовать его примеру и потому делаю тебе следующие заказы:

<…> Я терпеть не могу, когда подошвы у сапог намокают, поэтому всегда подбиваю резиновые подошвы, а у меня извелись гвозди. Привези с полфунта гвоздей обойных малых, но не проволочных, если найдешь, то красной меди, они лучше расклепываются, а если нет, то железных…»

«26 декабря 1933 г., Ленинград

Merry Christmas and a Happy New Year, так полагается в Англии начинать письмо в рождественские дни. Хотя ты и получишь это письмо уже после Рождества, но советую тебе последовать примеру гоголевского городничего Сквозника-Дмухановского, который свои именины праздновал и на Антона, и на Онуфрия, а городские купцы должны были приносить ему праздничные даяния в оба эти дня. Так и ты отпразднуй и по новому, и по старому стилю. <…> Но вот чего Гоголь не предвидел — это кому платили праздничные петербургские частные приставы, наверное, и ты не догадаешься. Это кучерам и шоферам высочайших и высоких особ. Это при мне рассказывал старику Вепщеру в 1912 году частный пристав Петербургской части Полковник Кек.

Как ты знаешь, мостовые в Петербурге не отличались исправностью, да по характеру самого грунта и не могли быть постоянно исправны. Этим и пользовались кучера и шоферы. Если он везет по улице, принадлежащей к такой части, частный пристав которой должные дары принес, то каждую ямку, каждую рытвинку объедет осторожненько. Но зато где дары не принесены,

то нарочно погонит так, чтобы на каждой колдобине тряхнуть, да так, чтоб особе все печенки отбить. Приедет особа злющая-презлющая в Государственный Совет, встретит Министра внутренних дел: „Ах, Ваше …ство, что это градоначальник смотрит, ехал я по такой-то улице — все печенки отбил. Можно же мостовую в порядке держать, вот по таким улицам даже не тряхнуло“. Министр — градоначальнику нагоняй, градоначальник — частному приставу: одному — головомойка, а другому — благодарность. Догадлив русский человек…»

«16 февраля 1934 г., Ленинград

…Вероятно, перепечатано и в английских газетах печальное известие, что „Челюскин“ льдом раздавлен и затонул. Экипаж сошел на лед. Это тебе назидание — ты хотела проситься в полярное плавание на лето. Это плавание не для туристов, и остров Врангеля не Мальта и не Сицилия…»

В конце лета 1934 года Анна Алексеевна и Петр Леонидович приехали в Россию на собственном автомобиле. Они совершили замечательное путешествие через Скандинавию. Крылов в письмах подробно инструктировал их, советовал, к кому надо обратиться за помощью, какой путь избрать. Это последние большие письма Алексея Николаевича к дочери. После того как Капицы перебрались в Россию, переписка носила чисто деловой характер, т. к. они могли достаточно часто видеться, а во время войны даже жили вместе в эвакуации в Казани.

После смерти Крылова Анна Алексеевна передала весь архив и все его вещи в Мемориальный музей, а себе оставила лишь несколько памятных ей вещиц, сложив в коробочку с надписью «Папины пустячки», да связку его писем.

Письма в год разлуки *(Публикация П. Е. Рубинина.)*

Я так счастлива, что мои
письма приносят Тебе утешение…

А. А. Капица

3 февраля 1933 года состоялось торжественное открытие в Кембридже лаборатории, специально построенной для исследований П. Л. Капицы. Лаборатория была создана за счет средств фонда, завещанного Королевскому обществу известным химиком и предпринимателем Людвигом Мондом. Поэтому она и была названа Mond Laboratory. Мондовская лаборатория была передана Кембриджскому университету президентом Лондонского Королевского общества Гоулендом Хопкинсом. Принял ее и торжественно открыл канцлер Кембриджского университета Стэнли Болдуин, видный политический и государственный деятель Великобритании, который неоднократно возглавлял правительство этой страны.

Полтора года спустя после этой торжественной церемонии Капица, как он это делал в каникулярное время все последние годы, отправился в отпуск на родину, вместе с женой. Петр Леонидович выехал из Кембриджа на своей машине. Он пригласил в поездку и директора УФТИ Александра Ильича Лейпунского, который при содействии Капицы был принят тогда на стажировку в Кавендишскую лабораторию.

25 августа 1934 года они прибыли пароходом в Берген (Норвегия). Из Бергена отправились на машине в путешествие по странам Скандинавии. В Ленинград они приехали в сентябре к началу Менделеевского съезда.

На этом съезде и состоялась встреча Капицы с заместителем наркома тяжелой промышленности СССР Г. Л. Пятаковым, о которой сообщают в своем письме Сталину Куйбышев и Каганович.

Письмо написано Куйбышевым 20 сентября, когда в Кремле собрались несколько членов Политбюро. Заседание вел Л. М. Каганович, также подписавший это письмо. Он был заместителем Сталина по партии. А Сталин в те дни отдыхал в Сочи.

«Строго секретно.

Копия. Шифром.

Сочи. Тов. Сталину.

Ученый физик, гражданин СССР, Капица вновь прибыл в СССР (на Менделеевский съезд). По нашему поручению тов. Пятаков вел с ним переговоры о работе в СССР, Капица отказался по мотивам:

а) исключительных условий, которые ему предоставлены в Англии для научной работы (хотя т. Пятаков предлагал ему все, что он потребует); б) личной обязанностью перед руководителем Кембриджского института[54] Резерфордом, который помог ему стать ученым с мировым именем; в) незаконченности некоторых работ, начатых в Англии, после окончания которых, через несколько лет, он готов работать в Союзе, гражданством которого он очень дорожит.

Капица заявил, что все свои изобретения он готов дать Союзу и приглашает любую научную делегацию в его лабораторию в Кембридже для принятия его изобретений, а также студентов для обучения. В частности, в бытность в Харькове Капица передал физико-химическому институту[55] чертежи его машины по производству жидкого гелия (жидкий гелий устраняет всякое сопротивление проводимости электрического тока и тем самым вызывает революцию в электротехнике).

Мы предлагаем: а) поговорить с Капицей еще раз от имени правительства; б) если переговоры не приведут к желательному результату, задержать Капицу для отбывания воинской повинности, которую он не отбывал еще; в) во всяком случае, не выпускать Капицу за границу даже временно, так как есть все основания думать, что он больше не вернется в Союз, а изобретения скроет; г) в крайнем случае, применить арест.

Задержание Капицы в Союзе вызовет большой шум в Англии (известны его связи с Болдуином, Саймоном и другими политическими деятелями Англии), на основании чего Крестинский решительно возражает против задержания. Мы думаем, что такому положению, когда наш гражданин снабжает чужую страну изобретениями, имеющими военное значение, надо положить конец.

Просим срочно сообщить Ваше мнение. Ворошилов знаком с этим вопросом. № 2492/ш.

Куйбышев. Каганович.

20. IX.34 г.» (Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 гг. М.: РОССПЭН, 2001. С. 486–487).

21 сентября 1934 года шифрованной телеграммой из Сочи Сталин отвечает согласием на предложение Куйбышева и

Кагановича (Там же. С. 487). Несколько часов спустя, поразмыслив, он отправляет Кагановичу и Куйбышеву еще одну шифротелеграмму:

Сталин — Кагановичу, Куйбышеву

«В дополнение к моей шифровке № 66. Капицу можно не арестовывать формально, но нужно обязательно задержать его в СССР и не выпускать в Англию на основании известного закона о невозвращенцах. Это будет нечто вроде домашнего ареста. Потом увидим.

Сталин

№ 69

21/IX. 34 г.» (Там же. С. 493).

Закон о перебежчиках, упомянутый Сталиным (название закона он привел неточно), был утвержден Политбюро 21 ноября 1929 года. Приводим текст этого людоедского закона, с небольшими сокращениями:

«1. — Отказ гражданина СССР — должностного лица государственного учреждения или предприятия СССР, действующего за границей, на предложение органов государственной власти вернуться в пределы СССР рассматривать как перебежку в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства и квалифицировать как измену.

2. — Лица, отказавшиеся вернуться в СССР, объявляются вне закона.

3. — Объявление вне закона влечет за собой:

а) конфискацию всего имущества осужденного;

б) расстрел осужденного через 24 часа после удостоверения его личности. <…>

6. — Настоящий закон имеет обратную силу». (РГАС-ПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 766. Л.15)

24 сентября Капице позвонили в Ленинград, где он жил у своей матери, и предложили 25 сентября приехать в Москву, в Кремль, для беседы с заместителем Председателя СНК СССР В. И. Межлауком. Капица ответил, что приехать не сможет, так как очень занят, потому что на днях возвращается в Англию. В ноябре 1934 года в письме к французскому физику Ланжевену Анна Алексеевна рассказывает об этом эпизоде:

«В ответ на отказ приехать человек, который говорил с ним по телефону, ему сказал: „Профессор, вы не отдаете себе отчета в

своих словах. Это приказ правительства, вы не можете отвечать отказом, вы должны приехать“. Когда предложение подается таким образом, у вас не остается выбора».

В Москве Межлаук от имени правительства страны сообщил Капице, что отныне он должен будет работать в СССР, а выездная виза его аннулируется. В Англию, к детям, отправилась одна Анна Алексеевна…

Они писали друг другу почти каждый день и письма свои нумеровали. Но иногда им не удавалось отправить письмо в тот же день. Они ставили новую дату и продолжали писать на следующее утро. Иной раз (особенно это касается Петра Леонидовича.) их письма напоминают дневник. У них была потребность разговаривать друг с другом, утешать друг друга и ждать утешения и поддержки друг от друга. Анна Алексеевна написала Петру Леонидовичу 191 письмо. После ее кончины в 1996 году эти письма были перепечатаны. Они хранятся в Архиве П. Л. Капицы в Институте физических проблем (примерно 700 страниц машинописного текста). Петр Леонидович написал жене 132 письма. Эти послания, зачастую очень пространные, многостраничные, были перепечатаны Анной Алексеевной еще при жизни П. Л. Капицы (562 страницы машинописного текста). Несколько лет назад автор настоящей публикации сличил копии писем П. Л. Капицы с оригиналами и внес необходимые исправления.

Первые письма. Письма с дороги.

3 октября 1935 года Анна Алексеевна отплывает на пароходе «Сибирь» из Ленинградского порта…

«№ 1

3–5 октября 1934 г., „Сибирь“

Дорогой Петюш, вчера мы отошли только в 9 ч. 30 или даже позднее. Когда я пошла на пароход, то меня не пустили, надо было ждать, пока всех интуристов не осмотрят и не пропустят, т. ч. я видела ваши спины, когда вы шли к машине.

У меня отдельная каюта, и очень удобно, как раз напротив женской уборной и ванной. Народу не много, человек 40, часть из них интуристы, а другая часть — граждане СССР, едущие на работу в Лондон. <…>

Сегодня полная тишь и гладь, утром был туман, и со всех сторон выли сирены, и мы сами гудели страшным басом. Когда туман прошел, то на минуту показалось солнце, а потом опять

стало серо, и теперь идет дождь. Есть один пассажир, который все время слушает граммофон, а к тому же еще радио отчаянно играет, но все же я привыкла к шуму и <…> не слышу его совсем. Занимаюсь тем, что хожу кругом и кругом по палубе и читаю биографию Герцена. <…>

4-го октября. Сегодня ночью поднялся сильный ветер, и нас довольно здорово покачало, но днем опять гладко и спокойно. Карик[56] спокойно стоит, покрытый брезентом, я его осматриваю, слежу, чтобы все было в порядке. Говорят, что до Киля из Ленинграда ровно трое суток, так что будем там 5-го вечером. Мы немного запоздали из-за бури сегодня ночью. Из едущих граждан есть человек пять инженеров, которые едут в Манчестер учиться и очень волнуются, что их английский плох и что они мало чему выучатся. Они решили со мной заговорить, потому что увидели, что я читаю русскую книгу, а то они решили, что я — „гонорная англичанка“. Видишь, какой у меня вид! Не всякий решится ко мне подойти, и они-то решились только втроем, все вместе.

5 октября. Сегодня опять хорошая погода и совсем спокойное море, хотя довольно свежий ветер. Мы опаздываем в Киль и приходим туда сегодня ночью около 2-х или 3-х, так что попрошу буфетчика послать Тебе телеграмму и это письмо. Интеллигентная английская семья оказалась Sidney Webb с племянницей и внуком. Мне сначала показалось его лицо знакомым, а тут сосед за обедом спросил, кто из присутствующих S.W., я без затруднения ему показала. С племянницей <…> мы познакомились, да и с ним тоже. Он симпатичный старичок, совсем маленький. Так как я одна могу говорить по-английски и по-русски, то служу для них переводчиком, что, конечно, делаю с удовольствием и с самым приятным видом.

На пароходе тоска ужасная, беседовать ни с кем, кроме W, не хочется. Играть в кольцо тоже не хочется, даже читаю меньше, чем обыкновенно. Так, брожу по палубе, посматриваю за Кариком, он в целости и сохранности. Пришлось только брезент немного подвязать, потому что очень сильный ветер, и под него поддувает. Пока идем без поломок, но никого из команды не видим. Капитана совсем не видно, да и другие скрываются. Публика все мирная, инженеры, занимаются усиленно английским, но он у них плохо двигается, хотя две интуристки и приняли в их обучении живейшее участие. Любителя граммофона, слава Богу, кто-то угомонил, потому что его сейчас что-то не слышно. Но он порядком всем надоел, не только мне одной. <…>

Вот сколько я Тебе написала. Целую крепко, крепко. Привет всем Твоим…»

«№ 1

5 октября 1934 г., Ленинград

Дорогой Крыс,

Пишу тебе на третий день после твоего отъезда вместо того, чтобы писать на второй. Хотел вчера написать, но зашел Лейпунский, а потом Леня[57] утащил меня в цирк. Ну, теперь начну повесть о себе, хотя за эти дни ничего интересного не произошло. <…>

После твоего отъезда отправил телеграмму Автомобильной Ассоциации насчет страховки машины, а потом пришел домой и хандрил здорово. На следующее утро, 3-го, пошел сразу гулять с утра, дошел до Стрелки. Утром также звонил Ник. Ник. [Семенов]. Он только что приехал из Москвы. Он пришел ко мне в 5 и сидел часа полтора. Конечно, рвал и метал. Жалел, что он не в моем положении: подумай — строить институт! Его и хлебом не корми, а только дай строить новый институт. Я прямо диву даюсь, как человек типа Коли может быть крупным ученым, а он, без сомнения, крупнейший наш ученый. Потом он завез меня к твоему отцу на Васильевский остров, и я с ним сидел вечер. Вовочка и Женя[58] были в театре. Коля через полтора часа приехал опять и отвез домой.

4-го я начал день с прогулки в Ботанический сад. Ходил смотреть оранжереи, водил какой-то старичок, который очень хорошо давал объяснения. Потом, после завтрака, начал заниматься. Купил книгу Павлова об условных рефлексах и ими занимаюсь теперь. К 4 часам пришел Лейпунский, и мы долго беседовали, ходили на острова. Ал[ександр] Ил[ьич] уехал вечером в Москву, но через несколько дней он приедет обратно. Потом пошел в цирк с Леней. Программа из средних. Сегодня опять гулял утром в Ботаническом саду, там платный вход и ни души нету, гуляешь совсем один в саду.

Настроение у меня куда лучше, хотя и меланхоличное. Но есть даже какое-то чувство счастья. Дело в том, что я, безусловно, устал за последние месяцы в Кембридже, налаживая гелиевые опыты, а потом поездка по Скандинавии и все прочее, и теперь этот вынужденный отдых мне приятен. Я никого не вижу и всем, кто хочет меня повидать, не отказываю. Сейчас еду к твоему отцу, буду у него обедать.

Ну, теперь насчет тебя. Вчера был сильный ветер, и, наверное, вас помотало. Нева поднималась на 1½ метра. Сегодня дивная погода. Вообще, дорогая моя, мне почему-то начинает казаться, что осень не будет так плоха, как она началась. Хотя, конечно, это личное чувство.

Жду твоей телеграммы из Киля и надеюсь, ты справишься с

разгрузкой машины. Это ведь первый раз ты едешь без меня.

Ну, дорогой Крыс, целую тебя и поросят. Напиши о них. И также пиши, что ты делаешь по дому, как у нас дела, много ли уродилось в саду и как ты нашла Крокодила. Поторопи их с печатанием моей статьи, также разбери мою корреспонденцию и посмотри, нет ли писем от проф. Кеезома из Лейдена, перешли копию с него мне. Узнай у Pearson, на сколько времени у него работы еще. И как Лаурман съездил и что он сейчас делает.

Ну, целую тебя крепко-прекрепко. Целую ребятишек и Ел[изавету] Дм[итриевну] и Мар[ию] Ив[ановну].

Твой *Петя».*

Письма из Кембриджа, Ленинграда и Москвы

«№ 2

8 октября 1934 г., Кембридж

Дорогой Петя,

я благополучно добралась до дома, нашла всех в полном порядке. Сережка и Андрейка очень веселы, и Сер., конечно, первым делом спросил о ноже, и он ему страшно понравился, и с ним он не расстается — и спит, и ест. Все игрушки им подарены в общее пользование, и это вышло очень удачно. Только, чтобы Андрейке компенсировать ножик, я подарила [ему] отдельно человека, кот[орому] собака рвет штаны. Погода здесь стоит чудесная, тепло и солнечно.

Ехали мы очень мирно, меня встретили Катя [Сперанская] и John [Кокрофт], с которым мы приехали в Кембридж. Ну и проклятие править по Лондону, особенно в понедельник утром, это совершенно предприятие не для меня, но вышла я из него с честью. <…>

Карик в порядке, но довольно грязный, хотя и был покрыт брезентом, но все-таки немножко покрылся каким-то налетом.

В лаборатории все благополучно. <…> (Дальше идет закодированный текст. П. Л. и А. А. договорились, что после слов „дорогой мой“, „дорогая моя“ имена их детей становятся псевдонимами: Сергей — Резерфорда, Андрей — Ланжевена. — *П. Р.*). Еще хочется написать Тебе, дорогой мой, о Сережке, очень он хороший мальчик, замечательно смышленый и, для его лет, поразительно вдумчивый. Когда с ним говоришь, то не нарадуешься, как он хорошо все понимает и живо схватывает. Правда, все дети в его возрасте хороши, но все-таки хочется похвастаться, что у нас такой сынишка. А главное, хорошо, что он всегда бодрый и веселый и очень бодряще на всех действует и не

унывает, даже когда видит, что перед ним трудная задача и, может, он положит много времени, прежде чем ее решить. Очень он меня порадовал. <…>

За наш отъезд накопилось много писем и всяких дел. Так что я по горло занята…»

«№ 3

10 октября 1934 г., Кембридж

Дорогой Петюш,

получила Твое письмо № 1, оно шло 5 дней, это не так плохо, я уже начала беспокоиться, что Ты не пишешь, как пришло Твое письмо.

Я все привела в порядок, разложила все письма, и все, [что] было нужно, нашла и тоже привела в порядок. Так что все стало очень аккуратно. Бываю в лаборатории и навожу там порядок! Но они и сами знают, что им делать. <…>

Сегодня Крокодил в Лондоне, и я его не видела, а мне самой надо с ним поговорить насчет разных мелких дел. <…>

Целую Тебя крепко и хочу, чтобы Ты не хандрил, не смей и думать это делать! Это очень нехорошо…»

«№ 4

12 октября 1934 г., Кембридж

…Получила Твое письмо № 2, очень быстро оно дошло, Ты опустил 8-го, а я получила вчера, 11-го! Теперь ты уже успокоился, что я благополучно доехала и что все в порядке. <…>

Крокодил сказал, что присмотрит и приструнит твоих молодцов[59], а что, если они без Тебя не знают, что им делать, то пусть лучше физикой не занимаются! Я их этим припугнула, и они все пришли в норму. <…>

Дорогушечка моя, Ты не томись и не хандри, ведь всегда все идет к лучшему, и не надо падать духом. Ребята здоровы, а Ты хорошо сейчас отдохнешь. <…>

Вот, моя дорогушечка, и всё. (Внимание — далее идет „шифровка“. — *П. Р.*): Сережа очень серьезно пишет письмо, и у него замечательно выходит. Он у нас молодец…»

Сережа — Резерфорд — 12 октября отправил полпреду СССР в Англии И. М. Майскому письмо, с содержанием которого он, как видим, Анну Алексеевну ознакомил.

«№ 5

13 октября 1934 г., Кембридж

…Вечером пошли в Cosmopolitan Cinema на „Man of Aran“[60].

Фильм очень плохой, скучно, длинно и бесформенно. А самое главное, не могу ходить в кино без Тебя — очень тоскливо и некого щупать. Вообще я делаю вид, что ничего нет, а на самом деле очень тоскливо и мучительно, но я не выношу сочувствия ни от кого, так что приходится себя держать в порядке. А особенно потому, что если начать реветь, то нельзя остановиться. Я все Тебе пишу, потому что надо кому-то это говорить, а Ты — самый драгоценный и должен все знать, так же как и я о Тебе должна все знать. <…>

Целую Тебя крепко, крепко. И очень мне не нравится быть одной, очень скучно, но Ты хороший и хорошо пишешь…»

«№ 5

14 октября 1934 г., Ленинград

Дорогой Крыс,

Вчера тебе написал, сегодня хочется написать опять. Все думаю о тебе, и хочется сказать, как я тебя, дорогого Крысенка, люблю, но не знаю, как подобрать слова. И маленьких крысят люблю тоже и жалею, что не могу вас видеть. Но ты не заключай, что я падаю духом или впадаю в меланхолию. Наоборот, голова начинает работать нормально, и скоро я буду что-нибудь калякать или писать. Одно только меня волнует — лаборатория моя. Это ведь тоже мое детище, и большая часть моего *я* туда вложена. <…> Думаю о Крокодиле тоже. Скажи ему, что я теперь чувствую, что он для меня был как отец родной, и надеюсь, он хоть немножечко меня любит так, как я его.

Ты в последнем письме мало пишешь о ребятах. Если будут фотографии, то пришли их…»

30 октября полпред СССР в Лондоне направил свой ответ на письмо Резерфорда от 12 октября. На основании директивы, полученной им из Москвы и утвержденной Политбюро ЦК ВКП(б)! (Письмо И. М. Майского опубликовано в книге: Петр Леонидович Капица: Воспоминания. Письма. Документы. М.: Наука, 1994. С. 383.)

В конце октября 1934 года Капица получил письмо из секретариата В. И. Межлаука, в котором его просили сообщить до 3 ноября о том, чем он собирается заниматься в СССР. 2 ноября Капица сообщил Межлауку, что собирается менять область исследований и заняться биофизикой, которой он давно интересуется. Продолжать в СССР исследования, которые он вел в Англии, он не сможет из-за отсутствия технической базы. (см. П. Л. Капица Письма о науке. М.: Моск. Рабочий, 1989, С. 28–30). Письмо Капицы Межлаук переслал Сталину. В своем письме

вождю Межлаук писал, что Капицу оставляли в СССР, чтобы он продолжал свои исследования в области физики и техники и предлагал в случае, если Капица будет упорствовать, «арестовать его и заставить работать».

«№ 10

28 октября 1934 г., Ленинград

…Получил твои письма 10 и 9-е. Как всегда, это радость для меня, и настроение бодрее. Эти дни я немного скис, правду сказать. Очень плохая погода, дождь и слякоть, и потом, ячмень на глазу, кажется, один из первых в жизни. Но теперь он прошел. Я во всем согласен с тобой, милая моя, <…> и я так же глубоко верю, что скоро все эти недоразумения выяснятся и мы увидимся с тобой. <…>

Меня Коля очень огорчает. В разговорах он придерживается того же узкого взгляда, совсем не считается с моим душевным состоянием, и мне прямо тяжело с ним. Он развивает безумные планы, а не может даже позаботиться о том, чтобы мне добыть билеты в театр или прислать машину. <…> Я не выдержал и написал ему, что он больше мне не друг и прошу его ко мне не заходить больше. Он ответил, что я и Фрумкин — его единственные друзья, но в данном случае он принцип ставит выше дружбы, и если я не хочу, то, конечно, он приходить не будет. Я, конечно, очень люблю Кольку по-прежнему и почти уверен, что мы снова с ним сойдемся, когда он поймет создавшиеся условия. Пока я это сделал также в целях самосохранения…»

«№ 12

2 ноября 1934 г., Ленинград

…Сижу сегодня дома из-за дождя. Одну пару сапог проносил, и она в починке, поэтому не пошел гулять. Завтра сапоги будут готовы, и у меня будет, как всегда, одна пара подмоченных для прогулки и вторая, сухих, для гостей и театра.

Вчера ходил к Ивану Петровичу[61]. Он немного надо мной поиздевался, поругался (на меня, конечно), но вообще мы хорошо с ним побеседовали. Он охотно предоставляет мне возможность работать у себя в лаборатории, и как только подготовлюсь, буду делать опыты над механикой мускулов. Я об этих работах давно думал. Это в том же направлении, как A. V. Hill[62]. Да, напиши, пожалуйста, письмецо от моего имени Hill’у и попроси его прислать мне оттиски его и его учеников основных работ. Он перешлет их тебе, а ты, заказным образом, мне.

Итак, дорогая Аня, я становлюсь серьезно полуфизиологом,

что меня искренне радует. Мне давно хотелось заняться этой областью, и теперь я имею возможность это сделать вместе с таким крупным человеком, как Ив. Петр. Конечно, мне придется забросить мою лабораторию в Кембридже, но что ж поделаешь.

Итак, Крыс, пожалуйста, не позабудь сделать это с оттисками Hill'a. Может быть, у него есть книга, то пришли и ее. Мне будет очень удобно работать рядом с нашим домом, а, главное, ведь лаборатория Ив. Петр. прекрасно оборудована. Ал[ексею] Ник[олаевичу Крылову] тоже нравится тема моей работы. Ведь ты не можешь себе представить, как мы мало знаем о том, как мускулы работают. Ведь непосредственный переход химической энергии в механическую мы только наблюдаем в одушевленной природе. Hill первый занялся этим вопросом. Ты ведь знаешь, он был математиком. Конечно, этот вопрос должен решаться не физиологом. Все, что тебе нужно знать, — это строение мышцы, а это можно узнать очень скоро. Ив. Петров. тоже считает, что после 2–3 месяцев физик может достаточно подготовиться к этому вопросу, и приветствует эту работу. К тому же, я консультировал не раз Hill'a и знаю технику его работы. Еще большее преимущество в том, что необходимости нет в помощниках и большой лаборатории, и я смогу все начать один. <…>

Я так рад, что ты занимаешься бумагами и домашними делами, но еще больше рад [тому], что это тебе доставляет удовольствие. Я тоже оптимист, и все на свете к лучшему. В такие минуты жизни хорошо раскрываются человеческие отношения, и люди показывают свое настоящее нутро. Наши отношения тоже выдержали пробу, и теперь мы чувствуем себя гораздо ближе, чем когда-либо мы были.

Ну, Крысяткины, целую вас и целую ребят и бабушек.

Всегда твой *Петя».*

«№ 16

1–2 ноября 1934 г., Париж

Дорогой Петюшик,

пишу Тебе с места отдыха, это на юге от Кембриджа. Здесь, как всегда, очень хорошо, завтра пойду повидать друзей, а сегодня хочу Тебе написать несколько строчек. Очень грустно ходить и жить одной в тех местах, где мы были с Тобой вместе. Но это ничего, здесь хорошие друзья, с которыми я пойду повидаться и с ними покалякать. Я уже заходила сегодня к Полю[63], но его не было, он уехал с детьми куда-то [на] природу. Видела его жену, и она сказала, что он завтра вернется. Так что письмо буду дописывать завтра, а теперь хочу спать. Все-таки

утомительно ехать на поезде после того, как привыкла с тобой на авто.

Зверушечка милая, получила Твое письмо № 10. Очень мне жаль, что Ты упал духом. Помни, дружочек, что, только если мы оба будем с Тобой сильные, и бодрые, и спокойные, можно чего-нибудь добиться. Я знаю, что это трудно, а иногда и невозможно, особенно для Тебя, когда погода меняется и когда Коля приходит со своими мечтаниями. <…>

Дорогой мой глупышек, я видела Поля, он был очень мил, расспрашивал о Тебе и о ребятах. Сережа (Внимание — шифр! Имеется в виду Резерфорд. — *П. Р.*) ведь написал ему письмо, это ему очень понравилось, и он сказал, что постарается что-нибудь придумать, чтобы послать Сереже в подарок. Он говорил, что у него есть друзья, с которыми он посоветуется, и просил меня подождать, не уезжать, пока он не пришлет мне подарок. Так что я здесь задержусь еще на несколько дней.

Да, Зверушечка, в нашей разлуке есть свои хорошие черты, а именно: я поняла, как глубоко Ты мне дорог и что никто не заставит меня Тебя разлюбить…»

«№ 17

6 ноября 1934 г., Париж

…Я думала, что уеду сегодня домой, а оказалось, что еще надо здесь побыть. Я не видала Поля после моего первого визита к нему, а особенно торопить его тоже нельзя, так что я сижу здесь и развлекаюсь, как могу. Хожу смотреть выставки и художников. К сожалению, очень мало хороших и совсем нет картин, которые хотелось бы купить и повесить в комнате, с тем чтобы на них всегда смотреть. Еще другое развлечение: я хожу в мастерскую рисовать. Это бывает под вечер, часа на два. К моему большому удивлению, я рисую ни капли не хуже, чем раньше, но, конечно, и не лучше. Но все-таки странно, что после всех этих лет я не потеряла навык очень скорых набросков. Это очень приятно, потому что кажется, что сейчас мне придется заняться этим очень серьезно и постараться продавать. Это выставки так на меня действуют: они так плохи, что удивительно, что люди покупают картины, а художники живут трудом своих рук. <…>

Зверушечка милая, я написала письмо Коле, прилагаю копию вместе с этим. Я его еще не послала, а пошлю, когда приеду домой, и, если хочешь, подожду ответа от Тебя. Может быть, Ты не хочешь по каким-либо соображениям, чтобы я его послала…»

Петр Леонидович одобрил письмо жены Н. Н. Семенову. Так и написал 14 ноября: «Я одобряю твое письмо Коле, хотя Ты

немного здорово говоришь обо мне. Но общий дух письма правильный».

А. А. Капица — Н. Н. Семенову

«21 ноября 1934 г., Кембридж

Дорогой Коля,

меня очень огорчило Петино письмо, где он пишет, что поссорился с тобой[64]. <…> Ты достаточно хорошо его знаешь, чтобы понимать, что его нервная система всегда была в страшно напряженном состоянии. Мне бы хотелось, чтобы ты вспомнил, что те 13 лет, которые он провел в Англии, не были годами спокойной научной работы, но колоссальной и напряженнейшей борьбы, борьбы за осуществление и проведение в жизнь тех научных принципов и идей, которые многим казались тогда не только невыполнимыми, но совершенно невозможными. Как ты думаешь, легко далось ему признание со стороны английских физиков и эта борьба за свои научные идеи? <…>

Он добился признания не только себе, но и всем вам, которые не имели возможности личного контакта. И мне очень грустно, что такого человека, как Петя, теперь у нас в Союзе хотят обвинить в том, что он никогда для Союза не работал и только жил в свое удовольствие за границей. И что ему, человеку одного дела и одной мысли, могут не верить. Вот тут и важно нам всем, его друзьям и, главное, людям, знающим его и его непоколебимую волю к достижению раз поставленной цели, нам, его друзьям, помочь ему теперь, когда опять перед ним период борьбы за осуществление его идей научной работы. <…>

Вот к этим-то друзьям я и хочу обратиться. К тебе как к другу его с самого начала его научной работы, к другу, прошедшему с ним все тяжелые годы. Неужели сейчас, когда ему еще гораздо труднее, чем когда-либо, ты его оставишь и не постараешься разъяснить другим, в чем состоит ошибка их взглядов на Петю?

В данный момент ему нужны все его друзья, и именно те друзья, которые бы были в то же время и преданными гражданами Союза.

Ты ведь понимаешь, что такой человек, как Петя, очень дорог стране, что нельзя его терять и что долг каждого из нас: его для Союза и для науки сохранить. <…>

Я уверена, Коля, что все, что здесь написано, не есть для тебя новость, что ты это и сам знаешь и понимаешь. Но главное, помни, что Петькины нервы всегда были в очень натянутом состоянии, и что были случаи, когда он был на грани нервного расстройства[65], и что не надо это забывать и снова до этого его

допускать. А то не простим мы себе никогда, что не сумели сохранить его для творческой работы…».

«№ 27

8 декабря 1934 г., Ленинград

…Сегодня у нас прилив нежности к Вам. Мы всё о Вас думаем и боимся, что Вы чувствуете себя одинокой и несчастной. Дорогие мои, мы Вас нежно, нежно любим и всегда стремимся к тому, чтобы Вам было по возможности хорошо. И Вы о нас заботитесь, вот прислали лекарство и все прочее. Ведь как Вы хорошо угодили, Крысятки мои, как раз у нас вышла вся мыльная паста, и Вы прислали свежую (кусок, конечно, солидный). Как Вы угадали? Когда мы брились вчера вечером, то все нам Вас недоставало, чтобы поцеловать Вас и подставить гладенькую щечку[66].

Ну вот, Крысенок, я чересчур ударился в лирику. Это нам с тобой не под стать. < … >

Твои последние письма меня слегка огорчают. Мне кажется, ты теряешь веру в себя, а это нехорошо. Человек должен стремиться быть счастлив в любых обстоятельствах.

…[Так] как я только отдыхаю теперь, голова моя работает все лучше и лучше. Я построил уже три возможных теории работы мускулов, и одна из них должна быть верна. Я хочу по приезде из Москвы уже одну из них попробовать. Конечно, я не огорчусь, если они все 3 будут никчемные. Найду четвертую…»

В начале декабря непременный секретарь АН СССР В. П. Волгин просит Капицу приехать в Москву. Здесь, в Президиуме Академии, 9 декабря состоялось совещание, в котором приняли участие академики А. Н. Бах, С. И. Вавилов, И. В. Гребенщиков, Г. М. Кржижановский и Н. Н. Семенов. Говорили о перспективах работы П. Л. Капицы в СССР. 11 декабря Петр Леонидович написал «руководителям страны» (слова из ежедневника), что готов возобновить в СССР те работы, которые он вел в Кембридже. Но при условии, что все оборудование его кембриджской лаборатории будет приобретено советским правительством для его московского института и что два его английских ассистента будут приглашены в Москву на 2–3 года, чтобы помочь наладить работу этого нового института.

23 декабря председатель СНК СССР В. М. Молотов подписывает постановление об организации в Москве, в составе Академии наук, Института физических проблем.

3 января 1935 года газеты «Правда» и «Известия» сообщают о назначении П. Л. Капицы директором ИФП.

Это сообщение не обрадовало, а скорее даже огорчило Анну Алексеевну. Все усилия ее были направлены на то, чтобы «вытащить» Капицу из Советского Союза, хотя бы временно. Чтобы он смог завершить в Кембридже начатые им опыты с жидким гелием и договориться с Резерфордом о продаже научного оборудования его кембриджской лаборатории Советскому Союзу — для его института в Москве… Она огорчена, что он должен жить в столице, а не в Ленинграде, вдали от близких ему людей — матери, брата, семьи ее отца. Жить в гостинице…

«№ 52

3 января 1935 г., Кембридж

…Мне ужасно больно, что Тебе не с кем там даже поговорить и Ты приходишь в поганую Метропольную комнату и должен там спать — совсем один со своими мыслями. Только, дружочек, не отчаивайся. И помни, драгоценный мой, что я и ребята Тебя отчаянно любим, и если Ты это сейчас не чувствуешь, то только потому, что мы далеко, и Тебя не можем обнять. Но любим Тебя очень активно, так, как всегда любили, и только нам нужно знать, что Ты не падаешь духом и не очень Тебя мучают мрачные мысли. Мне кажется, что самое для Тебя лучшее — вообще не жить в Москве. Москва для Тебя ужасна. <…> Ты в Москве определенно себя хуже чувствуешь, чем в Ленинграде, где Ты гораздо более самостоятелен и гораздо более независим. В Москве Тебя могут требовать сюда и туда хоть каждые полчаса, заставлять Тебя ждать, и этими ожиданиями Тебя больше и больше изводить. Ты не давай себя изводить и помни, что все Тебе не верят и смотрят на Тебя очень подозрительно.

Есть разные способы извести человека и довести его до состояния полного изнеможения. Вот Ты этого и не допускай. Лучше уезжай в Ленинград и порви с Москвой совсем, пока еще в себе чувствуешь достаточно силы, чтобы противостоять всем влияниям, на Тебе сейчас сосредоточенным. А главное, проклятый Метрополь. Не мог бы Ты лучше устроиться в Доме ученых и там жить, если можно, инкогнито, т. е. так замкнуто, чтобы ни одному ученому не пришло в голову Тебя тормошить и с Тобой разговаривать. Я знаю, это очень трудно, но очень уж Метрополь поганое место, хуже трудно себе представить.

Зверочек, дорогой мой, пиши подробно о себе, чтобы знать все. Это очень мне помогает Тебя чувствовать и о Тебе думать. Особенно все, что есть плохого и тяжелого. Не стесняйся и знай, что любовь моя к Тебе безгранична. Это Ты должен всегда помнить и никогда, никогда не забывать.

Целую Тебя, зверочек, и люблю очень, очень и еще больше каждый день.

Твой *Крыс».*

«№ 53

4 января 1935 г., Кембридж

…У нас опять светит солнце и совсем тепло. Хочу снять ребят и послать Тебе, чтобы Ты знал, какие они сорванцы.

Дорогой мой зверочек, я люблю Тебя ужасно, и нет у меня слов, чтобы Ты это понял, а мне бы так хотелось, чтобы Ты это прочувствовал. Это дало бы Тебе энергию и смелость, какие у Тебя всегда есть, когда Ты знаешь, что прав. А если бы Ты знал, как я Тебя люблю, то этой смелости и энергии хватило бы Тебе надолго и Ты никогда бы не унывал. Ведь это только я не умею Тебе сказать, найти слова, как Тебя, моего дорогого, люблю. Но Ты знай это и всегда помни, не забывай никогда, что бы ни было и как бы трудно ни пришлось, помни об этом всегда. <…>

Ты у меня преодолевал много преград в Твоей жизни, и я верю и знаю, что нет таких преград, которые бы Ты не одолел. И это знаем мы все — и Ты, и я, и ребята даже. Как бы мне хотелось это все Тебе сказать и Тебя убедить, да убеждать не стоит, я знаю, что Ты это сам знаешь. А главное, помни об этом в минуты слабости и не допускай сомнений, и главное, не падай духом даже в таком поганом месте, как Метрополь. Ходи в театр, к Ал[ексею] Ник[олаевичу Баху], к Ш[уре Клушиной][67], к кому только можешь и хочешь. И старайся держаться крепко и помнить о том, что Ты не просто гражданин, а гениальный ученый. Это Ты должен помнить всегда. И если у нас этого еще не поняли, то я уверена, что скоро поймут. Нельзя Тебя знать, а этого не знать. Даже с „твоим глупым личиком и невинными глазками“. И с этим увидят, что Ты гениальный ученый…»

«№ 35

6 января 1935 г., Москва

…Все идет помаленьку — я тут среди 160 миллионов один, а ты там, среди 60 миллионов, одна с ребятами. Оба мы маленькие глупышкины, но все же мы любим другу друга и верим друг другу. Тогда нам жизни бояться нечего. Хотим мы только спокойно ковыряться в своих магнитных полях, и это главное для нас…»

«№ 36

9 января 1935 г., Москва

…Два дня тому назад получил твою телеграмму и был тронут

ей, мой дорогой. Конечно, твоя женская натура и твой принцип: не экономить слова в телеграмме — очень типичны. Я тоже не мог удержаться, чтобы не вставить darling, что эквивалентно твоему my dear, только за это пришлось платить в два раза меньше…»

«№ 58

11 января 1935 г., Кембридж

…Я живу тихо и мирно. Сережа еще не ходит в школу, он довольно нервный, но все-таки ничего. Андрей гораздо спокойнее, и гораздо лучше у него характер, хотя он несравненно упрямее Сережи.

Кр[окодил] приехал из деревни. Конечно, очень занят, но, как всегда, очень мил. Мы с ним долго разговаривали об английском народе, об их национальных чертах, и как они видят себя, и как они представляются другим. Я сказала, что все всегда считают англичан хитрыми и себе на уме, на что R[utherford] возразил, что в этом есть доля правды, но он считает, что англичане довольно простоваты, но хорошо всегда знают, чего они хотят, и, как это ни странно, у них всегда во всех поступках „этическая подкладка“. Даже если это им и приносит выгоду, в конце концов, они главным образом напирают на „white man's burden“[68], и, что самое невероятное, сами себя в этом убеждают. Но никогда выгоды своей не упускают, что [очевидно] в их политике доминионов и колоний. Особенно колоний. Когда я заявила, что всем всегда завидно, что Англия владеет полмиром, он заявил, что это из-за морских ее страстей и что поэтому все стратегические пункты, как Гибралтар и Мальта и пр., у них в руках и им нужны. И ему нечего было возразить, когда я спросила: а зачем они были бы им нужны, если у них не было бы колоний?

Ты знаешь, как он любит поговорить, и если ему нравится сюжет, то он очень занимателен. Он никак не мог понять, почему его дедушке вдруг взбрело в голову нестись из тихой и мирной Шотландии в Новую Зеландию со всей семьей. На совершенно незнакомое место, без всякого особого будущего. Это совершенно для него непонятно, и он не мог решить вопроса. Но должно быть, это было то же самое чувство, которое заставило внука открывать новые области в науке.

Я страшно люблю с ним разговаривать, и очень забавно, когда он начинает рассуждать на совершенно отвлеченные от разговора темы. Я чувствую, как каждый раз умнею после разговора с ним. И я очень бываю довольна, когда могу своим возражением вызвать тот особенный взгляд, который он бросает

на собеседника, когда он заинтересован или когда мысль, высказанная ему, нова и такое положение не приходило ему в голову.

Он как-то поворачивает голову и смотрит, как будто никогда тебя не видал, а потом вдруг начинает смеяться и говорить, что этого он еще не думал, или серьезно смотреть, как бы спрашивая, ну и что же из этого? Вот тут самое удачное бывает, когда есть продолжение и у него лицо становится заинтересованным.

Ты на меня не сердись, что я пишу все это письмо про R., но Ты сам его так любишь, что мне кажется, что Тебе приятно о нем узнать все, что я знаю. Он спрашивал про Тебя и сказал: „Well, tell him I am still kicking“[69].

Я теперь все больше понимаю, почему C[avendish] l[aboratory] такое место паломничества для всех. Ведь иметь такую главу — это бесконечное счастье, и все чувствуют, что он постоит за своих учеников, когда надо, и что они все получат по заслугам…»

«№ 38

18 января 1935 г., Москва

„Метрополь“, № 485

…Наверное, к тебе переехал Max N[ewman] с женой (Анна Алексеевна сдала верхний этаж дома кембриджскому математику с женой, молодой супружеской паре. — *П. Р.*). Так ты лишилась студии, дорогая моя. Мне жалко этого, так как твой учитель в Женеве возлагал большие надежды на твое рисование. Ведь, помнишь, ты там получила первый приз за Nue маслом, ведь школа там, достойная внимания. А теперь, без студии, ты забросишь писание. Тут тоже навряд ли удастся найти помещение со студией.

Да, Крысеночек, меня очень огорчает, когда ты не рисуешь…»

«№ 64

19 января 1935 г., Кембридж

…Я вижу, что Ты ходишь к Ал[ексею] Ник[олаевичу Баху]. Это очень хорошо. Он очень милый старик, и мне приятно, что Ты у него бываешь и играешь в шахматы. Как поживает Шура, и что она делает, кроме как Тебя развлекает? Я думаю, это у нее отнимает много времени. Знаешь, кому это не нравится? Кр[окодилу]! У него насчет этого своя теория…»

«№ 39

21 января 1935 г., Москва

…Я, миленькая моя жинка, все полон сил и чувствую, как ты меня любишь, и это дает мне силы жизни и бодрость. Пиши мне

как можно чаще и больше, твои письма для меня [самая] большая радость, которую я могу иметь теперь. <…>

Я очень рад, что ты пишешь о ребятах. Не раздражайся на Сережку, надо при его воспитании первым делом воспитывать себя. Постарайся быть сдержанной, ровной, и ты увидишь, как его характер начнет поправляться. Да, дорогая моя, с кем Сережа сейчас дружит? Ты так об этом мне и не пишешь. А Андрейка тоже имеет приятелей? Или же бегает за Сережей? [На их] карточки, которые ты прислала мне, я часто смотрю. Наверное, за мое отсутствие они очень развились…»

«№ 65

23 января 1935 г., Кембридж

…К сожалению, никаких переговоров между М[айским] и R. не было, и даже не было ни малейшего со стороны М. поползновения к этому. Я говорила с R., потому что считаю, что он должен это знать, и он в курсе дела. Но никаких пока не было движений. Так что Ты можешь сказать, кому надо, и еще подчеркнуть, что довольно странно, что они Тебе говорили наоборот…

Знаешь, зверушечка дорогая моя, я вчера была в Лондоне и видела приятеля W[70]. Он мне очень напомнил Золя, и мне интересно было с ним говорить. У него много черт, схожих с Твоими, он когда что-нибудь поставил себе за цель и решил добиться, то, я думаю, все преграды будут нипочем. <…>

Дорогой мой, я знаю, Тебе кажется, что прошло, наверное, 100 лет, как Ты не был в лаборатории, но ведь все так медленно движется. Только страдания уводят с собой много времени. Вот Тебе и кажется, что все так медленно идет. <…> Тебе надо помнить, что любовь моя безгранична и что ничего ее остановить или переменить не может. Ты, мне кажется, это не всегда помнишь, а это самое главное. И насчет моего рисования не печалься, все будет хорошо, и я опять начну рисовать, но надо это делать с толком и со временем, а не как-нибудь. <…>

Я на днях получу машинку и научусь писать, чтобы быть Твоей секретаршей. Я не хочу, чтобы у Тебя были другие, кроме меня, да и Тебе будет приятно, мой дорогой, что я научусь писать на машинке…»

«№ 42

1 февраля 1935 г., Москва

…Я был очень тронут решением Французского физического общества выбрать меня в президиум, это большая честь, я знаю. И Cotton[71] еще в прошлом году намекал мне на нее. Но как я буду

ездить на заседания? А раз в году, на годичное, следует, кажется, как любезность, а то сочтут за невежу.

Что касается сомнения Кр[окодила] в письме 64, то, как говорят французы: „Хони суа ки маль и пане“[72]. Его гений ограничивается физикой, и ты в данном случае помни, что я за все свои 40 лет ни разу не помню, чтобы я сделал что-либо, за что мог бы краснеть перед всяким из моих друзей. А ты, любимый Крысеночек, ведь лучший друг мой. Очень рад, что ты завела машинку, это так будет хорошо, если ты будешь помогать в моих сношениях с внешним миром. Вот для начала напиши французам и пришли мне [письмо] сюда, чтобы я отправил его обратно…»

«№ 43

2–3 февраля 1935 г., Москва

…Я вчера вечером перечитал твои письма очень внимательно, и мне стало ясно, что ты очень нервничаешь, много сердишься и теряешь свое обычное спокойствие и веселье. Это меня очень огорчило. Только сознание, что у меня Крыс весел и любит меня, дает мне бодрость жизни, которая так мне необходима.

Разбирая подробно создавшееся положение, ты указываешь целый ряд правильных моментов. Лучше всего ты понимаешь мое психическое состояние. Если бы его так же понимали здесь, как ты, то, наверное, все уже было бы благополучно ликвидировано. Самое тяжелое для меня — это разлука с моей работой и с вами, дорогие поросята. Та стадия, в которой была моя работа накануне новых результатов, еще усугубляет тяжесть моего вынужденного бездействия. Что касается моей натуры, дорогая моя, ты знаешь, что я никогда и ни при каких обстоятельствах не привык сидеть сложа руки. И даже в лаборатории я всегда работал вместе с ассистентами, наравне с ними. Бездействие так противно моей натуре, что оно для меня подобно моральной смерти. <…>

Сейчас телефон прервал мой разговор, меня просят в Кремль, к В. И. [Межлауку]. Буду писать дальше после того, как приду обратно.

3-го февраля. Вчера тебе не мог писать, так был занят и устал. Вчерашний разговор с В. И. длился долго (2½ [часа]) и был важен. По существу, первый раз я почувствовал, что мною интересуются как человеком и, кажется, действительно готовы сделать все, чтобы мне помочь здесь наладить работу. Тебя поразит, может быть, что наш разговор меньше всего шел о жизненных, бытовых и технических условиях. <…> Мы обсуждали вопрос доверия. Это взяло долго. И то, что его В. И. считал не менее серьезным, чем я, и не желал замять, а наоборот, каждый пункт подробно разбирался, и произвело на меня самое

лучшее впечатление. Я говорил как всегда прямо, хотя и не резко. Дело в том, что В. И. очень к себе располагает, и резкие слова на язык не лезут. Но откровенность была полная с моей стороны, и я почувствовал ее и во многом, что говорил В. И.

Разговор примерно можно очертить так. Что больше недоверия нету ко мне, что все, что было, ушло в прошлое и разъяснилось, но если не хотят мне предоставить полную свободу, то прямо боятся, что у меня не хватит сил, вернувшись в прежнюю рабочую обстановку, с ней порвать. Мои аргументы сводились к тому, что если я 13 лет, несмотря на все житейские „неудобства“, оставался сыном отечества, то и впредь это буду делать…»

«№ 71

5 февраля 1935 г., Кембридж

…Это письмо коротенькое, только чтобы не было перерыва в них. Я знаю, что сейчас единственное, что Тебя подбадривает, — сознание, что Тебя любят, о Тебе беспокоятся. Но я бы хотела, чтобы Ты это знал и помнил и без моих писем. Потому что ведь может же случиться, что письма будут хуже ходить, задерживаться и пр. И к этой мысли Ты должен привыкнуть. И знать, что если даже нет писем, то все-таки все хорошо и благополучно, о Тебе я помню каждую минутку моей жизни и никогда не перестану помнить и любить. Ты знай, что если что случится, то я приеду сейчас же, как бы ни было, мой дорогой, сложно это и трудно. <…>

Ты знаешь, кто очень трогателен и мил ко мне, — это Мах B[orn][73]. Он часто заходит поболтать, и у нас есть много, о чем можно говорить. Особенно его волнует интернациональное положение ученых и как их предохранить от произвола националистически настроенных правительств. Это вообще очень интересный и нужный вопрос, и если ученые не спохватятся теперь, то потом будет очень трудно что-нибудь сделать. Но ведь организовать ученых очень трудно. У них ведь, кроме общих интересов, которые их соединяют, есть масса всяких предрассудков и мелкой зависти. Те, которые занимают места, не очень-то хотят протестовать или организовываться с теми, которых выгоняют или притесняют. Ну, да это вопрос, который надо хорошенько продумать, прежде чем что-нибудь предпринять. <…>

Маме продлили визу еще на три месяца, это теперь делается очень просто и скоро. Она пока еще не хочет уезжать. Да и мне удобнее с ней. Моя хорошенькая девица оказалась совершенно неспособной нянькой. Она ничего не умеет делать и совершенно

не умеет обращаться с детьми. Просто не знает, что с ними делать и как ими заниматься. Так что через два дня мы с ней расстаемся. Я думаю, к обоюдному удовольствию.

Она — замечательный продукт мелкобуржуазного воспитания. Так как по отношению к детям она была вроде ледяного столба, то я ей сказала, чтобы она помогала больше куке (кухарке. — *П. Р.*), а когда ей предложили в детской вымыть пол, то она сказала: „Я никогда не мыла, я не знаю, как. И я бы очень не хотела, чтобы мои знакомые узнали, что я мою пол“! Ну вот, после таких разговоров я с ней и предпочла расстаться. Она полна мелкобуржуазных предрассудков, прямо набита ими. Что она думает делать, я не знаю. Живут же на свете чудаки, которым стыдно работать…»

«№ 72

7 февраля 1935 г., Кембридж

…Ты обо мне не беспокойся, я опять в порядке, и все хорошо. Знаешь, иногда очень тоскливо и страшно, но это проходит, и тогда я полна энергии и бодрости, ничего не может меня остановить в моих желаниях Тебе помочь. А тоска нападает не часто, и я знаю, что с ней надо бороться.

Дорогой мой, насчет моего рисования. Очень трудно сказать, стоит ли мне сейчас им заниматься. Видишь ли, это значит совсем изменить весь образ жизни, а я не уверена, что это в данный момент разумно. Ведь я никогда не хотела выставлять, не зная наверное, что это пойдет мне на пользу. Я думаю, я еще подожду с рисованием, т. е. с тем, чтобы выставлять. А понемножку я работаю дома и стараюсь не терять практики, но все-таки в данный момент меня больше интересуют портреты, хотя я пейзажи и очень люблю. Но не чувствую, что я достаточно сильна в портретной живописи, чтобы перейти на что-нибудь совершенно мне чуждое, как пейзаж. Но, Зверочек дорогой мой, Ты не беспокойся, я это не заброшу и всегда вернусь к более активной художественной деятельности, как только почувствую, что Ты у меня лучше себя чувствуешь и я могу немного успокоиться. Тогда рисование даст мне большое удовлетворение…»

«№ 45

14–16 февраля 1935 г., Москва

…Сравнивая с Англией, все же, как ни печально, но надо сознаться, что отношение к науке здесь еще далеко не нормальное. Нету уважения и искреннего понимания важности науки. Да, правда, Маркс, Энгельс, Ленин, все указывали на науку

как на фундамент для социального развития. Это многие знают, но не чувствуют. Что техника, машины, тракторы необходимы, это все понимают, а что наука нужна, что все тракторы и машины только и возможно было развить благодаря науке, это мало кто знает. Не открой Фарадей в 1833 году индукцию, так бы мы [и] ездили на телегах, жили при свечах и рассылали письма с нарочными. У нас так увлекаются копированием иностранных машин, что никто не задает вопрос, а что же будет, когда все машины будут перекопированы? Как же будет тогда? Должно быть, Запад создаст к тому времени еще новые и новые машины, которые мы будем копировать. Уважения к оригинальной научной мысли никакого. Звание профессора или академика не вызывает уважения. <…>

Отсутствие точек опор в виде сознательного уважения к науке и ученым и личного мне доверия заставляют чувствовать меня очень пессимистично. Но я, конечно, честно делаю все, что от меня зависит для успеха дела. Но есть вопросы, [где] на компромиссы я идти не смогу. Я требую уважения к себе и к моей работе. <…>

Да, дорогая моя, твоя любовь для меня большая поддержка, без нее я бы не пережил всего того, что на меня навалилось. Но я думаю, Крысеночек, ты очень хорошо сейчас разбираешься в создавшемся положении, и твои письма показывают, какой ты у меня хороший и умный жин. И теперь, когда тебе пришлось пожить, так сказать, самостоятельно, ты, наверное, много поняла в жизни, чего не понимала раньше, и я вижу, ты тоже начала больше ценить меня, чем прежде. Если нам удастся пережить все и действительно создать тут работу, не поссорившись с Кр[окодилом], которого я больше всех люблю после тебя с поросятами, то я не буду жалеть о происшедшем. Но впереди много чего еще есть, главное, доверие. А все же свою страну как ни ругаешь, но ей прощаешь больше, и, если и произошло недоразумение, надо все сделать, чтобы его выяснить. Ну вот, Крысеночек, философия жизни…»

«№ 78

17 февраля 1935 г., Кембридж

…Крокодил очень расстроился, когда я сказала ему о том, что у Тебя нервы не в очень-то хорошем порядке. Он сказал, что ждал этого, но очень ему неприятно, что Ты такой бедный. Спросил меня, спишь ли Ты хорошо, а когда я сказала, что Ты в такое время плохо спишь, то он сказал, что это еще хуже и что надо что-нибудь Тебе сделать, чтобы не так нервничать. Но что он Тебя знает и знает, что Твои нервы всегда в натянутом состоянии. Он

был очень трогателен в своей заботе о Тебе. Он всегда меня спрашивает, сплю ли я хорошо, и успокаивается, когда я говорю, что хорошо.

Да, зверушечка, помни, что если Тебе очень станет скучно, то я ведь как-нибудь всегда смогу устроить детей. А я человек, который Тебе ближе всего. Ты не беспокойся за меня, а думай только о себе, так сейчас нужно. Так что помни, что я существую, я Тебе стараюсь писать, чтобы хоть письмами Тебя подбодрить и хоть чем-нибудь Тебя утешить.

Я знаю, что Ты без работы совсем у меня больной и несчастный делаешься, но помни, что Тебе еще надо много, много сил, чтобы бороться и добиваться того, что Ты находишь нужным в жизни, и все силы Тебе нужны, в каких бы Ты ужасных условиях ни находился. Помни всегда об этом и береги свои нервы как можно больше. <…>

Я печатаю на машинке, Твоя секретарша мне показала, как это делается, и я всеми пальцами теперь печатаю. Это, конечно, очень просто, но требует практики. Я собираюсь купить переносной Remington, они сейчас самые лучшие, а я могу с большой скидкой его достать. Машинка всегда пригодится, так что я думаю, это не будет расход зря. <…>

Ходишь ли Ты в цирк? Ведь Ты это так любишь. Обязательно пойди и развлекись. Или Тебе доставляет большее удовольствие ходить в оперу в Большой театр? Ведь Москва полна театрами, и если Ты теперь с билетами, то Ты можешь ходить до бесконечности по всем театрам. Это так Тебе хорошо. Я знаю, что скучно ходить одному, то води хоть Шуру или кого-нибудь из ее друзей, ведь они Тебя не боятся, а Тебе все равно, с кем ходить, лишь бы был живой человек рядом…»

«№ 46

20–21 февраля 1935 г., Москва

…Дорогой Крысеночек, день и ночь думаю о тебе и ребятах и о создавшемся положении. Я думаю, в ближайшие 3 недели должно выясниться, еду ли я к Ив. Петр. [Павлову] и спокойно занимаюсь биофизикой или действительно что-либо выйдет из перевода лаборатории сюда. Я совсем не понимаю, почему М[айский] не разговаривал с R. Мне было определенно сказано, что это будет сделано…»

«№ 82

23 февраля 1935 г., Кембридж

…У меня сейчас есть маленькая машинка „Корона“. <…> Для упражнения я перевожу Твои письма. Я всегда их читаю

Кр[окодилу], а тут хорошее упражнение. Кр[окодил] очень беспокоится о Твоем здоровье, и Ты мне, пожалуйста, отпиши подробно, как Ты спишь и все прочее. Он ведь всегда спрашивает и очень беспокоится, что когда все недоразумения кончатся, то Ты будешь в очень печальном нервном состоянии. Так что, дружочек, Ты об этом подумай. Мы также говорили о том, что Тебе очень трудно быть совсем одному. Я думаю, может быть, детей оставить, а мне приехать? Дорогой мой, дети уже в таком состоянии, когда смогут остаться одни, и я могу на них надеяться, что они будут вести себя хорошо. А сейчас мне кажется, что Ты больше нуждаешься во мне, чем они. Подумай об этом. Твое здоровье дороже всего и для меня, и для детей, и поэтому надо все сделать, чтобы Тебе было лучше. А Ты можешь положиться на меня, что я здесь все оставлю в порядке, и без меня они смогут прожить.

Я думаю, ни для Тебя, ни для меня нет никакого сомнения, что не стоит их никуда везти, пока все недоразумения не выяснятся. Я думаю, Ты прямо так и скажи В. Ив. [Межлауку]. Недоверие не может быть основой прочной и счастливой научной работы — к этому должен прийти тот же В. Ив. А если они этого не хотят принимать за истину, то никто в этом не виноват.

Мы с Тобой можем прожить как угодно, нам не надо ни квартир, ни дач. А надо создать такие условия, при которых Ты бы мог работать. А это возможно лишь при восстановлении полного к Тебе доверия. То состояние, в котором Ты сейчас находишься, грозит полным нервным расстройством, и гораздо лучше это предупредить, чем потом лечить. Сейчас самый важный вопрос — это Твое здоровье, и Ты об этом хорошенько подумай. Нет ничего, чего бы я ни сделала, чтобы это положение облегчить, и я знаю, что со мной Ты можешь говорить, а это уже будет гораздо лучше.

Дорогой мой Петюшек, о детях не стоит сейчас беспокоиться, а самое главное — это Ты. Я говорила с Кр[окодилом] на этот счет и оставила его подумать об этом. И скоро буду опять говорить. Помни, что только при полном здоровье и полном сохранении Твоих нервных сил и возможна Твоя дальнейшая творческая работа.

Вот, дружочек дорогой, подумай хорошенько. И думай только о себе. Дети и я тут ни при чем. Надо взять вполне независимую точку зрения…»

«№ 48

1 марта 1935 г., Москва

…Завтра пять месяцев, как мы расстались с тобой,

Крысеночек. Я так рад твоим фотографиям, увеличенным, с детьми. Они у меня на письменном столе, раздобуду рамочку. Что касается посылки, то получил первую, с сапогами, и вторую, с бумагой. Пришлось заплатить безумную пошлину. За первую хотели сперва 3000 рублей, но часть я заплачу валютой, часть сов. знаками с помощью института. Я их внесу в рассрочку, а то жалования не хватит. <…>

Теперь насчет моего здоровья, скорее нервов. Конечно, все происходит оттого, что я чувствую себя как жучок, подвешенный на веревочке в воздухе. Барахтаюсь ногами, а так как почвы нету, то — ни с места. Я не чувствую людей, не чувствую друзей, не чувствую доверия, не чувствую полезности своего существования, не чувствую уважения к себе, не чувствую, что меня понимают и *ценят*. Конечно, все это очень неприятно и плохо действует на настроение, но я не вижу выхода. Пока что абсурдность всего случившегося может вскрыть только время, и я знаю, что только время покажет, что все это так нелепо и глупо. Надо ждать. Вот я уже полгода на веревочке барахтаюсь. Может, еще столько, а то и дольше придется. Фарадей же сидел в доме для нервнобольных 3 года, а потом опять принялся за работу и сделал свои самые большие открытия, хотя ему было за 50 лет. Я вынужденно оторван от своей работы тоже! Зачем? Почему?

Почему меня хотят дрессировать в чем-то здесь? Казалось, мне уже за 40 лет и я сформировавшийся человек. И, главное, вся глупость в том, что вот уже 13 лет я только и думаю о том, как помочь нашей науке и нашему строительству, а от меня хотят либо того, что я считаю вредным, либо того, что я фактически не могу сделать, как, например, воссоздать мою [кембриджскую] лабораторию. Ее можно перевезти — это правда, но воссоздать ее заново, с самого начала, я не в состоянии. Я, конечно, могу заняться физиологией, но этого здесь почему-то не хотят. А я уверен, что годов через 5 у меня были бы не меньшие успехи в этой области, чем в физике.

Ну вот, Крысеночек мой милый, как же твой приезд может это изменить и мне помочь? Только сознание того, что время покажет мою правоту, заставляет меня находить силы для жизни, а любовь к тебе и детям — это другой источник сил. Но, конечно, Аничка, если ты приедешь, то, я думаю, тебя выпустят и тут будут рады твоему приезду. Но, Крысеночек мой милый, я буду так волноваться за ребятишек, что спокойствие и счастье, которые я получу от твоего приезда, совсем поглотятся в этих волнениях. Ведь, дорогая моя, я хорошо понимаю твои чувства и их причины и хорошо знаю, как ты меня любишь, и как ты заботишься о моем здоровье, и почему ты считаешь, что мои нервы сейчас в жалком

состоянии. Все это правда, но сознание своей правоты, безусловно даст мне силы пережить все предстоящие испытания…»

1 марта произошло наконец первое движение в переговорах о научном оборудовании. Полпред СССР в Лондоне И. М. Майский просит Резерфорда принять советника полпредства С. Б. Кагана «для беседы». 5 марта Резерфорд отвечает Майскому, что готов принять Кагана. И назначает дату и время: 12 марта в полдень, в Кембридже, в Кавендишской лаборатории.

«№ 92

12 марта 1935 г., Кембридж

…Сегодня был интересный день. То, что Тебе обещали и [о чем] говорили, было исполнено, а именно: приезжал гражданин от М[айского] и долго беседовал с Кр[окодилом]. Беседа была очень дружеская, и Кр[окодил] вполне высказал все, что он на этот счет думает, и как, по его мнению, надо с Тобой обращаться, чтобы получить от Тебя максимум успеха, и что, по его мнению, такое обращение, как теперь, погубит Тебя окончательно. И всё в этом духе.

Насчет покупки лаборатории он пояснил, что эта лаборатория — дар Университету от R.S.[74] и что вряд ли Университет примет такое предложение, но что он думает, что если Тебе нужна будет помощь, то, конечно, они все сделают всё, чтобы Тебе помочь, *Тебе лично*. И это он постарался разъяснить тоже.

Я думаю, что сейчас положение такое: начнутся переговоры, лед разбит, Кр[окодил] очень дружески настроен и подчеркнул, что в этом *Ты лично* должен иметь дело. <…>

Говоря о Тебе лично, Кр[окодил] также захватил вопрос более широко. В начале разговора гражданин сказал, что Ты счастлив и все хорошо, но Кр[окодил] ответил, что этого ему не надо говорить, он Тебя слишком хорошо знает, чтобы этому верить; что он читал Твои письма и видел тех, которые видели Тебя, и этого ему довольно, чтобы знать, что Ты не можешь вдали от своей лаборатории быть счастливым и довольным. Так что этот вопрос был сейчас же ликвидирован.

Ты знаешь, какой он гениальный человек, ну так Ты можешь хорошо представить, что он говорил и как. Он указал, что Тебя погубят, если поставят во главе большого института. Что тебе надо спокойную и мирную обстановку для работы, и без всяких административных вопросов. И тогда Ты даешь блестящий результат. Но главное для всякого ученого — это чувство свободы и доверие. <…>

Я сказала Кр[окодилу], что напишу Тебе, потому что Ты в этом заинтересован больше кого-либо другого, и Тебе надо об этом знать. Он вполне со мной согласился. Я думаю очень серьезно, что от этого разговора можно ждать очень хороших результатов. Хочется верить, что наши, наконец, поймут, что для них, черт возьми, стараемся, и никто их обманывать не хочет…»

В начале 20-х чисел марта (письмо не датировано) Резерфорд направляет С. Б. Кагану письмо, в котором отвечает отказом на предложение советской стороны купить у Кембриджского университета научное оборудование Мондовской лаборатории. В сентябре, когда вопрос о продаже оборудования Мондовской лаборатории наконец сдвинулся с места и был близок к благополучному решению, Резерфорд в письме от 25 сентября объяснил П. Л. Капице, почему он отказал в марте.

«Вы, вероятно, знаете, — писал Резерфорд, — что шесть месяцев назад Ваше посольство в Лондоне предложило купить основную часть оборудования Мондовской лаборатории на условиях, которые подлежали бы согласованию. Я обнаружил, что ни Университет, ни Королевское общество не были готовы рассматривать это предложение, которое мне пришлось поэтому с благодарностью отклонить. <…> Естественно, что в существующих обстоятельствах я не испытываю желания помогать кому бы то ни было, кроме Вас, поскольку чувство моей благодарности к СССР нельзя назвать особенно сильным…»

13 апреля, не имея никаких сведений о ходе переговоров полпредства СССР с Резерфордом (Капица с самого начала не был допущен к этим переговорам, что, в конечном итоге, и привело к их провалу), Петр Леонидович пишет отчаянное письмо жене:

«№ 66

13 апреля 1935 г., Москва

…Жизнь изумительно пуста сейчас у меня. Другой раз у меня кулаки сжимаются, и я готов рвать на себе волосы и беситься. С моими приборами, на моих идеях, в моей лаборатории другие живут и работают, а я здесь один сижу, и для чего это нужно, я не понимаю. Хочется кричать и ломать мебель. Мне кажется подчас, что я схожу с ума. Только валерьянка с ландышем (рецепт моей мамаши) меня спасают подчас.

Да, Крысеночек мой любимый, логика твоих писем меня убивает, так как ты не хочешь видеть психологии или, вернее, психики. Жизнь руководствуется не логикой, а эмоциями. И, Крысенок мой милый, почувствовать, как я страдаю, подчас ведь,

кроме тебя, до этого абсолютно никому нету никакого дела.

Утешь меня, я прошу!

Прости, Крысок, за истерику [в] письме, ведь она неминуема, и все же следует тебе знать хоть примерно, в каком [не]равновесном состоянии я нахожусь. Мне теперь совсем ясно, как губили больших людей, как груба может быть жизнь и как, когда нет такого человека, как Крокодил, трудно приходится ученым, и какой подлец А. Ф. [Иоффе]…»

24 апреля 1935 года известие о «похищении» в СССР кембриджского профессора проникло в западную печать.

«№ 114

25 апреля 1935 г., Кембридж

…Вся история появилась в той газете, которую читает кук[75]. Дело в том, что в один прекрасный день позвонил репортер ко всем, кого мог придумать в Кембридже, и спрашивал насчет Тебя. Все в один голос ответили: мы ничего сказать не можем, спросите Кр[окодила]. А он в это время жил на даче. Так что туда заявился репортер и проинтервьюировал Кр[окодила]. Что он думает, и вообще, в чем дело. Но самое интересное было то, что они позвонили в посольство, и там им с полным удовольствием дали заявление. И, собственно, у Кр[окодила] они пришли, так сказать, искать подтверждение. Кр[окодил] сказал им все то, что уже не раз говорил М[айскому], так что это все и появилось в газете. Я, собственно, не вижу, почему Тебе эту вырезку не прислать. <…>

Я Тебе все всегда подробно описываю и не могу обойти молчанием то, что Тебя касается, хотя я и знаю <…> что Тебе это все очень неприятно и тяжело, Ты ведь <…> терпеть не можешь ничего газетного, ничего, что было бы похоже на сенсацию…»

В следующем письме, № 115 от 26 апреля, Анна Алексеевна рассказывает о развитии событий на «газетном фронте»:

«Это разрастается. — пишет она, — и в М[anchester] Guard[ian] поместили очень интересную статью. Я знаю, <…> что это Тебе принесет только неприятности, но ничего уже нельзя сделать, все теперь об этом пишут и знают. Но сейчас ученые страшно взволнованы и потрясены Твоей судьбой. Я Тебе пишу об этом потому, что вся Англия это знает…»

О «похищении» Капицы англичане узнали 24 апреля, когда более семидесяти газет Великобритании, ее доминионов и колоний опубликовали об этом событии статьи и короткие заметки. На следующий день об этом писали 40 газет и

еженедельников в разных странах мира. Затем число публикаций на эту тему пошло на убыль. 26 апреля — 13, 27-го — 7, 28-го — 10 публикаций. Зато 29 апреля в «Таймс» появляется пространное письмо редактору газеты от Резерфорда[76]…

В эти дни Капица, ни о чем не ведая, спокойно отдыхал у своей матери в Ленинграде. Анна Алексеевна же о газетной шумихе писала ему в Москву…

«№ 74

4 мая 1935 г., Москва

…Вчера В. И [Межлаук] меня принял к вечеру, так что потом писать тебе было трудно. Я получил твое 115 письмо, где ты пишешь о том, что появилось в газетах, после того, как видел В. И., так что когда он протянул мне № Times'a с письмом R., то я был поражен. <…>

Я очень рад, Аня, что В. И. считал это совсем не важным и не имеющим большого значения. Но все же <…> разговор наш был не особенно приятным. Я же не могу сказать, что мне хорошо здесь сейчас, когда я загнан в полное одиночество, я же не могу сказать, что мне не безумно тяжело без моей работы. Но, конечно, вопрос очень сложен. Я, Аничка, право, не знаю, что мне делать! Сегодня В. И. прислал письмо R. в Times, и я его очень внимательно прочел. <…> Я все ломаю голову, что мне делать, но в моем состоянии какая-то апатия. Ну, будь что будет, думаю, и оставьте меня в покое. Что я еще буду вмешиваться во все это? Я просил В. И. свести меня с М[олотовым]. Когда-то было время, когда люди считали приятным со мной знакомиться, а у нас — наоборот. В. И. говорит, [что] навряд ли М[олотов] захочет со мной говорить, и отметил, что то, что он сам со мной разговаривает, надо считать за большую честь, которой не удостаивается ни Карп[инский], ни Волгин. Вообще, он говорил, что я должен слушаться их, если им народ поручил управлять страной. Я говорил, что слушаюсь во всем и исполняю все, что мне приказывают. Но некоторые из приказаний звучат так, [как] если бы позвали Бетховена и сказали: пиши 4-ю симфонию. Конечно, Бетховен может дирижировать концертом по приказанию, но навряд ли бы согласился писать симфонию по приказанию, во всяком случае хорошую. Так и я концертирую и выполняю все, что с меня требуют, но я не могу заняться творческой работой, и, конечно, R. прав, что К. „requires the atmosphere of complete mental tranquility“[77]. Я вот после разговора с В. И. валялся часа два. Со всеми благами мира нельзя чувствовать себя хорошо, если одна часть населения не разговаривает со мной из-за боязни, а другая — из-за важности.

<…>

Ты знаешь, как-то странно мне было читать письмо R. в „T[аймс]“. Как будто там пишут о каком-то другом Kapitza, который был ученым, судьбой которого интересовались „scientific men throughout the world“[78], а теперь Kapitza — маленький, глупый, несчастный. Барахтается на ниточке, как барахтаются паучки с пружинными ножками, которых когда-то вешали на елку. Вот держат меня за веревочку, а я делаю беспомощные движения ножками никчемными и не двигаюсь с места. Ну что я сделал за эти 8 месяцев? Ничего! И как пусто это время, и никто не хочет меня понять…»

Получив от мужа письмо из Ленинграда и телеграмму, что он уже в Москве, Анна Алексеевна пишет ему:

«№ 119

3 мая 1935 г., Кембридж

…Дорогой зверочек, не говори, что Твоя жизнь бессмысленна, этого не может быть. Сейчас период борьбы, и поэтому все Твои силы должны быть в порядке, экономь их и старайся помнить, что не было еще случая, когда Ты не сумел доказать Твоей правоты. Разве не то же положение было, когда Ты начал [здесь] работать? С Тобой не хотели разговаривать. Тебя считали почти шарлатаном. И тогда Тебе было трудно доказать свою правоту, тогда никто не знал о Тебе, тогда у Тебя не было того имени, которое сейчас, и тогда Тебе надо было завоевать все 6/6 земного шара, а теперь только 1/6, потому что 5/6 знают, ценят и верят Тебе.

Так что вся тяжесть борьбы [в том], что Ты не знаешь тех людей, которым надо доказать Твою правоту. Но Ты победил тогда, и нет никакого сомнения, что победишь и теперь. Но это трудная и тяжелая полоса, и самое ужасное, что Ты оторван от работы. Но ведь это тоже дает Тебе смысл для борьбы — опять иметь возможность работать, и еще вдобавок поднять нашу науку, научить наших ученых отстаивать свои права и научить наше Прав[ительство] эти права уважать. Цель очень благородная, и бороться стоит даже отдельно за каждую из этих вещей. <…>

Помни, что я совершенно и абсолютно с Тобой, что если Ты не согласен со мной, то зато я во всем согласна с Тобой. Думай о чем угодно, делай что хочешь, но не теряй бодрости и энергии.

Я так счастлива, что мои письма приносят Тебе утешение и Ты пишешь мне с таким удовольствием. Даже на расстоянии, которое нас с Тобой разделяет, мы понимаем друг друга, а ведь это так важно. Прошло много времени, и наша дружба только

окрепла, и понимание друг друга только стало тоньше. Разве уже в этом нету колоссального удовлетворения, и ведь это дает Тебе чувство того, что Тебя понимают, ценят и любят.

И, зверочек, помни, что если я Тебе нужна лично, то ведь так просто я могу к Тебе приехать, оставив здесь все в порядке. Ну, да Ты сам знаешь это, и повторять не стоит…»

«№ 123

14 мая 1935 г., Кембридж

…Получила твое письмо от 8-го, где Ты пишешь о том, что написал письмо Мо[лотову] и послал. Очень интересно, какой будет результат. Мне очень понятно, что Ты написал, и совершенно ясно, что по-другому Ты поступить не можешь. Но сможешь ли Ты это выдержать? А это так страшно важно. <…>

Вчера ездила в Лондон. Знаешь, я завтракала с Твоим давнишним приятелем. Ты еще рассказывал, что первый раз чуть не подал ему пальто, вместо того чтобы пожать руку![79] Мы с ним долго беседовали. Он мне понравился, и я ему, кажется, тоже, потому что беседа была непринужденная и интересная. Конечно, много говорили о Тебе. Он очень интересовался, как и все вообще. Я была очень рада его повидать. Он, безусловно, интересный человек. <…>

Я также постараюсь повидать другого Твоего знакомого, с которым Ты раз возвращался из Германии[80].

Я вообще стала гораздо более „social“[81], чем раньше. Как видишь, культивирую всех Твоих друзей, и даже тех, которых не очень люблю, как de Br[uyne]. Но он оказался прекрасным человеком. Вообще, если Тебе сейчас кажется, что свет состоит из людей, которые хотят друг другу зла и не понимают, когда человек доброжелателен, у меня как раз наоборот — свет состоит из людей, которые желают мне добра и вовсю эти желания проводят в жизнь. Так что видишь, как мы с Тобой поделили всех жителей земного шара.

Зверочек дорогой, мне очень сейчас за Тебя страшно. Только не сдай, это так важно и в то же время так трудно. Но помни, что Тебя все же очень много народу ценит и любит, и беспокоится [за Тебя], и хочет, чтобы Тебе было хорошо. У Тебя много друзей, и они показали и доказали, что на них можно рассчитывать. Но теперь меня волнует только Твое состояние. Главное, держись и делай все возможное, чтобы держаться…»

Анна Алексеевна по-прежнему энергично ведет кампанию против насильственного задержания Капицы в СССР. В защиту Капицы она «мобилизует» общественное мнение, обращается к

самым влиятельным и популярным лицам, которые могли бы подписать коллективный протест советскому правительству.

«№ 80

20 мая 1935 г., Москва

…Я всегда и теперь сочувствую социализму и готов работать здесь. Но не мне решать, где мне работать. Судьбе было угодно наделить меня дарованиями для решения научных проблем. Мне этим гордиться не приходится, это было сделано природой помимо моих желаний. Так сказать, без моего спросу. Но, по-видимому, если природа тебя наградила некоторыми дарованиями, это накладывает на тебя обязательства их использовать наиболее полно, так чтобы людям от этого было больше всего пользы. Поэтому в выборе места работы я должен, по совести, руководствоваться исключительно этими мотивами…»

«№ 82

23 мая 1935 г., Москва

…Между прочим, Крысеночек мой дорогой, мне кажется все же, мы с тобой за это время кое в чем расходимся. Я убедился или, вернее, я обдумал жизнь и пришел к выводу, что ты очень деликатная натура вообще и из Сергея ты сделаешь маменькиного сыночка. Я бы его слегка вздрючил. Строгий отцовский голос, без обиняков, другой раз производит на ребят хорошее впечатление, и вообще в жизни тут я это чувствую тоже. Ну да это, Крысеночек, временно. Когда я приеду или когда вы приедете (не знаю, что будет скорее), я покажу им, что такое папенька!!.»

«№ 83

29 мая 1935 г., Болшево

…Теперь пару слов насчет твоего приезда. Как только тов. М[айский] тебе напишет, что ты можешь ехать на две или три недели — устраивать дела, дай мне телеграмму. Тогда я тебе пошлю точные инструкции. Главная, милая, насчет ребят. Единственно, что я считаю рациональным в данном случае, — это отдать их непременно в ту школу, где когда-то ты сама училась рисованию[82]. Как бы это трудно ни было, но это единственное надежное место. А то, пожалуй, их лучше взять с собой тебе сразу. Или совсем не ехать. А то ведь кое-как нельзя обращаться с ребятами. Ты обо всем этом мне напиши заранее, Крысеночек, и не ленись…»

«№ 86

5 июня 1935 г., Болшево

…Пока у нас не будут созданы такие моральные условия, при которых каждый ученый [не] будет страшиться работать у себя на родине и не придется за каждого из них бояться, что того и гляди удерет, до тех пор нам трудно рассчитывать на большой подъем в нашей науке и на ее процветание. Все это элементарно просто и легко осуществимо, но это так трудно растолковать и объяснить. Но один в поле не воин. Видно, время для всего этого не созрело. <…>

Но меня сейчас волнует один вопрос больше всего, и это ты, дорогой Крысеночек. Мне все больше и больше кажется, что на тебя накладывается чересчур большая ноша, и мне кажется, что ты сдаешь. А это ни в коем случае нельзя делать. От твоей бодрости зависит моя. <…>

Крысеночек, я получил фото ребят и твое и был очень, очень рад. Ты сама выглядишь немного сердюткиной, а ребята веселы и хорошо играют. Ох, дорогая моя, чувствую я, что им недостает отцовского допинга и они, наверное, у тебя изнежились. Мне что-то больше по душе боцманский дух твоего отца. Вместо няньки им бы действительно нужен боцман, а им полазить бы по деревьям и озорничать. Пускай дерут костюмы, но не делай ты из них маменькиных сынов. Ну, ты не сердись, я всегда одно и то же тебе пишу. Это мои дети, и я жалею, что мои ребята такие нежные и аккуратненькие…»

«№ 140

14–15 июня 1935 г., Кембридж

…Ф. И.[83] хочет, чтобы я поехала, но R[utherford] к этому относится подозрительно, хотя и говорит мне, что не может мужчина один долго жить, чтобы я это имела в виду. На это я ему сказала, что если Тебе так уж необходима женщина, то я согласна, чтобы она у Тебя была. Но он не согласен! Говорит, что это только усложнит дело и скомпрометирует Тебя. И он очень надеется, что Ты умный и все видишь и понимаешь. Я ему сказала, что Ты мне много раз писал, что Ты не такой дурак, как это многие думают. И он успокоился. Но меня трогает, что он заботится о моих личных делах, это очень мило…»

«№ 88-а

15 июня 1935 г., Москва

…Бывают у меня моменты, когда особенно чувствуешь твое отсутствие и хочется тебя видеть и иметь около себя. Сегодня почему-то очень тоскую по тебе. Всякая мелочь, как мешочки для сапог, сделанные из того платья „парадного“, которое ты носила

еще при первых встречах, мне дороги очень, и я к ним отношусь с сентиментальной нежностью…»

В середине июня Резерфорд, осознав, по-видимому, после газетной шумихи, которая не произвела никакого впечатления на правительство СССР, что добиться возвращения Капицы в Кембридж не удастся, решает возобновить переговоры с советским полпредством о продаже СССР научного оборудования Мондовской лаборатории.

«№ 141
16 июня 1935 г., Кембридж
…R. считает, что надо что-то сделать, чтобы Тебе была дана возможность работать. Но как это сделать? Он говорит, что понятно, что Ты не хочешь начинать никаких опытов, не имея уверенности в том, что если они не выйдут <…> то Тебя [не] обвинят в саботаже, вредительстве и нежелании работать. Что при таких условиях все очень трудно и почти невозможно что-либо начать. Он опять говорил, что он лично, для Тебя лично, сделает очень много, но это лично, и никакие правительства тут ни при чем. Он написал письмо М[айскому] и сказал, что он и Ф. И. хотели бы их повидать, чтобы обсудить положение…»

Накануне разговора с Анной Алексеевной, 14 июня, Резерфорд отправил письмо советнику полпредства СССР С. Б. Кагану, с которым он в марте вел переговоры о продаже СССР научного оборудования Мондовской лаборатории. Эти переговоры, как мы знаем, зашли тогда в тупик.

В письме Резерфорда Кагану есть фраза, которая объясняет возобновление переговоров. Сообщив, что ему нужно было узнать мнение Комитета Мондовской лаборатории и Королевского общества о продаже СССР специального оборудования Мондовской лаборатории, Резерфорд пишет: «Кроме того, нам пришлось обдумать наилучший способ организации работы лаборатории в отсутствие профессора Капицы, которое, как я понимаю, скорее всего будет постоянным».

В Кембридже поняли, что Капица в Англию не вернется. Резерфорд пишет: «Комитет уполномочил меня на дальнейшее обсуждение с Вами наилучших способов помощи профессору Капице для продолжения его работы в России».

И добавляет в конце письма: «Как я уже говорил Вам, трудно добиться какого-либо прогресса без того, чтобы мы могли каким-то образом лично общаться с Капицей для выяснения его действительного отношения к этим вопросам. Для разрешения

этой проблемы у меня есть предложение, которое с Вашей стороны встретит, я надеюсь, одобрение. Как Вы знаете, в августе этого года в России состоится конференция физиологов, в которой примут участие несколько человек из Англии, которые лично знакомы с Капицей. Будет ли возможно устроить так, чтобы, скажем, двое из этих участников конференции действовали как мои представители и чтобы им была предоставлена возможность свободно обсуждать положение дел с Капицей и с любыми государственными чиновниками, имеющими отношение к его работе? Затем они рассказали бы мне о ситуации и о наилучших способах помочь Капице начать в России заново его прерванную работу…» (АВП РФ. Ф. 162. Оп. 10. Д. 32. Папка 36. Л. 255–256. Подлинник на бланке Кавендишской лаборатории).

Резерфорд предлагает встретиться в помещении Лондонского Королевского общества. В этой встрече примет также участие секретарь Королевского общества Ф. Э. Смит.

Каган был в отъезде, на письмо ответил Майский, который сообщил, что на встречу с Резерфордом и Ф. Э. Смитом придет советник полпредства Астахов. Эта встреча состоялась в назначенный Резерфордом день, 20 июня, в помещении Королевского общества.

О том, как проходил разговор с Астаховым, Резерфорд рассказал Анне Алексеевне лишь месяц спустя. В письме от 13 июля 1935 года она сообщала Петру Леонидовичу: «…Наши ничего не ответили R. <…> R. говорит, что гражданин от М[айского] был в панике <…> и все время повторял, что Ты нужен Союзу в индустрии и как специалист. Он, кажется, вообще не знал, что Ты ученый, а не спец, и все время возвращался к тому, что развитие индустрии требует Тебя!..»

«№ 91

22 июня 1935 г., Ленинград

…Вчера вечером у нас был твой отец с Вовочкой, он был разговорчив и мил. Я рад, когда наши семьи объединяются. Замечательный он человек по своей честности, неподкупности и знанию дела. Вот как мало у нас ценят людей. Ведь лучше его, кажется, знатока по кораблестроению во всем мире нет. Он честно работает и даже, мне кажется, предан современной власти. Во всяком случае, он ее ставит выше прежней несравненно. Прежнюю он терпеть не мог. По характеру он анархист и индивидуалист, и поэтому он не может ходить на задних лапах ни перед кем. Да, пожалуй, такой индивидуализм есть характерная черта крупного ученого, и этого тоже у нас еще не

понимают. <…> В Англии такого человека, как твой отец, на руках носили бы, был бы он Sir, Bar[on], HN (?) и все что угодно, а у нас никто не позаботится даже ему личную машину дать, и он ходит пешком, несмотря на свои 73 года. Хотя это ему, может быть, и на пользу, так как этим он поддерживает свое здоровье. Между прочим, ему недавно мерили кровяное давление и нашли его нормальным. <…> А вот у Вовочки с кровяным давлением не в порядке. Мне кажется, Вовочка так заботится о твоем отце, что совсем забывает о себе. Это ненормально. Когда ты приедешь, нам надо будет позаботиться об них обоих. А пока что я возмущен, что об них совсем тут не заботятся, кроме как его ученики. Вот после этого кто посмеет сказать, что я не прав, когда говорю, что наши идиоты не умеют заботиться об ученых…»

Анна Алексеевнаеще не знала, как изменилась позиция Резерфорда, и энергично продолжала свою деятельность, направленную на сбор подписей знаменитостей под протестом против запрета Капице вернуться в Англию.

«№ 145

25 июня 1935 г., Кембридж

…Вчера я пробыла целый день у старика, с которым возвращалась из Союза[84]. Он и жена очень симпатичный и милый народ, очень цельные типы. И мы много о чем говорили. Они оба уже древние старики, т. е. обоим по 80-ть, но живые, бодрые и полные интереса и любви к жизни. Было забавно с ними разговаривать, я не со всем соглашалась и, к моему удовольствию, сумела их убедить в том, что мне хотелось. Они сначала считали, что Ты должен уступить, потому что страна новая и много неурядиц и не надо еще больше делать затруднений, но я ухитрилась им просто доказать, что нельзя требовать от Тебя какой-то сверхчеловеческой святости, что Ты человек, со своими пороками, достоинствами и страстями, и что Тебя надо брать таким, как Ты есть, переделывать не стоит в Твои годы, и что если они находят, что Прав[ительство] может ошибаться, то нельзя от Тебя требовать того, что не требуешь от других. Они мне старались доказать, что Ты был в таком положении в Кембридже, что не мог, когда попал в Союз, сразу все примирить, но что именно этого от Тебя и надо требовать. Что Ты хочешь переменить и научить тех людей, которые во многом больше Тебя знают. На это у меня нашлось возражение: если наши хотят, чтобы Ты работал, и видят, что Ты так работать не можешь, то все должны помочь нашим и растолковать им, что так нельзя к Тебе подходить. Если не хочется, не требуется говорить

им ни о свободе личности, ни о свободе науки. Тут могут быть расхождения. Но в одном все согласны: что такой человек, как Ты, должен работать. Здесь другого мнения не может быть. И мои старики убедились, что это именно так. Ты — человек, еще обиженный в своих лучших порывах и чувствах, и поэтому с Тебя еще меньше приходится требовать. <…>

Я сказала, что наши могут сердиться. Но они обещали тогда свою помощь. Они вообще обещали помощь в разрешении конфликта и сказали, что всегда и все сделают от них зависящее. <…>

Я с удовольствием провела с ними сутки, они оба были исключительно милы и внимательны. И на прощание они мне подарили свою автобиографию! Они хорошие, интеллигентные люди, преданные своему делу и своим идеям, но не узкие партийцы, а с живым умом и интересом ко всему их окружающему и к этому приспособляющиеся. Они оба страшно хвастаются, что они так стары и все еще живы, только что закончили большой труд насчет Союза, немного склонны попрекать всех, что у них больше, чем у кого-либо другого, опыта и они, мол, умные. Напоминают это чересчур часто, но, конечно, они люди незаурядные, и почему не похвастаться этим?

Старик мне говорит: „Мне кажется, что вы бы могли убедить во многом вашего мужа, и это надо сделать“. Я ответила, что никогда ни в чем не буду Тебя убеждать, потому что вполне Тебя понимаю и знаю, что я единственный человек, на которого Ты можешь рассчитывать и который всегда во всем Тебя будет поддерживать. Тогда она вступилась и сказала: „Да, вы правы, так и надо“. И, обратясь к нему, сказала: „Ведь ты бы не хотел, чтобы я была против тебя. Ведь мы всегда были вместе, и это правильно“.

Мне уже не первый раз говорят, что я могла бы оказывать на Тебя влияние, но никогда еще никто так прямо не становился на мою точку зрения — как Твоего единственного друга, которому Ты, и Ты один, дороже всего, и что сознание того, что Ты на меня можешь положиться, и Тебе, и мне дает очень много…»

«№ 96

3 июля 1935 г., Москва

…Насчет твоего приезда. Я согласен с тобой, что тебе надо приехать, но после того, как здесь побывают W[ebster] и физиологи. Я уверен, что эту зиму мы проведем вместе. Конечно, мы будем вместе. <…> Как я ни ругаюсь с нашими идиотами, но мне кажется, <…> что мы друг друга понимаем (и, как ни странно, даже любим?!). И они уверены во мне: что в крайнем

случае я проявлю всегда себя как друг Союза. И хотя они бурчат разную гадость, но совсем немыслимо, чтобы они не ценили ту поддержку, которую я им оказывал всегда. В то же время, как они меня ни пугай, все же у меня есть чувство, [что] очень плохо со мной не поступят[85]. А пожить с тобой на севере и порыть землю, это совсем не так плохо — похудеем и окрепнем. Но я сейчас достаточно поправился, гребу свободно 1½ [часа], сердце ни-ни, и опять нервы в порядке, и я готов в бой за нашу науку и за прочее. Чего мне еще ждать, я думаю на днях написать письмо Мо[лотову], а потом формальную просьбу об отставке в Президиум Ак[адемии] наук. Перееду в Ленинград, ликвидирую Москву и если не уеду еще дальше на север, то займусь тихо и мирно физиологией. Наши поругаются, поругаются, а потом все забывается.

Мне так приятно, что ты меня любишь и ты такой большой мой друг. Это придает мне силу жизни и счастья. Ведь счастливым можно научиться быть в любых обстоятельствах. Но несчастный только тот, кто вступает в сделку со своей совестью. Пока наши идиоты меня не убедят в том, что я действительно могу продолжать свою работу научную здесь даже приблизительно так, как в Кембридже, я за нее взяться не смогу…»

«№ 99

12 июля 1935 г., Москва

…Ты меня очень беспокоишь, больше всего на свете. Ведь вот я, конечно, несчастный, но я привык быть несчастным, и вся моя прежняя жизнь была несчастной. Конечно, до того, как мы с тобой начали жить вместе. Но очень возможно, что тебе еще придется покоротать [жизнь] в одиночестве, пока к моему занятию физиологией не привыкнут и пока я не сумею создать себе имя в этой области, если вообще сумею. Но, конечно, надо надеяться на лучшее. И вот [важно], чтобы ты не теряла бодрости духа и своего веселья и была хорошей матерью ребятам, это самое для меня главное.

Ты видишь, как здорово я справился со своими нервами, так и ты держи себя в руках. Это большая школа жизни, и она тебе, кроме хорошего, ничего не даст.

Но пойми, милая моя, вся моя сила в тебе. Если ты будешь весела и бодра, я здесь создам себе положение как физиолог. Никто не даст мне на вид 41 год, а в душе я себя другой раз чувствую таким же озорным, каким я был, когда мне было 15 лет и я дразнил француза в реальном училище и меня записывали в журнал…»

Телеграмма
27 июля 1935 г., Москва
Чувствую себя хорошо тчк Скоро ты получишь возможность посетить меня тчк Отложи отъезд матери тчк Целую = *Петр*

«№ 160
28 июля 1935 г., Кембридж
…Вчера получила Твою телеграмму и очень ей обрадовалась. До того, что позвонила Кр[окодилу] и сказала ему. А он, знаешь, что первое спросил? „А вы уверены, что это он послал?“ Даже озадачил меня. Но я ответила, что как будто да.

Он теперь стал очень недоверчивый, это его испортили наши с их всякими подозрениями и пр. Между прочим, они на меня отчего-то очень сердятся, вот чудаки. Но это все пустяки, а самое главное, что мы, правда, может быть, скоро увидимся. А потом мне приятно, что отсюда народ Тебя повидает, именно Adr[ian] и другие. <…> Мне очень интересно знать, приехал Дир[ак] или нет и гуляете [вы] с ним вместе под Москвой или в Москве и Ты, что называется, brush up your English…[86](см. „Дирак — ты настоящий и очень драгоценный друг…“.)»

Во время переговоров с советником полпредства СССР Г. А. Астаховым Резерфорд и Ф. Э. Смит в первую очередь поставили вопрос о беспрепятственной и желательно уединенной встрече Капицы с кембриджским физиологом Э. Эдрианом, который примет участие в Международном конгрессе физиологов в Ленинграде и Москве. Резерфорду необходима была абсолютно достоверная информации о положении Капицы и его пожеланиях.

13 июля Резерфорд напоминает Майскому о своем разговоре с Астаховым и о том, что до начала конгресса физиологов остается совсем немного времени.

27 июля Майский, будто речь идет о чем-то само собой разумеющемся, отвечает Резерфорду: «Любой участник этого конгресса сможет, если пожелает, встретиться и побеседовать с профессором Капицей или с любым другим советским гражданином, и для этого, разумеется, не требуется никакая предварительная договоренность со мной».

Резерфорд тут же отправляет Анне Алексеевне записку:

«Только что получил письмо от Майского. Прочтите и верните и сообщите Эдриану. Удивительно, что понадобилось 5 недель, чтобы получить этот ответ. *Р.*»

Анна Алексеевна, исполняя поручение Резерфорда, 30 июля отправляет Эдриану копию письма Майского. И пишет ему:

«Дорогой Эдриан, прилагаю к сему письмо, полученное Резерфордом от Майского. <…> Из него следует, что в настоящий момент К[апица] и наше правительство пришли к своего рода взаимопониманию, и свою роль в этом сыграл, вероятно, Конгресс физиологов. Мне остается только надеяться, что это взаимопонимание расширится и станет постоянным. Сейчас у Вас будет полная свобода встречаться с Капицей и беседовать с ним столько, сколько Вы захотите, причем я советую вести эти беседы во время прогулок на свежем воздухе, а не в помещении. Впрочем, Вы сами все поймете, а я очень рада, что в качестве охранной грамоты у Вас будет с собой письмо Майского, оригинал которого Резерфорд перешлет Вам. Адрес Капицы в Москве — гостиница „Метрополь“, номер 485, Москва. Если Вы будете писать ему в России, я советую делать это с помощью телеграфа, это гораздо надежнее писем, которые иногда идут очень долго. Наша почта работает не так хорошо, как ваша. Ну ладно, надеюсь, что Ваша поездка будет интересной, потому что это замечательная страна, и мои беды не мешают мне восхищаться ею. Недоразумения возможны везде, и стать жертвой одного из них — не самое приятное. Не забывайте, пожалуйста, что от Вас и от других участников Конгресса во многом зависит судьба Капицы.

Искренне Ваша, *А. Капица*».

«№ 164

4 августа 1935 г., Кембридж

…Я страшно рада, что Поль [Дирак] с Тобой. Я думаю, за все это время у Тебя не было такого удовольствия. Он чудесный человек, и я его нежно люблю, и мне приятно, что именно он с Тобой.

Я знаю, что Ты с ним лучше себя чувствуешь, чем с кем-либо другим. И вы вместе можете гулять, ходить, грести, все что угодно. Одним словом, сейчас я знаю, что Ты в хороших руках. Передай ему от меня большой, большой привет. И скажи, что буду ждать возвращения с нетерпением. Вообще сейчас у Тебя будет масса английских посетителей, один за другим. Тебе придется вспомнить весь Твой английский…»

XV Международный конгресс физиологов, в котором приняло участие 1500 ученых из 37 стран мира, начал свою работу 9 августа в Ленинграде. Последние два дня заседания конгресса проходили в Москве. Делегацию английских физиологов возглавляли лауреаты Нобелевской премии А. В. Хилл и Э. Эдриан.

19 августа Капица записывает в своем ежедневнике: «Приехал Адриан, и говорили о Кем[бридже]».

В тот же день он пишет жене письмо, которое по тону и настроению резко отличается от всех его предыдущих писем Анне Алексеевне:

«№ 112

19 августа 1935 г., Москва

…Пишу тебе деловое письмо. <…> Твой приезд. Я почти уверен теперь, что тебя не задержат и выпустят обратно. <…>

Все, что ты послала <…> я получил, так что теперь я хорошо экипирован. <…> Главное, поторопи Rosb[aud'a] с [фото]аппаратом, я так скучаю. Привези мой Roll-Reflex с увеличительным аппаратом к нему, он в лаборатории. Привези 12 штук катушек пленок[87]. Привези мою трубку и кисет, я серьезно подумываю о том, что пора начать курить, и лучше трубку, чем папиросы. Сама приезжай как можно скорее, тебе полпредство *должно все устроить и оплатить.* Если что не сделают, пиши. Я тут буду скандалить. Поторопись с обратной английской визой. Визы через Германию и прочес тебе должно раздобыть полпредство. Если нет парохода, приезжай прямо на поезде в Москву, поеду тебя встречать в Негорелое. <…>

С Адрианом я послал план миролюбивого решения. Узнай, что об этом решении думает R., и расскажи мне. Мне еще не удалось узнать точно, что наши думают о нем…»

«План миролюбивого решения» Капицы — это так называемый «Доклад Эдриана», первое деловое письмо, написанное Капицей Резерфорду после его «задержания» в СССР в сентябре 1934 года (хотя написано оно и «в третьем лице» — для конспирации). Есть несколько вариантов этого текста (в том числе и рукописный беловик рукой Дирака, что свидетельствует о том, что над этим документом они работали вдвоем с Капицей, до приезда в Москву Эдриана). Этот документ, с сокращениями, опубликован в книге «Поль Дирак и физика XX века» (М.: Наука, 1990. С. 120–121).

«№ 171

19 августа 1935 г., Кембридж

…С моим отъездом все зависит сейчас от наших. У меня все готово. Так что я написала в полпредство и спросила, а как же насчет инструкций обо мне и могут ли они мне гарантировать, что я вернусь, потому что здесь остаются дети. Когда получу ответ, то напишу ответ. Мне интересно, как они среагируют на

это. Сегодня послала паспорт, чтобы поставили английскую визу. Если наши не будут себя глупо вести, то хочу выехать 31-го. <…>

Прости, что пишу неинтересные письма. Но подумай: как хорошо — мы опять будем вместе. Зверочек, это замечательно!..»

«№ 172

21 августа 1935 г., Кембридж

…Тут у меня вышла заминка с полпредством. Они исключительно неделовой народ. Я им написала письмо, спрашивая их, могут ли они мне гарантировать выезд из Союза и т. д. Они, вместо [того] чтобы ответить письмом, позвонили по телефону и сказали, что они этого сделать не могут, но они слышали, что Мо[лотов] и М[ежлаук] Тебя в этом уверили, и что это достаточно, и они не могут „перестраховывать“ их слов, и т. д.

Ты знаешь, как я медленно думаю, а тут еще по телефону. Я спросила только, можете ли мне визировать паспорт туда и обратно. Гражданин ответил, что узнает. На этом кончился разговор. Когда я повесила трубку, то начала соображать о разных вещах и нашла много интересного, что могла бы ему сказать, и очень жалела, что этого всего не сказала. И вдруг он звонит еще раз! С заявлением, что консул говорит, что у меня паспорт, который нельзя визировать туда и обратно. Я, уже все обдумав, говорю ему: во-первых, мой паспорт такой, что его можно визировать, и он *всегда* был визирован, и что и теперь я требую, чтобы это было сделано. Потом переходим опять на вопрос о гарантиях. Гражданин заявляет мне: вы требуете ответа от нас, мы этого сделать не можем, нам не позволяет этикет. Раз Мо[лотов] и М[ежлаук] сказали — это достаточно. Я спросила: а откуда вы знаете, что они сказали? Он ответил, что из Москвы. Тогда я спросила: почему же вы говорите это мне по телефону, а не отвечаете мне письмом на мое письмо? Я этого хочу, а по телефону мне разговаривать неинтересно, я даже не знаю, с кем я говорю. Гражданин обиделся и сказал: я же вам сказал: я — Виноградов. На что я ответила: это очень хорошо, но ведь я проверить этого не могу, и что меня удивляет, что они не могут этого мне написать, и что я по телефону таких заверений принимать не могу, и что я напишу в Москву обо всем этом. Гражданину слово Москва не понравилось, и он сказал, что он посоветуется. На этом наш неприятный разговор кончился. <…>

Очень мне не понравилось поведение нашего полпредства. Потом, когда я сказала, получили ли они извещение насчет оплаты моей поездки Академией, они заявили, что это я сама в Москве рассчитаюсь, что теперь мне надо самой покупать через

Интурист билет, а в Москве мне, мол, оплатят. А если давать мне билет здесь, то им надо инструкции из Москвы. Я думаю, что мы никогда от Академии не получим [за] мой проезд, так что если я поеду за свой счет — то третьим классом, зачем рисковать большей суммой? <…>

Вот видишь, как дела. Кр[окодил] говорит, чтобы я не смела и думать ехать без официального ответа. Что Ты на это скажешь?..»

Телеграмма
25 августа 1935 г., Москва

Указание о твоей обратной визе и оплате путевых расходов обещано направить полпредство завтра тчк Телеграфируй если встретишь трудности = *Капица*

«№ 174
29 августа 1935 г., Кембридж

…Полпредство не отвечает ни на одно письмо. И опять звонили по телефону и говорили, что поставят мне обратную визу и достанут билет. После этого я не слышала ни одного слова. Достали они билет или нет, и что сделано. Я принципиально веду с ними только чисто официальные отношения и никаких телефонных звонков не признаю. Поэтому мной написано было им письмо, где я сообщаю, что я категорически отказываюсь ехать, если я не получу от них письменного уведомления о том, что им известно, что мое возвращение не будет затруднено.

Я говорила об этом с Крокодилом, и он абсолютно со мной согласен. Я так много ему сейчас обязана за все его исключительно необыкновенно теплое и хорошее отношение, и он столько перенес из-за этого всего неприятностей, что я не считаю возможным ехать без того, что он будет знать, что я возвращусь. <…> Крокодил научен горьким опытом, что когда ему говорят на словах, то потом от этих слов с легкостью отказываются и ведут себя так, как будто ничего подобного не было. <…>

Сейчас самое трудное время. Все эти месяцы я жила мечтой, что наконец я смогу Тебя увидеть. И теперь, когда это так близко и исполнимо, на дороге стоят и ставятся препятствия.

Конечно, мое первое желание — это на все наплевать и ехать. Но я научилась от Тебя за эти месяцы выдержке и упорству, и то и другое находятся на суровом испытании. И никогда мне не было так трудно, как сейчас, но я чувствую, что мы с Тобой должны совершенно официально и на чистоту действовать. <…>

Зверушечка, страшно больно, что все так случилось и я, наверное, пропущу пароход. Но тогда поеду поездом через

Германию и Варшаву…»

Телеграмма
29 августа 1935 г., Кембридж
Полпредство отказывается дать письменную гарантию моего благополучного возвращения тчк Если этого не будет сделано немедленно не смогу отплыть 31-го тчк Телеграфируйте им инструкции = *Анна*

Телеграмма
29 августа 1935 г., Москва
Считай обратную визу достаточной гарантией благополучного возвращения тчк Отплывай тридцать первого если получишь обратную визу тчк Телеграфируй свое решение крепко целую = *Петр*

Радиограмма через Берлин
29 августа 1935 г., Кембридж
Получила совет не выезжать без письменного подтверждения инструкций тчк Полпредство не отвечает на письма тчк В чем трудность дать письменное подтверждение тчк Поеду поездом если пропущу пароход = *Анна*

Срочная телеграмма
30 августа 1935 г., Москва
Ничего не могу сегодня сделать потому что выходной тчк Попробую позвонить по телефону сегодня ночью около десяти твоего времени = *Петр*

Радиограмма (Радио Берлин)
31 августа 1935 г., Кембридж
Пошла в полпредство с друзьями тчк Была не только не успокоена но было отказано в разговоре в присутствии третьего лица тчк Отнеслись очень грубо и выгнали = *Анна*

«№ 175
31 августа 1935 г., Кембридж
…Пишу Тебе как раз после визита в наше полпредство. После Твоего телефонного звонка на следующее утро я позвонила G. I. Taylor'у и попросила его поехать со мной в наше полпредство. Он сейчас же согласился. После этого я позвонила в полпредство и спросила, будет ли заместитель М[айского][88] там, потому что я хочу его видеть. Он сам подошел к телефону и сказал, что я могу его видеть, если приеду. И условились, что я

приеду в час дня. Тут я по глупости не предупредила его, что приеду с G. I. Когда мы приехали в полпредство и о нас доложили, то мы вошли, и я представила G. I. и сказала, что привела его с собой как Твоего друга и коллегу и тоже потому, что мне бы хотелось говорить в его присутствии. Тут он очень грубо сказал, что не считает возможным говорить в присутствии третьего лица и что это была с моей стороны уловка его поймать. Я сказала, что у меня не было ни малейшего желания его поймать, потому именно и приехала с G. I., потому что хотела говорить при нем, и что я очень извиняюсь, если у него такое впечатление. <…> Тут он стал еще грубее и наговорил много лишних слов мне (что ничего) и G. I. поставил в неприятное положение, говоря ему, что он, конечно, не может говорить при совершенно неизвестном ему человеке и т. д. Я сказала, что я совершенно понимаю мою ошибку и считаю, что самое лучшее — нам уйти, но я бы хотела получить от него ответ на мой вопрос: если я у него попрошу интервью и скажу ему заранее, что это интервью будет с третьим лицом, то согласится ли он? Потому что я понимаю, что он сейчас поставлен в неудобное положение и т. д. На что получила в очень резкой и грубой форме ответ, что он не находит вообще возможным для себя говорить со мной о моих личных делах в присутствии кого бы то ни было и что он, во всяком случае, мне в этом откажет. Потом он стал еще грубее и попросту **почти что выгнал нас, не попрощавшись** (подчеркнуто чернилами П. Л. Капицей. — *П. Р.*). <…> Этому заму хотелось мне доставить как можно больше неприятности, но я со всем **сейчас же согласилась и признала совершенно открыто, что сделала необдуманную глупость, не предупредив** (подчеркнуто П. Л. Капицей. — *П. Р.*)…»

«№ 176

3 сентября 1935 г., Кембридж

…Сейчас говорила с Р[езерфордом] насчет всех происшествий. **Он категорически мне советует не ехать без письменного заверения после всего того, что произошло в полпредстве. Он считает, что это было возмутительно с их стороны. Что я имею право ходить куда угодно с кем угодно, и делать из-за этого грубые выходки совершенно невозможно** (подчеркнуто П. Л. Капицей. — *П. Р.*) Что совершенно ясно, что полпредство здесь считает, что меня обратно не выпустят, и поэтому не хотят брать на себя никакой ответственности.

Но, конечно, если это даже и так, то, во всяком случае, быть грубыми с посетителями не полагается. **Я не помню его точных слов, но это было сказано: „Не заставляйте меня указать вам**

на дверь“ (подчеркнуто П. Л. Капицей — *П. Р.*). После чего мы сейчас же ушли. <…>

R. и все Твои друзья считают совершенно невозможным, чтобы я ехала без письменного подтверждения о моем возвращении…»

«№ 115

4 сентября 1935 г., Москва

Драгоценный Крысеночек,

Ты не можешь себе представить мое огорчение, что ты не приехала сейчас. Еще больше меня огорчает, что возникли все эти осложнения, теперь будем долго их расхлебывать. Я, главное, не вижу, зачем это все так осложнилось. Конечно, ты сама должна была стараться <…> не обострять всего этого. Тут ты права, что ты должна была предупредить о приходе G. I. Потом, ты должна стараться сохранить дружеский тон. Ну, если тебе этого не хочется, то ссориться незачем. Если ты взяла кого-либо с собой, то это должен был быть человек, которого знали в полпредстве, например L[aski] или сам Кр[окодил]. Конечно, это нисколько не уменьшает вину грубияна.

Это дело мне обещали расследовать, и если все будет установлено, то, наверное, кому нужно нагорит. Но нам-то с тобой что от этого? Всех грубиянов и дураков не перевоспитаешь. А у нас есть более крупное дело — воссоздать мою научную работу.

Сегодня я написал письмо Мо[лотову] по всему этому делу и как только получу от него ответ, то, конечно, сообщу тебе либо по телефону, либо телеграммой, либо письмом, в зависимости от необходимости. <…>

Я очень жалею, дорогая моя, что ты приедешь, когда Dir[ac] уже уедет, а так хорошо бы было погулять втроем. Ну вот, если бы ты у меня не была такой скандалисткой, то, наверное, и погуляли бы.

Да, Крысеночек, надо быть последовательной. Если уж ты решила верить, то уж верь. А это англичане верят бумажкам, потому что ее можно обжаловать в парламенте, и они из бумаги сделали что-то святое. Но в революционной стране решает вопрос рациональность. Нужно, чтобы я работал, будут мне помогать, и к тебе будут относиться хорошо, а соблюдать хорошие отношения всегда важно. А если и ломать копья, то насчет крупных вещей вроде покупки лаборатории. Тут я не шел ни на какие компромиссы. И теперь, когда все это улаживается, то, конечно, твои поездки <…> будут необходимы, и они являются, так сказать, следствием, а делать их причиной очень нерационально.

Ну, да я думаю, что ты все сама теперь хорошо понимаешь. Я думаю, что дней через 10–15 все выяснится.

Я очень рад, что Кр[окодил] благоприятно относится к моему предложению (речь идет о предложениях Капицы в так называемом „Докладе Эдриана“. — *П. Р.*). Пускай он напишет все свои соображения и пришлет. Положим, ты можешь их привезти.

Я за эти дни изнервничался, так как вовсю защищал тебя. Не спал и прочее. Меня сейчас все еще легко вывести из баланса…»

«№ 116

5 сентября 1935 г., Москва

…Сегодня получил твое 175 письмо с описанием твоего посещения полпредства. <…> Я вчера тебе уже писал, что я отношусь чрезвычайно серьезно ко всему случившемуся и уже написал Мо[лотову]. Все тут знают, что обидеть тебя в сто раз хуже, чем обидеть меня, и тоже, надеюсь, поймут, что только доброжелательным отношением можно чего-либо добиться. Они уж понемногу бросают со мной метод дрессировки, и надеюсь, что никогда его не применят к тебе. Отношение к тебе в полпредстве меня очень обидело и возмутило. Я, признаться, был уверен, что ты сама покипятилась, но теперь вижу, что ты вела себя совсем хорошо…»

«№ 120

13 сентября 1935 г., Москва

…Как я скучаю без тебя, ты себе представить не можешь. Я так настроился на твой приезд, думал, что все в порядке, вдруг все сорвалось. Как мне хотелось бы все бросить и закопаться в какую-нибудь проблему научную. Вот уже год, как я ничего путного не сделал. <…>

Сегодня получил твое 179-е письмо. Я все еще никак тебя не могу понять. Ведь то, что тов. К[аган] сволочь, выражаясь мягко, нет сомнения. Но не наше с тобой дело воспитывать наших дипломатов. Можно на них пожаловаться, что я и сделал. Ну, может быть, ему будет нагоняй, может, нет, не знаю. Но перед нами с тобой другая задача — это научная работа в Союзе. Я давно не мешаю вопросы личного самолюбия с вопросами дела. Ну вот, тов. К., может быть, и будет наказан, и поделом. Но все же пострадали мы с тобой больше него. Зачем нам еще месяц разлуки? Зачем откладывать переговоры и все прочее? Я, конечно, поставил вопрос о тебе очень серьезно. Наши взъерепенились. Комиссариат тов. К. (т. е. НКИД. — *П. Р.*) тоже, и началась каша. Нам с тобой от нее никакой корысти. Так что черт его знает, что получится!

Тут был шанс все воссоздать. Я считал, что надо было идти и поверить тем обещаниям, которые делались мне, и просил тебя об этом. Я считал, что надо их принять, все равно хуже того положения, в котором я, человек быть не может. К чему упрямиться с твоей стороны? Я все, конечно, сделаю, чтобы ты получила удовлетворение, так как я говорил тебе, что достаточно тронуть одного твоего волоса, чтобы я был готов пойти на все. Тебе этого заверения было мало, ты хотела письменное. Мне кажется, оно меньше тебе даст. Так вот, любимейший, дорогой Крысеночек, когда я тебе напишу или протелеграфирую, так ты уж делай, как я попрошу, а то мы с тобой будем без конца барахтаться в конфликтах. Ладно?!.»

Миссия Ф. Я. Рабиновича

С Филиппом Яковлевичем Рабиновичем, начальником экспортного управления Наркомата внешней торговли СССР, Капица познакомился 17 февраля 1935 года у А. Н. Фрумкина (об этом есть запись в его ежедневнике). О своем новом знакомом Петр Леонидович впервые написал жене 4 апреля 1935 года:

«Вечером сидели у одного знакомого, Р[абиновича]. Он, между прочим, крупный работник и приятель твоего отца. Также он приятель Ш[уры Клушиной] и ее бывшего мужа (т. е. В. В. Куйбышева. — *П. Р.*).»

16 сентября Капица пишет жене:

«Вчера после театра у меня был тов. Р. Он едет в Англию в конце сентября. По-видимому, его приятель Майский все ему рассказал. Он крупный пар[тиец], прекрасно говорит по-английски (был директором Аркоса[89]). Я его часто встречал. Он заинтересовался моим делом и говорит, что хочет помочь. Не знаю, сумеет ли. Я очень сомневаюсь, но на днях поговорю с ним подробно, тогда напишу. Мне, Анечка, кажется, что все это безнадежно». Два дня спустя, 18 сентября, Капица снова пишет жене: «…Я сегодня гулял все утро с тов. Р., о котором я тебе писал в прошлом письме. Сейчас еще затруднительно писать о возможных последствиях нашего разговора <…>. Он уезжает 25-го и будет в Кембридже 30-го или 1-го. Я просил его зайти к тебе, и также, думаю, было бы очень хорошо, если бы ты его познакомила с R[utherford'ом]. Он очень умный и славный человек. Может быть, он наладит все в полпредстве, он знает М[айского] и тов. К[агана]».

22 сентября Майский из санатория «Сосны» пишет

В. М. Молотову:

«…Совершенно случайно мне стало известно, что т. Ф. Я. Рабинович знаком с проф. Капица <…> и что проф. Капица виделся с ним в последние дни и вел беседу о создавшемся для него положении. Во время этих бесед проф. Капица сообщил т. Рабиновичу, будто бы лорд Рэтерфорд заявил жене Капица о готовности продать СССР кембриджскую лабораторию Капицы (между тем примерно полгода тому назад лорд Рэтерфорд такую продажу отклонил в письме на имя советника полпредства в Лондоне т. Кагана). Далее Капица говорил, что если бы т. Рабинович, который 26 сентября отправляется по командировке НКВТ в Англию, повидал его жену и устно ее заверил, что в случае надобности она получит разрешение на поездку в Кембридж за детьми, то весь недавно происшедший инцидент был бы ликвидирован и жена его, Капицы, приехала бы в СССР. В связи с этим Капица просил т. Рабиновича взять на себя переговоры с его женой и лордом Рэтерфордом об урегулировании всех возникших затруднений и продаже лаборатории.

Т. Рабинович готов взять на себя эту миссию, но, конечно, только с Вашей санкции.

Лично я считал бы весьма желательным скорейшую ликвидацию всего этого дела, дающего повод враждебным нам элементам в Англии и других странах вести клеветническую агитацию против СССР, и склонен думать, что т. Рабиновича следовало бы уполномочить попытаться путем частных переговоров с лордом Рэтерфордом выяснить, действительно ли он готов продать лабораторию; если данное сообщение Капицы подтвердится, практически наладить эту операцию. Равным образом т. Рабиновичу следовало бы поручить сделать попытку при полном сохранении нашей принципиальной позиции (не давать никаких официальных гарантий ни письменно, ни при свидетелях о получении женой Капицы разрешения на выезд из СССР) осуществить переезд жены Капицы в Москву.

С товарищеским приветом,

Полпред СССР в Великобритании *И. Майский».*

(АП РФ. Ф. *3. Он. 33. Д. 147. Л. 75–76).*

В считанные дни предложение Майского превращается в постановление Политбюро:

«25 сентября 1935 г.

„Особая папка“

Предложить т. Рабиновичу помочь полпредству СССР в Лондоне в переговорах с Ротерфордом о продаже лаборатории

Капицы, но никаких „заверений“ жене Капицы не давать». (АН в решениях Политбюро. / Сост. В. Д. Есаков. М.: РОССПЕН, 2000. С. 195).

Как видим, недоброжелательное отношение советских властей к Анне Алексеевне нашло свое отражение в письме Майского и даже в постановлении Политбюро! К сожалению, оно повлияло и на Ф. Я. Рабиновича, который в своем отчете об исполнении задания Политбюро от 25 сентября 1935 года нашел нужным написать следующие строки об Анне Алексеевне:

«Между позицией, которую занимал Ротерфорд до отъезда в СССР жены Капицы, и той, которую он занял в разговоре со мной, есть совершенно очевидная и громадная разница.

Как известно, в своих предыдущих письмах на имя Полпредства Ротерфорд категорически настаивал на том, чтобы Советское Правительство дало Капице возможность вернуться в Англию для продолжения научной работы.

Для меня нет теперь никакого сомнения в том, что свои письма Ротерфорд писал по настоянию жены Капицы и что выступления других деятелей Англии в прессе по вопросу о Капице делались под ее влиянием.

У меня создалось впечатление, что после ее отъезда в СССР научные круги в Кембридже, в том числе и Ротерфорд, облегченно вздохнули и, по-видимому, переменили свое отношение к этому делу.

Я имею основание так думать потому, что я решил при переговорах с Ротерфордом ничего ему не доказывать и ни в чем его не убеждать, а в деловом порядке попросил передать нам лабораторию. Прием, который он мне оказал, свидетельствует о том, что еще до моего приезда руководящие круги Университета, в том числе Ротерфорд, круто переменили свое отношение ко всей истории с Капицей.

Ф. Рабинович».

(ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 29. Д. 72. Л. 210–214. Подлинник).

Последняя фраза отчета Рабиновича противоречит его утверждению о той роли, которую будто бы сыграл отъезд Анны Алексеевны из Кембриджа в «крутом» изменении позиции Резерфорда и Кембриджского университета в «деле» Капицы. (Кстати, Анна Алексеевна выехала из Кембриджа чуть ли не накануне приезда Рабиновича в Лондон.) Решающую роль, на наш взгляд, в изменении позиции Резерфорда сыграла газетная «шумиха» апреля-мая 1935 года в которой и сам Резерфорд принял участие своим замечательным письмом редактору

«Таймс». Реакция властей СССР на это письмо Резерфорда и на другие публикации в западной печати с полной очевидностью показала, что Кембридж имеет дело с тоталитарным государством, которое никогда не пойдет ни на какие уступки и Капицу в Англию не отпустит даже на самый короткий срок.

Приезд Анны Алексеевны в Москву

Из ежедневника П. Л. Капицы: «21 сентября. …Говорил [по телефону] с Аней, и она решила ехать. У нее сидит Dir[ac]».

Телеграмма
22 сентября 1935 г., Москва
Инструкции отправлены телеграфом тчк Обращайся в полпредство за визами и билетом тчк Телеграфируй когда выедешь тчк Буду встречать на границе тчк Крепко целую = *Петр*

27 сентября Петр Леонидович записывает в ежедневнике: «Получил Анину телеграмму насчет приезда…» 28-го: «…Поехал в Негорелое встречать Аню». 29-го: «Приехали [в] 12 час. [в] Негорелое. Получил Анину телеграм[му]. Гуляли с 2 провожатыми с собак[ой]. Вечером 8.5 встретили Аню. Вещи не осматрива[ли]. Получили отдель[ное] купе в международном [вагоне]». 30-го: «Приехали с Аней в Москву…»

Анна Алексеевна провела в Москве и Ленинграде около двух месяцев.

23 ноября Капица пишет в ежедневнике: «…Уехала Аня в Кембридж».

Последний месяц разлуки

В письме № 1 (после возвращения Анны Алексеевны в Кембридж супруги начали новую нумерацию своих писем) Анна Алексеевна 27 ноября 1935 года пишет Петру Леонидовичу:

«…Пишу Тебе в поезде между Лондоном и Кембриджем, возвращаясь от тов. Озер[ского] (торгпред СССР в Англии. — *П. Р.*). Он был очень любезен, и с ним все благополучно. Передала письмо Ф. Я. [Рабиновича], и он записал все, что я его просила, а именно: 1) Переправить, во что бы то ни стало, большой генератор на последнем пароходе в Ленинград. Он при мне снесся с каким-то инженером или что-то в этом роде от Vickers'a[90] и спросил, возможно ли это сделать. Дело в том, что большой генератор Vickers'a перевозят из лаборатории до парохода. Оказалось, что только они и умеют это делать. <…> Все должно быть готово к 1 — му, когда можно будет начать перевозку.

К сожалению, дипкурьер едет только 10-го. 12-го он возьмет чемодан с бумагами, я его уложу и привезу, когда мне сообщат, в Лондон. Сделаю опись документов, пошлю Тебе копию, другую — в Аркос, а третью оставлю себе. Все наши частные вещи будут также отправлены на пароходе. <…>

У меня осталось впечатление, что наши взялись серьезно за это дело. <…> Так что Ты получишь библиотеку и манускрипты около 16–20 декабря. <…>

Дело обстоит так: 30-го [ноября] последнее голосование [в Кембриджском университете], и после этого все будет официально закончено.

Большая машина уедет первая, и потом будут постепенно высылаться приборы — по мере того, как будут поступать или оригиналы будут заменены. Университет в панике насчет людей, страшно боится, что их кто-либо будет уговаривать ехать (официально). <…> P[earson] очень хочет ехать. R[utherford] его не хочет отпускать, пока он не обучит Sadler'a всем премудростям. <…> Вообще R. боится оставить лабораторию без P. и считает, что самое лучшее, чтобы ехал сначала L[aurman] на шесть месяцев, потом P., а потом снова сговориться надо. P. истосковался по Тебе и по работе, говорит, его задергали здесь и работа не та, что с Тобой. Ехать ему очень хочется. Условия ему подходят. Я, со своей стороны, думаю, что если он поедет зимой, то ему надо [дать] некоторую сумму подъемных на одежду. Это мое мнение. И он поехал бы хоть сейчас, вся задержка в R. Думаю, что и он уговорится. Дело в том, что Университет страшно жмет на R., чтобы лаборатория здесь работала. Вообще они считают, что R. is an innocent baby[91]. R., конечно, смеется на такие замечания, но с Университетом не хочет ссориться, да и себя обижать не хочет, но говорит, что только для Тебя и *никого* другого он на всю эту историю согласился. <…> Ребят нашла в прекрасном виде, в доме все в порядке и все веселы.

Целую крепко, и очень люблю, и постараюсь все устроить…»

«№ 2

2 декабря 1935 г., Кембридж

…Аппараты уезжают на этой неделе. Большой генератор, 3 [92]. Это все было сделано за последние два дня. Рабочие от Vickers'a работали день и ночь с субботы на воскресенье, и теперь все уже отсоединено и сделано. Завтра будут перевозить большую машину, которая будет отправлена в Лондон, там осмотрена Lloyds underwriters[93], ими и запакована и отправлена. Vickers берут на себя ответственность только до парохода, говорят, что в Союзе они никогда не отвечают, потому что там плохо грузят

ящики на платформы, что они торчат во все стороны и очень часто встречным поездом груз бывает поврежден. Прими это к сведению и посмотри, чтобы когда в Ленинград все придет, чтобы было погружено хорошо. Я бы советовала Тебе поехать их встретить, я пошлю телеграмму, когда все будет погружено и отправлено. Одновременно отправляем мебель из лаборатории и все книги из лаборатории и дома. Также пианино и всю мелочь домашнюю. Здесь, в Кембридже, считают, что мало отправить всю лабораторию, но они приедут убедиться, что все установлено, все на месте и все работает. По всей вероятности, приедет John [Кокрофт], как только все будет отправлено, так что ревизия будет серьезная, и пусть наши это примут к сведению. Вообще, насколько мне кажется, будет Институт Физических Проблем филиалом Кембриджа, все собираются, и все хотят или приехать, или читать лекции, или работать. Очень оскандалятся наши, если будет идти так работа, как она идет сейчас. Интерес к этому предприятию колоссальный. <…>

John'а волнует вопрос кабелей — возможно ли будет их достать и пр. Вообще хорошо, что я здесь. Масса всяких вопросов, на которые я могу ответить или Тебя запросить, и вообще оказалось, когда я приехала, что гораздо больше можно послать, чем казалось раньше. Сейчас они все чувствуют Твое нетерпение, оно передается через меня, я тоже всех тормошу, тороплю, торчу в лаборатории и, главное, говорю с Тобой по телефону. Эмиль [Лаурман] все еще не знает, что ему делать, я его ругаю изредка и оставляю думать, потом ругаю опять. Он по каким-то семейным обстоятельствам говорит, что хотел бы £ 70, а не £ 60, но если очень трудно, то согласится на £ 60. Я сказала, что напишу Тебе, и если Ты найдешь возможным, то, конечно, сделаешь, но чтобы он помнил, что сейчас интересы страны стали Твоими интересами. Он удивился! Pearson выше всех похвал, тоскует по Тебе, как невеста…»

«№ 2

3 декабря 1935 г., Москва

…Я тебе не писал эти дни, так как вообще это время много писал, но вчера кончил[94]. Я вообще это время неважно себя чувствовал, немного шалило сердце, видно после гриппа. Но теперь мне лучше. В институте дела идут понемногу, медленно и медленно. Боюсь, что к приезду машины не все будет готово[95]. <…> Но вот что хорошо. Шурин механик Мин[аков] приехал и взялся за работу. Видно, он дельный парень и предан очень Шаль[никову]. Это характеризует хорошо Шаль[никова], если к нему так привязываются люди. Но самым большим сюрпризом

был приезд сюда Колькиного стеклодува Петушкова. Он приехал проситься на работу сам, специально в Москву. Ну, конечно, я его принял. Он немного жилистый парень, но, говорят, лучший стеклодув в Союзе. Так что сейчас кадры подбираются. Есть, значит, уже 8 человек. Я, Шальников, потом я при[гласил] Стр[елкова]. Хотя [я] с ним не говорил, но, говорят, он хочет ко мне. Потом мастер М[инаков] и стеклодув П[етушков], Pearson, и если Laur[man] перестанет валять дурака, то он. Наконец, первого [декабря] появилась Оля Ст[ецкая]. Она принципиально согласна, только ей надо сдать работу и, конечно, надо оформить все. Так вот, это все прекрасные люди и вполне достаточное ядро, кругом которого будет расти институт. <…>

Как часто, Крысеночек, мне недостает тебя. <…> Я так привык к тебе, что всегда без тебя тяжело и скучно. Как часто хотелось бы много сказать и поговорить. Боюсь думать, что скоро тебя увижу опять, через месяц ведь ты должна опять приехать, и с ребятами. Как они выросли и изменились, ведь полтора года я их не видел. Поди ж [ты], меня позабыли. Ну, хорошо, что они хотят сюда. Надо им будет купить санки, лопаты, чтобы они хорошенько кувыркались в снегу. Но мне страшно, что будет такая резкая перемена климата, ведь январь — самый холодный месяц. Может быть, все же их отправить в Крым? <…>

Но как много хлопот теперь у тебя, Крысеночек. Мне даже очень страшно, что ты переутомишься. Так ты помни, что у всякого человека есть предел нагрузки и, кроме него, никто не знает, где этот предел. Следи сама за собой, меня ведь нет рядом с тобой…»

«№ 3

7 декабря 1935 г., Кембридж

…Я очень рада, что О. С[тецкая] приехала, и надеюсь, что скоро у Тебя настанет образцовый порядок и, главное, вы сможете уменьшить ваш бюрократический аппарат. Он особенно поражает, когда снова возвращаешься в Mond Lab.

Все машины и аппараты уже должны быть на пароходе, так как „Сибирь“ должна была уходить сегодня, но она, по последним сведениям, уходит 10-го. В Аркосе мне сказали, что не только „Сибирь“, но и следующий пароход, идут в Ленинград. Если это так, то на нем также будет отправлено все, что возможно. <…> В Твоем столе, в ящиках, оставлена Твоя научная переписка и все присланные за этот год оттиски, так что Ты можешь сразу сесть и заниматься. Около 10-го едет дипкурьер, и ему дается чемодан с Твоими записками. Он довольно большой, а главное тяжелый. Ну, уж пускай везет. <…>

Ты, Петюш, не беспокойся, у меня дела много, но это мне нравится, а главное, я вижу результаты, что очень приятно. Знаешь, я почти никогда не обедаю и не завтракаю дома! Все хожу в гости, все очень милы, и всем хочется все знать. J. J. (Дж. Дж. Томсон. — *П. Р.*) велел Тебе передать, что они очень Тебя ценили и очень жалеют, что лишились Тебя в колледже. Он был очень мил.

Я постараюсь послать все остальные вещи на следующем пароходе, чтобы самим ехать налегке. Я думаю, что мы сможем выехать вскоре после Рождества, но я не хочу бросать тут дела на полдороге, лучше все закончить. <…>

Через неделю, 14-го, я устраиваю прощальный вечер, и приходит много народу. Это самый удобный и простой способ со всеми проститься. К нам собираются в гости пол-Кембриджа! Да из Лондона тоже приедут, всем интересно, и все хотят проехаться.

Ребята здоровы и веселы и очень хотят ехать. Ты, когда встретишь Андрейку, должен ему сказать, что Ты думал, что он маленький, а он такой большой! Это у нас уже решено, что Ты так скажешь. Пожалуйста, не забудь. Сереже говори что-нибудь в этом же роде. Санки надо купить. Знаешь, каждому простые деревянные, чтобы могли возить их за собой, маленькие и легкие. Они оба мечтают Тебя увидеть, совсем не забыли и все время говорят о Тебе…»

«№ 3

9 декабря 1935 г., Москва

…Получил твое письмо, 2-е, и заказал разговор с Кембриджем. Поехал в институт. Там начали немного шевелиться. Наконец-то, давно пора. Со строителями беседовал 1½ часа. Я неумолим: пока *все* сделано не будет, не примем здания. Они говорят, что переделать некоторые двери возьмет 1½ месяца. Я говорил: буду ждать хоть год, но чтобы все было сделано до конца…»

«№ 4

11 декабря 1935 г., Кембридж

…Вчера была в Аркосе и отдала Твои записки и диапозитивы. Курьеру чемодан показался очень тяжелым, и полпред, смеясь, сказал: как бы курьера не заподозрили, что он везет что-то не то, что полагается!

Посылаю Тебе список вещей, конечно, очень короткий. Такой же лежит в чемодане, и такой же даю курьеру, с ключами. Чемодан будет доставлен Фил[иппу] Яков[левичу Рабиновичу], и он позвонит Тебе. Вчера же я была на пристани и видела человека

от Harrison'а[96]. Все будет погружено на „Сибирь“, и сегодня ночью она уходит в Ленинград. Всех ящиков 19 штук, личных и лабораторных вещей. Прилагаю список их. Лаборатория сможет выслать еще вещи на следующем [пароходе]. „Смольный“, по здешним сведениям, идет тоже в Ленинград…»

«№ 4

11 декабря 1935 г., Москва

…Ты у меня молодец, работаешь, живешь, как маятник. Боюсь, тебе тут скучно будет, там к тебе все в гости ходят, а тут нас будут еще долго побаиваться. Но вот я живу здесь второй год спокойной жизнью, и мне это нисколько не трудно. Но главное, наладить работу и скорее за опыты. Но раньше марта трудно ждать, что все наладится, хотя я и нажимаю вовсю. <…> Шальников помогает мне хорошо, без него было бы трудно. Но мерзавцы строители все переделывают и перекрашивают, нам не дают покоя. Хотя сейчас строители начали работать хорошо, вернее энергично. Вывели сырость во многих местах и немного подчистились и доводят все до конца.

Я занят подготовкой к монтажу, тут мне трудно, т. к. я не знаю фирм и работников здесь достаточно, но это все наладится. Затирает нас с различной мелочью, совсем пустяки, как умывальники, выключатели, материя для занавесок, латунь и медь для мастерских и пр., и пр., и пр., и пр.

Все хлопоты и заботы о такой ерунде, о которой вообще мне не приходилось и думать. Но, слава Богу, нету научной работы, и меня это не так еще раздражает. Но меня коробит при мысли, как будет дальше, другой раз я заснуть не могу от кошмарных мыслей. <…>

Вечером, после 4-х, я работал до поздней ночи над чертежами монтировки. Сегодня собираюсь в театр, а завтра — в Болшево, погулять, а то я не ходил все это время. Так что завтра целый день буду отдыхать. 13-го буду звонить тебе. Твои разговоры я очень люблю, но потом долго не могу заснуть, так это меня волнует…»

«№ 5

13–15 декабря 1935 г., Москва

…Получил твою телеграмму и рад, что все отправлено. Оль[берт] и Ш[альников] поедут встречать, а я буду тут орудовать.

15 [декабря]. Вот второй день, как до тебя не могу дозвониться, говорят, порваны все провода, и не у нас, а где-то за границей. Остался только один, и тот загружен

дип[ломатическими] и прав[ительственными] переговорами. Вчера получил телеграмму от друзей, собравшихся у тебя. Видно, это твой последний раут — прощальный. Потом вчера получил перечень <…> содержания ящика. Я был очень огорчен, что не послали мой „Менделеев кабинет“[97]. Он мне очень нужен. Пока <…> идет монтаж, я мог бы наладить рост кристаллов. К тому же, его надо рассматривать как мой „personal“, так как ½ веществ посланы мне лично разными учеными. Скажи, чтобы его послали. Потом все мои личные приборы для измерения сопротивления во вращающемся поле и все прочее (спектрограф тоже мне очень нужен). Потом мне *необходим* список со сроками, когда это будет послано, а то я не могу планировать свою работу. Нажми на John’a, чтобы он не медля это сделал. <…>

Да, вот, я не заметил в списке проволочек кварцевой нити, а также те образцы металлов, над которыми я работал в магнитном поле (это большой продолговатый ящик с целым рядом отделений). Ну вот, сегодня Ш[альников] и Ольберт едут в Ленинград встречать груз. В 20-х числах будем ждать его в Москве. Я остаюсь здесь. <…>

Вчера играл в шахматы с Ал[ексеем] Ник[олаевичем Бахом]. Славный старик, но мы с ним не согласны в одном. Он какой-то вялый. Я ему говорю, что научное хозяйство в отвратительном состоянии, а он говорит: да, это правда, что поделаешь, сейчас есть более важные вещи, чем наукой заниматься, и пр.

Вот тебе образчик, как может ученый добровольно отодвигаться на второй, а то и третий план. Я считаю, что науку нужно считать очень важной и значительной, а такой „inferiority complex“[98] убивает развитие науки у нас. Ученые должны стремиться занимать передовые места в развитие нашей культуры, а не мямлить, что „у нас есть что-то более важное“. Это уж дело руководителей разбираться, что самое важное и сколько внимания можно уделить науке, технике и пр. Но дело ученого — искать свое место в стране и в новом строе и не ждать, пока ему укажут, что ему делать. Мне такое положение совсем непонятно и чуждо. Вот тут у меня и создалось положение довольно комичное: я должен держаться в стороне, т. к. не могу в силу создавшегося положения вмешиваться [в] дела, и все прочее. А с другой стороны, по-видимому, я один из немногих ученых, которые искренне стремятся развить науку в Союзе.

Разговаривая с разными учеными, меня по-прежнему удивляет заявление многих из них: „Вам столько дают, вы, конечно, легко все можете делать, и пр., и пр.“, как будто у нас со всеми ими, так сказать, не были одинаковые начальные шансы, когда мы начинали работать. Как будто все, чего я достиг, упало

как дар небесный, а я не потратил черт знает сколько сил, моих нервов на все, чего я достиг. Люди — мерзавцы в этом отношении, они считают, что жизнь как-то несправедлива к ним, что все кругом виноваты, кроме [их] самих. Но ведь для чего существует борьба, как не [для того, чтобы] применять окружающие условия к тому, чтобы развивать свои способности и создавать себе условия работы?

Если становиться на точку зрения Баха и К°, то далеко не уедешь. Мне, например, как-то неудобно, что я в известной степени в привилегированных условиях по отношению [ко] многим работникам, но когда я хочу обобщить свое положение и подтянуть условия работы для них, то встречаю пассивное отношение. <…>

Поскорей бы работать. Тогда, за работой, позабудешь многое и перестанешь замечать окружающее…»

14 декабря Петр Леонидович получил радиограмму (через Берлин) от компании его друзей, собравшихся на прощальный вечер в его кембриджском доме: «Друзья собравшиеся на Хантингдон роуд шлют привет подписи следуют».

Несколько дней спустя пришло короткое письмо — страница, заполненная подписями. Примерно 50 подписей…

«№ 7

20 декабря 1935 г., Москва

…Приехали Ол[ьберт] и Ш[альников]. Груз уже пошел, и есть известие, что сегодня прибыла одна платформа в Москву. Значит, завтра будем разгружать. <…>

В институте дела налаживаются, все идет спокойнее и ровнее. Мастерская стала функционировать понемногу. <…> Сообщи мне телефоны Крокодила и John'a, так чтобы им можно было звонить после того, как ты уедешь. Скажи, что я буду давать телеграммы и регулярно разговаривать с John'ом насчет пересылки лаборатории.

Все хочу видеть В. И. [Межлаука], а он очень занят, и не могу его получить.

Сейчас звонил Ольб[ерт] и говорит, весь груз уже прибыл, будем завтра разгружать. Говорит, все в целости и сохранности.

Как я был рад, что ты собираешься уже 2–3-го выехать, но, милая, пока ты всех дел не закончишь, ты не приезжай, как мне и ни хочется тебя видеть скорее. <…>

Скажи John'y, что мне очень важно получить поскорее все остальные распределительные доски и ртутный распределитель <…> чтобы я мог привести комнаты в рабочее состояние. У меня

сейчас масса неотвеченных писем, но без тебя трудно за это взяться, так как никто не печатает у нас на иностранных машинках.

Конечно, пока что [у нас] хаос организации, и он всегда действует деморализующе; надо, по-видимому, иметь волю больше моей, чтобы при этом сохранять регулярность и точность работы. Но трудности здесь очень большие, но все же, я думаю, мы их все преодолеем. Скорей бы добраться до работы…»

«№ 8

21 декабря 1935 г., Москва

…Таможенники заставили нас раскупоривать решительно все. Причем мебель пришлось раскупоривать на дворе — мороз, ветер, я совсем продрог (часа три пришлось этим делом заниматься). Развернутую мебель потом погрузили и отправили на квартиру. Мебель поцарапали и попачкали. Я так и не знаю, все ли было перетащено, я уже не мог за всем следить. Ну, Бог с ними, хотя у нас в институте прут вовсю. У меня сперли рулетку. Шальников оставил портфель у меня в кабинете на 5–10 минут, и у него из него уперли 100 рублей. У нашего заведующего администрацией украли часы, а у Клеопольда все его жалование, он оставил его на столе. Что уперли с грузовика, я не знаю, т. к., конечно, не могу помнить все вещи. Но все же мне интересно знать, что у меня искали таможенники. Ну, что я мог такое провезти, что бы было нехорошее? В чем меня все еще подозревают? Ведь если мои вещи освобождены от пошлины, то это уж больше не таможенный досмотр, а просто обыск. Как после этого может быть речь о взаимном доверии? Ну их к черту всех! Поскорее зарыться в свою работу и позабыть об них всех. Конечно, теперь я, кроме своей научной работы, делать ничего не буду. Аминь!

Сегодня всё перевезли. Большой генератор очень картинно тащило 15 лошадей. Тяжеловозы работали исключительно хорошо и дружно, к ним не придерешься. <…>

Я сегодня немного возился с мебелью. Собрал верстак, сафьяновые стулья. Скажи ребятам, что их игрушки пришли благополучно. Андрюшина собачка без хвоста тоже очень патетично болталась, привязанная к какому-то свертку. <…>

Завтра месяц, как ты уехала, дорогой Крысеночек. Неужели я скоро увижу тебе и поросят? Мне ведь, кроме вас, никого не надо…»

26 декабря, после большого перерыва (последнее письмо было от 11 декабря) Анна Алексеевна пишет мужу в Москву.

Причина столь большого перерывы — не только частые телефонные разговоры, но и масса дел, обрушившихся на нее в тот последний ее кембриджский месяц.

«№ 5

26 декабря 1935 г., Кембридж

…Получила сразу 2 Твоих письма, все поручения исполню и все сделаю.

Насчет Менделеевского кабинета. Я думаю, я смогу часть его привезти с собой. Они тут хотят попробовать его заменить (для себя), чтобы осталась коллекция для Mond Laboratory. Ну, я думаю, их можно будет уговорить.

24-го я последний раз видела Rutherford'a. Он был совсем исключительно мил и трогателен, говорил много слов от души про Тебя, про будущее, про все вообще. И когда расстались, он вдруг меня поцеловал! Вот это единственный мужчина, который в Твое отсутствие меня целовал! Он был очень тронут коробочкой[99], и вообще я им очень довольна, хороший старик. И Тебя любит нежно, и это мне очень приятно.

Мы выезжаем 10-го, попрошу, чтобы на это число и билеты заказали. Дело в том, что я сдала дом, и новые люди приезжают 10-го. Мне тут надо кое-что сделать, поэтому я так задерживаюсь. Но это лучше. Я сначала думала ехать 3-го, но тут все устроилось лучше, и я смогу сама присмотреть за всем.

Ты получишь приветственную телеграмму. Это G. I. [Taylor] придумал, когда они все у меня были. А те, кто не мог прийти, меня зовут и письма пишут, и вообще всячески ухаживают. Ребята завалены подарками, какое-то невероятное количество, книги и игрушки. <…>

К нам собирается масса народу, начиная с апреля. Хочет приехать Glenn Millikan. И, конечно, придет повидать нас. Вообще, все теперь чувствуют, что в Москву можно ехать как домой, и собираются самые неожиданные люди.

Интересно, как все наладится. По всей вероятности, Твой институт будет опять интернациональным центром научной жизни, а это в Москве еще больше нужно, чем здесь. Будет много работы и хлопот, но, как говорит Debye, жизнь только [тогда] интересна, когда надо бороться и добиваться. А теперь мы с Тобой хорошо сработались и будем дальше так же работать. Самое главное то, что ни Ты, ни я никогда не смущаемся критикой и завистью, которую, конечно, и в Москве встретим в очень большом размере. Rutherford об это говорил и сказал, что этого было много в его жизни, но он просто не обращал внимания…»

И далее следуют поразительные строки, в которых Анна Алексеевна, талантливый художник, археолог, откровенно, и даже с гордостью, пишет о решении, которое, по-видимому, она приняла в самое последнее время, отправляя мужу в Москву оборудование его кембриджской лаборатории:

«Какие все чудаки, когда думают, что я должна что-то делать самостоятельно. А разве не замечательно создать себе помощников, на которых можно рассчитывать, и разве не так же замечательно быть таким помощником, на которого можно положиться? Всегда нужно знать, в каком месте человек может сделать больше всего. Конечно, я могу сделать больше всего, когда мы работаем вместе, под Твоим руководством. Люди, которые стремятся обязательно к самостоятельности, но на кот[орую] у них нет способностей, только зря тратят свою энергию, а для меня самое важное — это наладить Твою работу и следить, чтобы все было в порядке и Ты бы мог спокойно работать. Домашняя обстановка очень важна. Ведь они никто не понимают, что для нас с Тобой дом и лаборатория — одно и то же, и поэтому я заинтересована в том и другом.

Ты не беспокойся о расстановке вещей дома. Я сделаю, когда приеду. Ты занимайся лабораторией и отдыхом.

Ребята страшно хотят ехать. В восторге от того, что увидят Тебя (!) и снег (!). Я их посылаю на неделю на мельницу, чтобы они были в хорошем состоянии перед отъездом.

Через несколько дней я закажу билеты и пошлю наши паспорта в посольство…»

«№ 5-а

27 декабря 1935 г., Кембридж

Получила сегодня от Тебя письмо № 7 и поэтому приписываю еще в мое письмо. Ты сегодня будешь звонить по телефону, и я Тебе все скажу, что надо, но на всякий случай тоже и напишу.

Во-первых, сейчас все уехали, Рождество, и никого нет. Поэтому задерживаюсь с поручениями. Чертежи Weiss'овского магнита отправила сегодня аэропланом (полюса и детали). Все деликатные приборы будут запакованы Cambridge Instrument C° и, по всей вероятности, отправлены на пароходе, идущем в Мурманск около 7-го. Твой ящик с образцами металлов, над которыми Ты работал, уже отправлен на втором пароходе, т. е. 14-го на „Смольном“. Менделеевский кабинет, думаю, что вышлют тоже 7-го. Вот адреса всех научных обществ, всюду я уже сама написала и послала адрес. <…> Я написала всем, чтобы

пересылали всё Тебе в Москву.

Сегодня напишу de Haas'у письмо. Здорово выходит: Ты в Москве, а секретарь в Кембридже! Но ничего, мало путаем. <…>

Авто закажу и куплю, есть лучшая модель, немного дороже, где больше окон. Там, где в прошлой модели сзади парусина, теперь делают окно[100]. Очень красиво, приятно и все прочее! Двигатель тоже закажу через Аркос, только надо подробности знать из каталога, у меня нет дубликата.

Я все сделаю, Ты не беспокойся, ну, а если что забуду, тут можно будет поручить друзьям сделать. John возвращается 2-го, тогда все выясню. <…>

У меня будет масса багажа, но это ничего, мне даже весело думать, как поедем. Ружье купила и все причиндалы тоже.

Ребята в страшном волнении, так что все хорошо. Целую крепко и очень, очень люблю.

Твой *Крыс».*

«№ 9

27–28 декабря 1935 г., Москва

…Посылаю тебе твой интернациональный permit[101] для управления автомобилем. Ты только привези его сюда обратно, т. к. по нему ты получишь здесь право езды без экзамена. Также посылаю identity book[102]. Ты всегда что-нибудь посеешь за собой. Посылаю отдельным пакетом.

Теперь я получил от Oxford Press письмо, они волнуются насчет гонорара за мою редакционную деятельность[103]. Мне решительно все равно, как они будут с ним обращаться, и ты урегулируй этот вопрос с ними. Скажи им, чтобы присылали мне все их научные издания и каталоги. <…>

Сегодня была приемка лаборатории. Наконец приняли здание. Комиссия приняла постройку как вполне удовлетворительную (3+). Но строители обещали сдать жилое строительство на отлично. Сейчас я очень занят монтажом и всем прочим. <…>

Сегодня был в школе, [над] которой мы шефствуем. Была там линейка пионеров и потом костер. Нас всех, меня, Шальникова и Шапошникова (секретарь Капицы. — *П. Р.*), выбрали почетными пионерами. Я был тронут, так как ведь это первое внимание, которое было оказано мне в Союзе. Теперь могу носить красный галстук. В особенности наслаждался Шура. Он произнес пионерам самую успешную речь. Она была очень коротка. „Ребята, — сказал он, — кто хочет, я буду катать на планере“. Гром несмолкаемых аплодисментов. <…>

Вот пускай Rutherford не позабудет послать мне свой портрет

последний. Писание английских писем я откладываю до твоего приезда.

Не позабудь привезти русскую пишущую машинку, у меня много корреспонденции, и тебе придется мне помогать. Рад, что поговорил с тобой. Сейчас надо спать, а завтра допишу письмо.

28 [*декабря*]. <…> Сейчас утром заходила Ш[ура Клушина]. Она думает создавать научный журнал для юношества и предлагает мне быть редактором. Я, конечно, сочувствую очень всему, что делается, чтобы пробудить в юношестве интерес к науке и технике, но выступать редактором, я не совсем уверен, будет ли хорошо. Мне кажется, я только тогда смогу, так сказать, выступить на общ[ественную] арену, когда почувствую к себе полное доверие и благожелательное отношение. Но консультировать, конечно, я буду. Вообще я стою на той точке зрения, что я охотно делюсь своими знаниями, опытом и идеями, но ответственности на себя брать не хочу. Главное наладить свою научную работу, и от того, как она пойдет, определится все остальное. В научной работе вся моя сила и весь смысл моей жизни, и мне надо чрезвычайно бережно обращаться с тем остатком времени, который у меня будет от нее оставаться. Пока я не знаю размер его. Кроме того, у меня недостаточно силы и знания людей здесь. <…>

Не позабудь гильз и пыжей, дроби для ружья. Как ты думаешь отправить вещи?

Ну вот, Крысенок, пока до свидания. Жду не дождусь, пока вы все не будете здесь. Без вас у меня нормальная жизнь не сможет начаться. Рад был слышать Сережин голос вчера по телефону. Ребятам будет немного тяжело в городе после нашего загородного дома. Но сейчас нажимаю на жилое строительство. И летом, может быть, удастся переехать жить у института…»

Последнее письмо из Кембриджа

«№ 6

30 декабря 1935 г., Кембридж

…Твой большой портрет Кустодиева я преподнесла музею. Они были страшно довольны. Мы говорили с директором, я привезла показать портрет ему в музей. Он мне все твердил: „Вот вы говорите, что это знаменитый русский художник, а для нас еще ведь интересно, что это наш знаменитый ученый, это для Кембриджа вдвойне важно“. Я от скромности (за Тебя) все напирала, что это Кустодиев, что это надо знать и что поэтому я не хочу его везти в Москву — там много, а здесь нет. А директор

напирал на Твою роль, значение, знаменитость и т. д. Вот видишь, есть, кто Тебя ценит, и наши научатся. Только [у них это] берет время, и это очень утомительно.

Так что теперь Ты висишь [в] Fitzwilliam музее[104], в комнате современного [искусства] и пожертвован музею мною! [Директор] был очень заинтересован тем, что у вас с Кустодиевым был уговор через каждые пять лет писать портрет. Я ему обещала прислать книгу о Кустодиеве и сообщить, когда родился и умер и пр. Свои вятские игрушки я хочу пристроить в Albert and Victoria[105]. Им, может быть, интересно и нужно знать. Я поеду туда, с ними говорить. Портретом Твоим был заинтересован Donald [Robertson]. Он поговорил с директором [музея], и тогда директор позвонил мне и спросил.

Они тут все интересуются, как с Тобой будут обращаться. Я им говорю: приезжайте и посмотрите. А ответить не могу. Пока что было погано, что будет дальше — неизвестно. Сейчас как будто хотят улучшить отношение к Тебе, но это трудно. Здесь очень этим заинтересованы, и к нам собирается масса народа. <…>

Зверочек, ты не волнуйся, все будет очень хорошо, но надо очень много бороться и ругаться. Я приеду и возьмусь за это, чтобы Тебя освободить от этого…»

Последнее письмо из Москвы

«№ 10

2 января 1935 г., Москва

Дорогой Крысеночек,

Получил сегодня твое 5 письмо и был ему очень рад. Меня глубоко трогает отношение ко мне иностранных ученых. Сегодня также получил приветственное письмо от Debye'я. Вот ведь какой контраст [в] отношении ко мне ученых за границей с тем отношением, которое я встречаю от своих тов[арищей] здесь. Но Крокодил прав, что на все это внимания обращать не надо. Главное, добиться возможности работать. Это главная и единственная цель, которая у меня есть, а на все остальное я плюю. Я вообще веду вполне определенную линию. Перед каждым предложением я ставлю вопрос: „поможет ли это мне научно работать или нет?“ Если нет, я отклоняю его, откуда и [от] кого бы оно ни исходило. Вчера говорил [с] Ал[ександром] Наум[овичем Фрумкиным], он мне рассказывал об Ак[адемии] наук. Они обозлились на мой „бойкот“. Не хотят поэтому меня выбирать. Это только мне на руку, т. к., таким образом, я могу

вполне естественно отклоняться от участия в сессиях, комиссиях и пр., а таким образом я экономлю свои силы и не „треплюсь“. С другой стороны, связь с университетом мне нужна для подыскания молодежи, и я, конечно, буду читать там лекции, ходить на заседания и пр. А от этих старых „дундуков“ какой мне толк в Ак[адемии] наук?

Тут у нас очень оживленно прошел Новый год. Москва веселилась вовсю. Это результат того подъема в промышленности, который наблюдается. Все планы перевыполнены, и все как по волшебной палочке стало развиваться. Победа на всех фронтах. Елка восстановлена в правах, так что на будущий год у ребят будет елка. У нас даже в Метрополе есть елка. Со вчерашнего дня у нас в Метрополе также нету больше расчетов на инвалюту. Мне официант принес очень длинную карточку меню. Все валютные блюда стали доступны совет[ским] гражданам. Но иностранцы кряхтят. Тут утренний завтрак, который стоил 2 франка, теперь стоит 8, и так всё. Внизу, где был „торгсин“, разменная касса.

Это письмо будет моим последним, и я не уверен, что оно придет вовремя, но на всякий случай пишу…

Твой *Петя»*

«Я люблю с вами разговаривать…» *(Публикация Е. Капицы.)*

Когда Анна Алексеевна вышла замуж за Петра Леонидовича и перебралась жить в Кембридж, то стала часто приходить к нему в лабораторию. Она рассказывала, что поначалу ему хотелось приспособить ее к экспериментальной работе. Из этой затеи ничего не вышло, но регулярно поить всех «русским чаем» из большого самовара стало ее обязанностью, особенно если в лабораторию к Капице приходили какие-то именитые посетители. Безусловно, за годы, прожитые в Кембридже вместе с Петром Леонидовичем, Анне Алексеевне не раз случалось сталкиваться с Резерфордом, но общение их вряд ли выходило за рамки обычных взаимных приветствий. Все переменилось осенью 1934 года.

Петра Леонидовича не выпустили из России, и Анна Алексеевна вернулась в Кембридж одна. Ей, еще очень молодой женщине, необходимо было представлять интересы Капицы, и она часто оказывалась лицом к лицу с достаточно трудными проблемами. Петр Леонидович был лишен возможности напрямую общаться с Резерфордом, он не мог сам объяснить то положение, в которое он попал по воле советского правительства. Это должна была сделать Анна Алексеевна. Еще перед отъездом из Москвы они разработали специальный код для передачи особо важных переговоров с Резерфордом (см. «Письма в год разлуки»). «По приезде в Англию я увиделась с Резерфордом и рассказала ему, что Петр Леонидович задержан в России, — он должен был знать все. Резерфорд был озадачен, очень огорчен и в высшей степени недоволен…», — вспоминала Анна Алексеевна.

В Мондовскую лабораторию Анна Алексеевна приходила довольно часто, чтобы «наводить там порядок», как она пишет Петру Леонидовичу. Но, кроме того, она чувствовала, что осуществляет «живую связь» между Капицей и его любимой лабораторией.

«…Я бываю в лаборатории почти каждый день, — писала она мужу 19 декабря 1934 года, — очень редко пропускаю по какой-то причине, а они все привыкли, что я там в виде ревизии болтаюсь, да и мне приятно там бывать. <…> Любовь твоих помощников в лаборатории перекинулась немного и на меня, я чувствую, что они очень тронуты тем, что я захожу и их вижу почти каждый день. Я знаю, что им кажется, что они не совсем покинуты и позабыты, когда я прихожу их навещать и с ними поболтать и спросить, как работа и что они делают…»

Очень часто в письмах упоминает Анна Алексеевна о своих встречах с Резерфордом. Виделись они едва ли не каждый день или в лаборатории, или у него дома:

«…Крокодил страшно мил, и я с ним иногда беседую. Он страшно умен, даже удивительно, но в то же время очень приятно, такой ум редко встретишь, в особенности замечательно, как он хорошо схватывает все положение и представляет себе мнение его оппонента так, как будто тот ему это все сам объяснил. Очень приятно с ним иметь дело!..»; (28 октября 1934 г.) «…Сегодня мы долго разговаривали с Крокодилом о тебе. <…> Он очень верно о тебе говорит, знает тебя насквозь и знает, что тебе лучше всего, вот если бы так тебя все знали и понимали, какую бы пользу громадную ты бы принес, но так трудно понять человека сразу, ведь он тебя знает 13 лет, это не шутка. Я очень люблю с ним говорить и захожу к нему, только, конечно, предварительно его предупредив…» (31 октября 1934 г.).

Анна Алексеевна хорошо понимала, как много ей дает общение с Резерфордом:

«…Я теперь стала очень самостоятельная и окончательно потеряла всякий страх перед людьми, чему очень рада, правда и раньше его у меня было мало, а теперь Крокодил приучил к храбрости, если с ним не боюсь говорить, то уж ничего не страшно…»; «…Знаешь, я чувствую, что поумнела за это время, главным образом из-за разговоров с Резерфордом. Когда говоришь с ним, то приходится думать гораздо яснее, сегодня мне удалось ему рассказать одну вещь, которая ему страшно понравилась, это первый раз, что я почувствовала, что дошла с ним в разговоре почти до полного понимания, главное, конечно, в том, как представить тему разговора. И вот в этом-то я и чувствую, что стала гораздо лучше, логичнее и яснее, и мысль моя быстро реагирует на вопросы и возражения. Как я хорошо понимаю, что он может быть великим учителем целой школы, ведь от одного того, что с ним разговариваешь, уже это дает логичность мысли и тот интересный подход, ведь он так поразительно понимает, как надо что оценить и как надо на что реагировать. Ведь только потом видишь и понимаешь то, что для него ясно с самого начала. Для меня колоссальное удовольствие с ним говорить, и я чувствую, что он ужасно хорошо и к тебе, и ко мне относится, не было ни разу случая, чтобы он отказал мне в разговоре. Я стараюсь этим не злоупотреблять, но все-таки уж раз в неделю мы с ним обязательно беседуем. Я думаю, что ты найдешь во мне перемену, я стала гораздо более логично думать, конечно. Это еще далеко от ясности мышления, но все-таки это очень помогает…» (16 декабря 1934 г.).

Специально для Резерфорда Анна Алексеевна переводила письма Петра Леонидовича к ней: «…Я перевела многое из твоего письма для Крокодила, и он прочел его…» (17 ноября 1934 г.).

Во всех своих действиях Анна Алексеевна неукоснительно прибегала к советам Резерфорда, никогда ничего не делала, не согласовав с ним и не получив его полного одобрения. Особенно важна ей была поддержка Резерфорда весной 1935 года. Переговоры с советским правительством о передаче оборудования Мондовской лаборатории зашли в тупик. Душевное состояние Петра Леонидовича стало крайне тяжелым, и он писал Анне Алексеевне отчаянные письма (см. «Письма в год разлуки»), а Резерфорда как раз в это время не было в Кембридже:

«…Сейчас Крокодил уехал отдыхать к себе на дачу. Я очень не люблю, когда его нет, он как раз такой человек, которого нужно, когда выходят недоразумения…» (10 апреля 1935 г.); «… Крокодил уехал, а мне его до зареза нужно. Я не люблю, когда он уезжает…» (17 апреля 1935 г.); «…Сегодня наконец приезжает Крокодил. Джон (Кокрофт — *Е. К.*) ему это все отписал, и он с дачи написал мне страшно взволнованное письмо…» (23 апреля 1935 г.).

Это письмо Резерфорда сохранилось:

«20 апреля 1935 г., Чантри-коттедж

Дорогая г-жа Капица,

Я с сожалением узнал от Смита, а также от Кокрофта, что здоровье Капицы не в лучшем состоянии. Как Вы знаете, мы оба считали, что состояние его нервов связано с условиями, в которых он живет. Я слышал, что Лейпунский виделся с ним, и Вы, несомненно, знаете от Лейпунского новости о Капице. Возможно, что на лето они отпустят его отдохнуть и забыть о своих трудностях.

Мы рассчитываем вернуться в Кембридж во вторник на Пасхальной неделе. Мы провели здесь время спокойно и приятно.

С наилучшими пожеланиями

Резерфорд».

Через несколько дней британские газеты развернули кампанию в защиту Капицы. Впервые в газетах заговорили о «похищении в СССР кембриджского профессора». Репортеры атаковали Резерфорда и Анну Алексеевну, и в этой ситуации поддержка Резерфорда была очень ей необходима.

«… Но Крокодил трогателен ко мне и к Тебе. Я сейчас чувствую на себе его любовь к Тебе и страшно это ценю. Как я Тебе не раз писала, во всей этой истории для меня есть одно

удовольствие — это общение с Крокодилом. Его ясная голова и острый ум страшно на меня действуют, и мне доставляет колоссальное наслаждение с ним говорить, советоваться и пр…» (25 апреля 1935 г.).

А как-то она написала: «Резерфорд под конец, когда Lady[106] меня пришла выгонять (было время ужина), сказал мне: „Я люблю с вами разговаривать“. Я была очень горда, это комплимент очень даже неплохой!»

О разговорах Анны Алексеевны с Резерфордом можно составить представление из ее писем к Петру Леонидовичу (см. «Письма в год разлуки»). Кроме того, сохранилась их переписка. К сожалению, они обменивались письмами лишь когда Резерфорда не было в Кембридже, когда он уезжал к себе в загородный дом.

«22 июня 1935 г., Кембридж

Дорогой лорд Резерфорд,

Пересылаю Вам последнее письмо, полученное мной от Капицы. Из него Вы узнаете, что Капица очень рад предстоящему приезду Вебстера. Двое других, упоминаемые в этом письме, — Л. Фишер, корреспондент „Нью-Йорк таймс“, и американский посол Буллит. Ласки хорошо знает их обоих и очень хочет, чтобы они поговорили с Капицей. Я обещала Ласки, что сообщу Капице о его желании и передам ему ответ Капицы. Я полностью согласна с Капицей, что ему разумнее всего было бы встретиться с ними в присутствии какого-нибудь высокопоставленного советского чиновника, иначе у нас скажут, что он продает государственные тайны иностранцам. Я думаю, что ему нужно встречаться с как можно большим числом людей, чтобы это тревожило наши власти. Не помню, говорила ли я Вам, что личный друг Буллита, д-р Флекснер из Принстона, прислал ему письмо и текст петиции американских ученых. Так что Буллит в курсе дела и может быть очень полезен, особенно потому, что не является британцем.

Мне очень хотелось бы знать, ответило ли Вам советское посольство своевременно и встречались ли Вы с его представителем. Интересно, даст ли Майский Вебстеру визу, не поднимая по этому поводу шума? Если Вы сообщите мне все это, я смогу связаться с Вебстером и он начнет бюрократическую процедуру, связанную с поездкой. Возможно, что он поедет 10 июля или около того. Если Вы будете писать Майскому, стоит, по-моему, упомянуть о моей поездке в Россию и деликатно спросить, есть ли у меня, по его мнению, шансы вернуться из нее. Если на этот вопрос будет получен от него письменный ответ, то он будет очень полезной вещью в разных неожиданных ситуациях.

Мне жаль, что приходится обременять Вас всеми этими

просьбами во время Вашего отпуска, но я надеюсь, что Вы извините меня.

С наилучшими пожеланиями леди Резерфорд,

искренне Ваша

А. Капица»

«25 июня 1935 г., Аппер Шют

Дорогая г-жа Капица,

Ф. Э. С.(Франк Эдвард Смит — *Е. К.*) и я видели советника посольства Астикава (Астахова — *Е. К.*) в четверг на прошлой неделе — Каган был в отъезде. И мы говорили по поводу встречи К[апицы] с Вебстером и Эдрианом. Он избегал давать какие-либо обещания, но сказал, что сообщит нам позже, что он сможет сделать после консультаций с Москвой. С тех пор — ни слова. Показалось, что он считает маловероятным, что встречу разрешат без присутствия какого-нибудь советского представителя. Судя по всему, он с подозрением относится к „уединенным“ беседам. Мы согласились рассмотреть любые его предложения в том случае, если будет дано согласие на встречу.

Спасибо за письма Капицы.

Не буду писать Майскому, пока вновь не получу от него вестей.

[В левом верхнем углу приписка:]

Здесь очень жарко, и меня обуяла страшная лень — отсюда и карандаш вместо ручки.

Ваш *Резерфорд».*

В конце августа решался вопрос о поездке Анны Алексеевны в Россию, чтобы повидать Петра Леонидовича, поддержать его и подготовить переезд туда вместе с детьми. Но вокруг этой поездки складывалась очень непростая ситуация, которую ей необходимо было обсудить с Резерфордом.

«24 августа 1935 г., Кембридж

Дорогой лорд Резерфорд,

Я виделась с Эдрианом по его возвращении, и он передал мне все новости. Он очень хотел встретиться с Вами по дороге в Корнуолл, и я надеюсь, ему это удалось. Мне показалось, со слов Эдриана, что, даже если Капица внешне и выглядит хорошо, он глубоко потрясен и несчастен. Из того, что рассказал Эдриан, и из заявления, которое он привез собой, я поняла, что Капица чувствует себя ужасно оскорбленным и что этот год был для него кошмаром. Свои нервы он приведет в порядок не скоро. Мне кажется, что каковы бы ни были его предложения, нельзя на них

отвечать решительным отказом. С ним нужно обращаться осторожно и бережно, как с человеком, поправляющимся после тяжелой болезни. Разве не достаточно он перенес за этот год?

Мне хотелось бы встретиться с Вами до моего отъезда, который состоится, вероятно, 30 или 31 августа.

Есть много вещей, Ваше мнение о которых я хотела бы знать, и мне нужен Ваш совет. Не могли бы Вы сообщить мне, как Вам удобнее встретиться со мной? Наше посольство ведет себя очень глупо, и это все, что я могу сказать о них.

Искренне Ваша

А. Капица».

«26 августа 1935 г., Чантри-коттедж

Дорогая Анна,

Муж попросил меня написать Вам и передать, что он будет очень рад видеть Вас здесь, однако, к сожалению, у Вас будет не очень большой выбор времени приезда: утром в пятницу мы должны ехать в Дорсет, поэтому остается среда или четверг. С вокзала Ватерлоо есть поезд 12.40, который в 2.07 прибывает в Эндоуер-джанкшн, где мы встретимся. Для Вашего возвращения есть поезд 7.02. Он прибывает на Ватерлоо в 8.38, и Вы легко успеваете на поезд 9.55 с вокзала Кингз-кросс. В Кембридже он будет в 11.23. От Ватерлоо до Кингз-кросс можно добраться на метро. Мое расписание не очень свежее, но Вы можете уточнить время, а я буду ждать Вас у поезда, когда бы он ни пришел. Позавтракайте в поезде, как мы обычно делаем на полпути из Кембриджа, а второй завтрак у нас будет перед отъездом в Эндоуер. Не буду касаться того, о чем Вы пишете в своем письме. Будет очень интересно встретиться с Эдрианом и выслушать его новости. Если Вы получите это письмо достаточно рано, чтобы успеть приехать в среду, и захотите приехать в среду, мы встретим Вас, и для нас это не создаст никаких трудностей.

Искренне Ваша

Мэри Резерфорд».

А сам Резерфорд послал уточняющую телеграмму:

«418 1.48 Чьют стенд 18

Приезжайте поездом 12.40 с вокзала Ватерлоо до Эндоуер-джанкшн в среду или четверг день приезда телеграфируйте = *Резерфорд»*

Резерфорд считал, что Анна Алексеевна может ехать в Россию только в том случае, если будут получены от советского

правительства гарантии ее свободного возвращения в Англию. А такие гарантии, особенно письменные, ей давать никто не хотел. Анна Алексеевна оказалась в очень трудном положении: она рвалась в Москву — и считала себя не вправе ехать туда против воли Резерфорда:

«Я так много ему (Резерфорду — *Е. К.*) сейчас обязана за все его исключительно необыкновенное теплое и хорошее отношение, и он столько перенес из-за этого всего неприятностей, что я не считаю возможным ехать без того, что он будет знать, что я возвращусь, — писала она Петру Леонидовичу 29 августа 1935 г. — …Сейчас самое трудное время. Все эти месяцы я жила мечтой, что наконец я смогу Тебя увидеть. И теперь, когда это так близко и исполнимо, на дороге стоят и ставятся препятствия. <… > Я ездила к нему на дачу и провела целый день. Мы очень много и интересно говорили, и у меня создалось впечатление, что он в принципе согласен с Тобой, но, конечно, есть расхождения в деталях…».

«1 сентября 1935 г., Кембридж

Дорогой лорд Резерфорд,

Я все еще в Кембридже и теперь не знаю, когда уеду. Тейлор, возможно, рассказал Вам, как мы с ним ходили в посольство. Разговор [там] получился весьма необычный, и мне искренне жаль Дж. И. [Тейлора]. Каган, который встретил нас, был предельно груб и [вскоре] после некоторого количества оскорблений выпроводил нас вон. Однако я услышала от него о моем деле то, чего он ни в коем случае не сказал бы, не будь там третьего лица: он стал нести какую-то чушь о достоинстве и пр. Он был очень немногословен и делал вид, что во всем виновата я, потому что не предупредила, что приду с Дж. И., однако поскольку я сразу признала свою вину и извинилась перед Дж. И. и Каганом за свою ошибку, то ему не было смысла подчеркивать ее. (А когда я спросила, каков был бы его ответ на мою просьбу прийти со своим другом, он сказал, что ни в коем случае не согласился бы на это.) У Дж. И. сложилось впечатление, что они не собираются выпускать меня обратно. А по моим впечатлениям, Каган был очень скрытен со мной и предпочел бы видеть меня запертой в безопасном месте.

В пятницу я говорила с Капицей по телефону, это было самым приятным событием за многие месяцы, но таким коротким. Я сказала ему, что Вы обеспокоены моим отъездом и что, поскольку я очень благодарна Вам, я поступлю так, как Вы посоветуете. Он ответил, что и Крестинский (замещающий Литвинова в его

отсутствие), и Межлаук, и Бауман (возглавляющий новое министерство по науке) согласны с ним в том, что мое возвращение вполне гарантировано. Он считает, что получить от них какие-либо письменные гарантии будет очень трудно; как он выразился, „писать здесь не любят“.

Похоже, что его отношения с ними заметно улучшились, и К. думает, что мое упрямство может разозлить их. Однако в то же время он советовал мне идти в посольство „с кем-нибудь“ — ну, результат Вам известен. Он сказал мне: „передай Резерфорду, что я нежно его люблю“. В субботу вечером я послала ему большую телеграмму, в которой рассказала о нашем эксперименте в посольстве. Дословно это звучало так: „Пошла в посольство с другом. Не только не получила заверений, но мне было отказано в возможности поговорить в присутствии третьего лица. Со мной говорили очень грубо и указали на дверь.“

Анна.

Ответа от К. я пока не получила, поэтому не знаю, что он предпринял по поводу моей поездки и гарантий. Мне очень жаль, что я доставляю всем такие хлопоты, однако здесь мне остается только сидеть и ждать, что случится.

С наилучшими пожеланиями леди Резерфорд

Искренне Ваша

А. Капица

P. S. В телефонном разговоре был довольно интересный момент: он сказал, что встретит меня в Ленинграде, если я поплыву пароходом, однако, если я решу ехать поездом, он не уверен, что сможет встретить меня на границе; как он выразился, ему „это не очень удобно“. И это после его слов о том, что его отношения с властями очень улучшились».

«18 сентября 1935 г., Кембридж

Дорогой лорд Резерфорд,

Я еще в Англии, жду. Я все это очень переживаю, и, как мне передал Дирак, для Капицы было страшным ударом узнать о происшествии со мной и Тейлором. К. явно считает, что с моей стороны было ужасной ошибкой просить письменного подтверждения, что любой документ получить у русских трудно, что это лишь будит в них подозрения и что, как только положение прояснится, мне будет лучше поехать в Россию.

Судя по его письмам, он так расстроен и несчастен (и Дирак подтверждает это), что я чувствую, что не могу больше оставаться здесь, а должна ехать к нему в Москву, согласится он на это или нет. Поехать и дать ему столько благоустроенности, сколько я смогу. В конце концов, гораздо важнее, чтобы К. был в хорошей

форме, чем выиграть одно очко у советского правительства ценой превращения К. в ходячую развалину. Однако я не хотела бы делать что-либо против Вашей воли. Вы были так добры ко мне все эти годы, и без Вашей поддержки я ничего не смогла бы сделать. Поэтому я не могу просто так уехать в Россию, не испросив у Вас морального одобрения этого шага. Я знаю, Вы уверены, что обратно они меня не выпустят. Но разве Вы не считаете, что рискнуть стоит и что ради удобств, которые я создам для К., можно рискнуть чем угодно. И разве это не все, что я могу сделать сейчас? Для меня гораздо важнее быть с К., чем думать о моем возможном задержании. Я согласна быть заложницей в России, если этой ценой будет куплено разрешение для К. приехать сюда хоть ненадолго. Сейчас он бесконечно несчастен, и важно только это.

Вот все мои соображения, и я очень надеюсь, что Вы дадите мне свое моральное одобрение на то, чтобы ехать в Россию и не настаивать на гарантиях. Не считаете ли Вы, что это — единственное, что я могу сделать сейчас, и что важнее всего сделать жизнь К. переносимой, пусть даже на короткое время.

Дирак возвращается 20-го, и я надеюсь увидеться с ним. О Капице он написал мне из Будапешта.

Наилучшие пожелания леди Резерфорд.

Искренне Ваша

А. Капица».

«19 сентября 1935 г., Чантри-коттедж

Дорогая г-жа Капица,

Я получил Ваше письмо сегодня и спешу ответить на него. Если Капица, несмотря на неудачу Вашей попытки получить от посольства недвусмысленное заявление, склонен настаивать на Вашем возвращении в Россию, я вполне согласен с тем, что Вам следует поехать, чтобы помочь ему в его нелегком положении. Возможно, что отказ посольства дать Вам письменные заверения не следует понимать в зловещем смысле; возможно, что он продиктован их гордыней, а не дурными намерениями. По этой причине я не могу советовать Вам остаться здесь, когда Капица хочет видеть Вас в России. В конце концов, именно Вам и Капице решать вопрос о возвращении, потому что положение в России вы знаете гораздо лучше, чем я могу надеяться когда-либо узнать. Я полностью освобождаю Вас от обязанности следовать тем советам, которые я дал Вам, когда положение было зловещим. <нрзб> я искренне придерживаюсь мнения, что в настоящих условиях Вы можете ехать к Капице, положившись на судьбу в том, что Вам позволят вернуться, когда Вы этого пожелаете.

Никто не скажет Вам, когда Вам следует ехать. В этом Вашем приключении я желаю Вам всяческой удачи, — я уверен, что в эти тяжелые времена для Капицы будет неоценимым благом то, что Вы рядом.

Нам удалось настоять, чтобы Олифанты на несколько дней приехали к нам и хорошенько отдохнули.

Искренне Ваш

Резерфорд».

«25 сентября 1935 г., Кембридж

Дорогой лорд Резерфорд,

По-видимому, в пятницу я уеду. Я послала свой паспорт в русское посольство и попросила их получить для меня билет и все необходимые визы. Сегодня я им позвонила, и они сказали, что все делается и они мне сообщат, когда это будет готово.

Дирак мне сообщил, что Вы собираетесь написать мне о Капице. Я жду это письмо с большим интересом.

Поскольку я уезжаю и не буду приходить и беспокоить Вас из-за К., пишу, чтобы внести ясность в некоторые вопросы.

Есть немало людей, которых отъезд К. очень обрадовал, и меня бы это нисколько не беспокоило, если бы эти же люди не распространяли о нем всякие порочащие его слухи. О К. много чего говорят, в частности и то, что за достаточное количество денег он готов заниматься чем угодно. Большей лжи и клеветы, на мой взгляд, не может быть. К. никогда не стремился к богатству, никогда не гнался за деньгами. Если бы было иначе, он бы не выбрал поприще ученого. Думаю, что Вы лучше, чем кто-либо другой, знаете, что со своими инженерными способностями он мог бы зарабатывать значительно больше, если бы целью его жизни были деньги. Жалование ему нужно было для того, чтобы спокойно работать, делать то, что он любил больше всего на свете. Тот же принцип применял он и в отношении всех своих помощников в лаборатории, поскольку он знал по собственному опыту, что человек, лишенный материальных забот, работает намного лучше. То же делает он и в России, пытаясь объяснить нашему правительству, что ученый не должен иметь забот, не должен думать повседневно о том, хватит ли ему средств, чтобы накормить сегодня семью, или же придется прочитать еще одну лекцию, написать еще одну статью, устроиться еще на одну работу, и все для того, чтобы у него не было ужасного ощущения, что семья его голодает. К. пытался объяснить им, что в таких условиях нельзя и предположить, что ученый будет делать какие-то хорошие работы, его мозги загружены этими заботами и находятся в таком состоянии, что просто мысль о науке не

попадает в них. <…>

Лучше, чем кто-либо, Вы знаете, какой К. прямой и откровенный, как часто люди чувствовали себя задетыми его словами, задетыми потому, что он говорил чистую правду. И когда он говорит, он никогда не задумывается о возможных последствиях. Если он считает, что что-то должно быть сделано, он прямо идет к своей цели. Но никто не сможет упрекнуть его в том, что он причинил кому-то вред ради собственной выгоды. Он вредил прежде всего самому себе, поскольку люди нелегко прощают правду, высказанную им прямо в лицо. Это одна из черт К., которая раздражает людей. Кроме того, он любит поговорить, он любит даже похвастаться, но его хвастовство — детское и безобидное. Можете ли Вы вспомнить хотя бы один случай, когда К. что-то обещал и не сдержал своего слова? Обещал ли он когда-нибудь что-либо, зная заранее, что не сможет этого сделать? Подвел ли он Вас когда-нибудь?

Положение его в Англии было очень трудным, и он очень хорошо знал, что без Вашей веры в него он не добился бы и десятой доли того, чего он достиг. Он благодарен Вам, и это чувство переполняет его. В прошедшем году, в России, он не покончил с собой не из-за любви ко мне или детям, а лишь потому, что он любит Вас. После всего, что Вы для него сделали, после того, как Вы вложили в него столько веры, он не мог причинить Вам боль. <…>

Вы достаточно хорошо знаете К., чтобы понять, что ни за что на свете не предпримет он ничего такого, что бы прямо или косвенно задело Вас. Я абсолютно убеждена, что я обязана Вам жизнью К. Не будь его любви к Вам и чувства благодарности к Вам, не будь Вашей бесценной помощи на протяжении всего этого года, его бы не было в живых.

Хочу от Вас еще лишь одного: чтобы Вы никогда не верили ничему плохому о К. Он скорее пойдет в тюрьму или под расстрел, чем сделает что-нибудь против Вас. Что бы Вы ни услышали и каким бы достоверным ни казалось сообщение, всегда помните, что К. останется Вам верным, и Вы можете быть уверены, что все плохое о нем, что дойдет до Вашего слуха, выдумано, сочинено — чтобы скомпрометировать К. в Ваших глазах.

Дирак рассказал мне, что русские (Анна Алексеевна имеет в виду советских чиновников, дипломатов и государственных деятелей. — *Е. К.*) неоднократно пытались подорвать Вашу репутацию в глазах К., сочиняли всякие небылицы о Вас, пытались разрушить его веру в Вас. Они понимают, какая это огромная поддержка для К. — знать, что Вы заботитесь о нем.

Они стремятся подорвать его дух, сломить его сопротивление, и они знают, что, как только он почувствует, что Вы больше не с ним, он будет сломлен.

Разговаривая с Вами, я много раз ощущала, что у Вас нет полной ясности в том, что же он представляет собой на самом деле. И я сама, до возвращения Дирака, не знала, что Вы значили для К. Я знала, что он любит Вас, что он Вам благодарен, но я не понимала, что вся его жизнь держится на Вас. Пожалуйста, простите мне это очень личное и пространное письмо. Меня не будет здесь, чтобы беспокоить Вас, но я верю, что Вы не забудете К. и будете всегда добрым словом вспоминать о нем. Он нуждается в Вас больше, чем когда-либо, — в Вашей поддержке, в Вашей доброте, в Ваших заботах. <…>

С сердечным приветом к леди Резерфорд,

Искренне Ваша

А. Капица».

«25 сентября 1935 г., Чантри-коттедж

Дорогая Анна,

Сегодня я получил Вашу телеграмму и пользуюсь случаем, чтобы заново и в более определенных выражениях сформулировать свое письмо Капице, которое Вы сможете захватить с собой. Это письмо я прилагаю — оно переписано моей женой, потому что ее почерк разборчивей моего. Из него Вы увидите, что приемлемы не все предложения Капицы, но я надеюсь, что оно поможет ему понять нашу точку зрения в целом. Сегодня я обсуждал этот вопрос с Ф. Э. С., и он разделяет это мое мнение.

Мне было очень приятно повидаться с Дираком и из его уст услышать о настроениях Капицы и о состоянии его здоровья. Уверен, что для Капицы беседы с Дираком были подобны колодцу в пустыне.

Итак, я говорю Вам „au revoir“, а не „прощайте“. Уверен, что Вы правы, уезжая к Капице, при всей неопределенности того, что может произойти в будущем. Надеюсь в непродолжительном времени увидеть Вас, когда Вы вернетесь к детям. От души желаю Вам здоровья и счастья.

Любящий Вас

Резерфорд».

«21 октября 1935 г., Кавендишская лаборатория, Кембридж

Дорогая г-жа Капица,

Мне было очень приятно получить Ваше письмо и услышать Ваши впечатления о поездке в Москву. Думаю, что Дирак послал

Питеру записку о возможной передаче оборудования, и я кратко изложу Вам нынешнее положение дел, чтобы Вы передали это Питеру. Прежде всего, состоялось заседание Комитета Мондовской лаборатории, на котором было изложено предложение о передаче на определенных условиях основного оборудования в Россию. Это предложение было передано в Совет, который одобрил доклад и в свою очередь направил доклад в Сенат университета, чтобы получить его согласие. Разумеется, это займет некоторое время даже в случае отсутствия возражений. Мне пришлось проконсультироваться в Королевском обществе и в других местах по этому вопросу, но я думаю, что все может быть улажено, если власти с Вашей стороны примут наши предложения.

Я обнаружил, что большой генератор не был передан университету, а является собственностью Департамента научно-технических исследований, и мне пришлось оформить его покупку у них, а также улаживать некоторые вопросы с Королевским обществом. Если все пойдет хорошо, мы сможем отправить большой генератор и вспомогательное оборудование сразу же по достижении соглашения, а остальное оборудование будет посылаться по мере его дублирования. Мы передали г-ну Рабиновичу полный список подлежащих передаче приборов, и я думаю, что в нем указано все необходимое.

Университет настаивает, чтобы эта передача серьезно не помешала исследованиям Кавендишской лаборатории, которые идут полным ходом, и, в частности, они требуют, чтобы на Л[аурмана] и П[ирсона] не оказывалось никакого давления с целью побудить их поехать в Россию. В любом случае к этому вопросу придется подходить очень осмотрительно, чтобы свести к минимуму ущерб для работы лаборатории. Если Л. через некоторое время будет готов ехать, мы сможем послать его первым. С П. дело сложнее, однако этот вопрос можно будет рассмотреть, когда будут готовы новые ожижители. Могу сообщить Вам, что ради экономии времени я собираюсь начать работу над новым гелиевым ожижителем немедленно.

Что касается других пожеланий, изложенных в письме Питера, то тут имеются большие сложности, и в настоящее время принять какие-либо решения вряд ли удастся. Мне кажется, что этот вопрос следует отложить на будущее. Вполне вероятно, что удастся уладить его каким-то неформальным способом.

Рад сообщить Вам, что у нас все здоровы, хотя кое-какие неприятности в лаборатории были. Д-р Астон провел две недели в больнице, где ему была сделана небольшая операция, а у Олифанта были проблемы с глазами, и он тоже провел неделю

или около того в больнице „Ивлин“. Оба они, однако, сейчас чувствуют себя хорошо и сегодня выписываются.

Не знаю, попалось ли Вам на глаза сообщение о том, что примерно неделю назад внезапно умер сэр Джон Макленнан, в прошлом работавший в Торонто. Всем его старым друзьям будет очень не хватать его.

В настоящее время мы заняты в саду уборкой деревьев, поваленных сильной бурей.

Наилучшие пожелания Вам и Питеру и пожелание скорейшего окончания ваших несчастий.

Искренне Ваш

Резерфорд».

Копию письма, которое Анна Алексеевна написала, по-видимому, вскоре после приезда в Россию и на которое ссылается Резерфорд, в архиве П. Л. Капицы мы не обнаружили. Там находится лишь письмо, написанное ею незадолго до возвращения в Англию.

«11 ноября 1935 г., гостиница „Метрополь“, Москва

Дорогой лорд Резерфорд,

Недавно я получила Ваше письмо и очень рада, что все идет удовлетворительно. Что касается меня, я чувствую, что должна рассказать Вам о Питере. Не думаю, что он счастлив хоть сколько-нибудь, но я абсолютно уверена, что его моральный дух, который в настоящий момент крайне низок, гораздо важнее материальной стороны, которая, похоже, складывается удовлетворительно. Свобода и уверенность значат для него гораздо больше, чем это здесь понимают или предпочитают думать, что могут ему это дать. В настоящее время отношения между ним и властями нельзя назвать плохими; они довольны, что вопрос о лаборатории почти улажен.

Однако в то же время они не берут на себя никаких обязательств по отношению к Питеру, и не возьмут, если их к этому не вынудить. Что меня беспокоит в Питере, так это его неспособность выносить даже малые неприятности при строительстве здания и т. д. и полное отсутствие у него уверенности в себе. Когда он не слишком подавлен, он считает, что может взять на себя бремя руководства лабораторией, однако бывают моменты, когда он готов не делать вообще ничего, лишь бы не взваливать на себя изнуряющие бюрократические обязанности руководителя института. В эти моменты я чувствую, что помочь ему может только сильная дружеская поддержка. Такой поддержки мы здесь не находим. Здесь не проявляют ни

малейшего желания понять ни Питера, ни любого другого человека, оказавшегося в трудном положении. В России слишком много проблем, чтобы думать об отдельном человеке.

Такое враждебное и безразличное отношение буквально убивает его. Я не возьму на себя смелость убеждать его вернуться к работе, если не буду уверена, что Вы и дальше будете оказывать ему свою поддержку.

Здесь отказываются понять, что для Питера моральная обстановка важнее чего бы то ни было. Очень неразумно дать ему материальные возможности и ожидать, что он начнет творить чудеса, в то же время не делая ничего, чтобы избавить его от ощущения, что он не преступник и не заключенный, которому созданы лишь условия для работы.

Еще меня беспокоит, что даже хотя Питер считает, что за этот год он ценой огромных потерь для себя добился многого, преодолев невероятные трудности, он не видит смысла тратить свои силы и время на то, чтобы заставлять людей делать то, что они обязаны делать. Даже победив в конце концов, он оказывается в таком состоянии, что его победа теряет всякий смысл. Я искренне считаю, что при нынешнем положении дел существует реальная опасность потерять его совсем. Разумеется, здесь некоторое время погорюют, но потом решат, что и без Питера осталась хорошая лаборатория, которая пригодится. Так могут думать власти, но эта перспектива абсолютно неприемлема ни для Питера, ни для меня.

Я собираюсь уехать из Москвы 20-го. Точную дату я сообщу Джону или матери. Питеру дали помощника, настоящего негодяя, который много мнит о себе, но мало работает и которому наплевать (извините за грубое выражение) на Питера. Питер вынужден терпеть его, потому что он направлен к нему. Нам дали квартиру в доме для сотрудников Академии наук. В ней четыре комнаты, помещение для домработницы, кухня и т. д. С мебелью для нее возникли трудности, однако я думаю, что самое необходимое нам достать удастся, и нам она нравится. Что нельзя не похвалить, это место, выбранное для института. Оно чудесно: вокруг парк, а со склона холма открывается вид на Москву.

Наилучшие пожелания Питера и мои Вам и леди Резерфорд. Надеюсь, что вы не безумно заняты в городе и имеете возможность проводить время в коттедже.

Искренне Ваша

Анна Капица».

Прошло совсем немного времени, и Анна Алексеевна вместе с детьми переехала жить в Россию. Положение Петра Леонидовича

укрепилось, он смог сам напрямую писать письма Резерфорду. Опять, как раньше, это был мужской диалог о науке и жизни. Но Анна Алексеевна навсегда сохранила глубокую благодарность Резерфорду за поддержку в такое трудное для нее время. И, может быть, ее поразительная стойкость и твердый характер, которые удивляли всех знавших Анну Алексеевну, во многом были сформированы в долгих беседах еще совсем молодой женщины и выдающегося ученого и учителя.

В 1937 году, когда так неожиданно для всех Резерфорд скончался, она написала его жене:

«14 ноября 1937 г., Москва

Дорогая леди Резерфорд,

Я пишу Вам, чтобы сказать, что мы оба переживаем и сочувствуем Вам в Вашем огромном горе.

Я никогда не забуду, как были добры и какое участие проявили ко мне и Вы, и лорд Резерфорд, когда я осталась одна в Кембридже. Даже когда лорд Резерфорд был утомлен или занят, он всегда находил время поговорить со мной и выслушать меня. Я никогда не забуду, что без его помощи и без его активного интереса к судьбе Капицы нам ничего не удалось бы достичь. Эта искренняя заинтересованность в судьбе окружающих сделала лорда Резерфорда таким дорогим для всех нас.

Я хотела бы напомнить Вам, что в далекой Москве у Вас есть два человека, глубоко преданных памяти лорда Резерфорда и Вам.

Искренне Ваша

Анна Капица».

«Дирак, ты настоящий и очень драгоценный друг…» *(Публикация Е. Капицы.)*

Переписка Анны Алексеевны Капицы и Поля Дирака относится к одному из наиболее драматических периодов в жизни семьи Капиц — 1935 году.

Почти весь этот год Анна Алексеевна боролась за то, чтобы Петру Леонидовичу разрешили вернуться в Кембридж и продолжить там свою работу. Много сил она тратила на объяснение позиции Капицы ученым и общественным деятелям не только Англии, но и других стран. Среди них были как люди настроенные благожелательно по отношению к советской России, так и ее резкие оппоненты. В этой ситуации для Анны Алексеевны особенно важна была поддержка близких друзей. К таким людям, безусловно, относился Поль Дирак. В письмах Дирака к Анне Алексеевне чувствуется теплое, даже нежное к ней отношение. Каким счастьем для нее было иметь в этот трудный период такого преданного, готового все для нее сделать друга. Кроме того, Дирак уже в те годы имел колоссальный авторитет в научном мире.

«Начало декабря 1934 г… Кембридж

Дорогой Дирак,

Я решила написать тебе, потому что я всегда ощущала, что ты друг Капицы и немного и мой. Все обстоит очень плохо сейчас, по крайней мере. Капице не разрешают выехать из России, абсолютно не разрешают, даже чтобы закончить его работу и привести тут все в порядок. Это очень сильно подействовало на него, может быть сильнее, чем что-либо ранее. Правительство боится, что он не вернется назад, я не знаю, откуда у них появилась эта идея. Ты знаешь, как Капица вел себя по отношению к Советскому Союзу, как он всегда стремился помочь им, чем только мог. Вот поэтому я и пишу тебе — ты друг Капицы и России, и ты поймешь всю немыслимость этой ситуации. Мне кажется, что было бы хорошо, если бы ты написал письмо русскому послу в Вашингтоне. Мне кажется, что единственный возможный в данном случае путь — объяснить им (правительству СССР — *Е. К.*) что все это значит для научных связей обеих стран — России и Англии. Ты знаешь, как Капица всегда стремился объединить всех ученых и как он всегда пытался убедить наше

правительство изменить свою политику по отношению к русским ученым. Тут-то оно его и поймало.

Но я абсолютно уверена, что все же имеет смысл попытаться убедить их, что и для них, и для всех прочих будет лучше найти с К[апицей] компромисс. Он говорит правительству, что ничто не заставит его изменить свою позицию и что в таких условиях он ни за что не станет работать в России в области физики. Как он может работать для людей, которые с самого начала не доверяют ему? Ты увидишь сам, что это правильная позиция, ведь никогда в жизни он не обманывал и не делал ничего плохого для Советского Союза. Он в гораздо большей степени, чем многие другие, доказал свою лояльность. 13 лет он жил в Англии, и ему было бы легко перейти в английское гражданство, много раз ему это предлагали, и он всегда отказывался. О нем просто создалось превратное впечатление, и единственно, что нам надо сделать, — попытаться исправить его.

Ты друг России, и они это знают, так попытайся объяснить им это так, чтобы они поняли.

Капица чувствует себя отвратительно — именно в тот момент, когда все было готово: его лаборатория, его машина, жидкий гелий, именно в этот момент они остановили его работу, и почему?

Дай мне знать, что ты думаешь обо всем этом, и если ты соберешься написать, то дай мне знать, что именно ты напишешь».

«19 декабря 1934 г., Принстон

Дорогая Анна,

Я был очень огорчен, получив твои новости о К[апице]. Я уже и раньше слышал от Гамова, что Капица вынужден ненадолго задержаться в России, но до того, как получил твое письмо, не представлял себе, что у него такие серьезные трудности с выездом. Я разговаривал обо всем этом с некоторыми профессорами из Принстона. Мы все согласны, что по отношению к К. допущена величайшая несправедливость, и очень сочувствуем тебе и сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь. Наиболее подходящий для этого человек д-р Флекснер, который является одним из руководителей Института передовых исследований. (Он встречал К. в Кембридже прошлым летом.) <…> У него много связей в дипломатическом мире, и он отнесся к этому случаю с величайшим интересом. Завтра он поедет в Вашингтон и сделает все, что может. Эйнштейн также проявил большой интерес и будет рад помочь.

Я напишу тебе немедленно, если что-нибудь произойдет. И

ты, пожалуйста, пиши мне, если будут какие-то новости. Ты можешь всегда рассчитывать на меня во всем, в чем я только смогу помочь. Пожалуйста, не волнуйся на этот счет. Я думаю, что, в конце концов, все будет хорошо».

«15 января 1935 г., Кембридж

Мой дорогой Дирак,

Я получила твое письмо несколько недель назад, но не ответила на него, потому что Резерфорд был в отъезде, и ничего не сдвинулось с места. Наибольшее беспокойство вызывает сейчас тот факт, что Капица назначен нашим правительством директором Института физических проблем, предполагается, что Институт будет принадлежать Академии наук, но он, как и многое в России, пока еще не существует. Я называю это беспокойством, потому что об этом везде официально объявлено, каждый посол за границей теперь имеет убедительный ответ на вопрос, что К. делает в России. Они даже могут сказать, что это было сделано с согласия К., но ведь это согласие может быть получено разными способами. Когда он был в первый раз вызван в Москву из Ленинграда (я тогда еще была в России) и он сказал, что не хочет ехать, то получил следующий ответ: „Профессор, вы отдаете себе отчет, что это приказ Правительства, и вы не можете говорить нет, вы должны ехать“. Когда дела делаются таким образом, то нет нужды доказывать, что есть много способов заставить тебя согласиться. Так что, возможно, и его директорство было чем-то в этом роде. Другой повод для волнений дает тот факт, что посол утверждает, что К. занят важной работой, живет в прекрасных условиях, у него есть яхта и дача в Крыму. Однако я знаю только одну вещь, что за ним следят два человека, следят постоянно, куда бы он ни пошел, а жить ему приходится в гостинице. Никто не возьмется утверждать, что это нормально. Если бы К[апица] был доволен и счастлив, то, наверное, он не нуждался бы в детективах, следующих за ним по пятам, кто может быть счастлив, когда за ним следят. И если он остался по собственной воле, то почему бы ему не вернуться сюда, чтобы закончить здесь все дела, ведь если он так уж счастлив, то он непременно вернется назад. Почему не выпустить его? В утверждениях посла множество противоречий (он написал письмо в ответ на очень дружеский запрос проф. Ласки из Института экономики из Лондона). Все это крайне неприятно еще и потому, что в это самое время К. находится в глубокой депрессии и очень удручен и у него единственное желание — вернуться в свою лабораторию и заниматься своей работой, своими экспериментами, которые он готовил многие годы. И

невозможность этого делает его столь несчастным, что он не может ни о чем другом думать. Он пытается в Москве встречаться с различными людьми, чтобы при личной встрече убедить их, что он честный человек, а не тот, за которого они его принимают.

Одна из причин такого идиотского положения вещей заключается в том, что наше правительство вбило себе в голову, что Британия не станет тратить столько денег на К. и оказывать ему такое уважение просто из-за того, что он первоклассный ученый. Они твердо уверены, что это происходит из-за его услуг, оказанных Военному ведомству! И это о К., который твердо убежден, что ученые не должны никогда принимать участие в каких-либо военных разработках, никогда. А они просто не принимают во внимание и не доверяют ничему, что бы он ни говорил. Верят они лишь той информации, которую получают от тех, кто настроен против К. Это действительно большая проблема — убедить их, что они совершают ошибку, не доверяя К. Было бы прекрасно, если американцы смогли бы помочь в этом. Россия в настоящий момент очень заинтересована в том, что в США думают о ней. И если д-р Флекснер что-то сможет сделать, то было бы очень хорошо.

Одну вещь надо всегда помнить, что в создавшихся условиях К. крайне несчастен, что он оторван от своей работы, которая составляет весь смысл его жизни, и что он не вернется к своей работе, пока русское правительство не начнет ему полностью доверять. Если бы только добиться, чтобы ему разрешили приехать сюда хоть на время, чтобы он смог закончить, что собирался, то и это была бы помощь. Но они не доверяют никому.

Дирак, все происходящее крайне тяжело, и я чувствую, что мы должны сделать все, что только можем, чтобы помочь К. выпутаться из создавшегося положения.

Здесь курсируют разнообразные неприятные слухи о К., вроде того, что он все это организовал сам, потому что он хочет порвать все кембриджские связи, и что русские просто купили его. И еще слух, что он был шпионом в Англии и продавал информацию России за какие-то неправдоподобные суммы и поэтому каждый год ездил в Россию. Я думаю, что наше правительство слышало какие-то из них (ведь они появились около года назад) и твердо верит, что в них есть какая-то правда. И так как они ничего К. не платили и не получали от него никакой информации, то значит, он занимался шпионской деятельностью в России и используя свои связи с учеными всего мира. И эту информацию он продавал Британии и за это имел то, что имел, — лабораторию, F.R.S.[107] и т. д., и т. д. Что еще я могу услышать — пока не знаю, но я готова ко всему. Я пишу тебе об этом, потому что ты должен быть готов

услышать все эти нелепые сплетни. Только одну вещь ты должен всегда иметь в виду — К. не разрешают уехать из России, и что он по собственной воле никогда не будет находиться вдали от своей работы. Все эти сплетни существуют для того, чтобы настроить общественное мнение против него.

Я прошу тебя простить меня за доставляемое тебе беспокойство, но сознание, что ты согласен со мной в отношении К. дает мне силы.

Я думаю, что ты знаешь, что вся корреспонденция из или в Россию открывается и просматривается, и это не прибавляет К. оптимизма».

«14 марта 1935 г., Принстон

Дорогая Анна,

Несколько недель назад я получил твое письмо. Д-р Флекснер думает, что, используя политические рычаги в Вашингтоне, для К. невозможно ничего сделать, потому что это не касается Америки. Наилучшим будет ознакомить Москву с мнениями американских ученых. После долгих обсуждений соответствующее обращение было составлено (копия прилагается). Я надеюсь, что его подпишут все выдающиеся физики Америки, и оно будет послано в Москву. Если европейские страны выступят с аналогичной акцией, я думаю, это будет иметь эффект.

Этим летом я предполагаю отправиться в Россию, пока не знаю, через Атлантику или Тихий океан. Конечно, я встречусь с К., если он до тех пор будет там. Могу ли я что-нибудь сделать для тебя?

В Принстоне все говорят, что К. задержан в России из-за того, что Гамов отказался вернуться в Россию, после того как был отпущен с обещанием вернуться. Правда ли это? Мне это кажется весьма правдоподобным.

Я надеюсь, что ты уже не так волнуешься. Ты не должна обращать внимания на всякие глупые истории, в которые никто все равно не верит».

«9 апреля 1935 г., Кембридж

Дорогой Дирак,

Спасибо тебе за письмо, я надеюсь, что наше правительство прислушается к вашей петиции. Но, во всяком случае, американские ученые не безразличны к судьбе Капицы.

Ты пишешь, что собираешься в Россию этим летом, и я очень надеюсь, что ты поедешь через Англию. Если Капица все еще будет там, то я должна иметь надежного друга, которому я могла бы доверить послание, которое может быть отправлено только

таким способом.

Боюсь, что Капица находится все в большем и большем волнении, очень страдает и очень несчастен. Ты знаешь, как он волнуется, когда что-то происходит неправильно, а здесь все неправильно. Я вкладываю в письмо перевод некоторых писем К. ко мне, которые могут быть интересны тебе, а также д-ру Флекснеру, т. к. в них очень хорошо предстает картина морального состояния Капицы. Я чувствую, что мы должны приложить все силы, чтобы хотя бы на короткое время он смог вернуться в Кембридж, под любые гарантии. Но он не хочет гарантий, т. к. это будет означать отсутствие к нему полного доверия. Все это меня очень беспокоит, т. к. мне кажется, что на сов. правительство не оказывается достаточного давления. Если ты найдешь это возможным, то было бы все-таки очень хорошо, чтобы и какое-то другое мнение, а не только ученых, было бы доведено до нашего правительства. Как ты думаешь, можно этим делом заинтересовать радикальных писателей? Мне кажется, что письма Капицы хорошо отражают его положение и что любой человек, прочитавший их, будет на его стороне. Особенно среди людей, заинтересованных в развитии Советского Союза, среди тех, кто относится к нему с симпатией. Всякий увидит, какая была допущена ужасная ошибка, и чем скорее ее исправить, тем будет лучше для всех. Поговори об этом с д-ром Флекснером, который, как я поняла из твоих писем, как раз подходящий для этого человек.

Что касается Гамова, то тут трудно сказать, имело ли его дело какое-нибудь влияние. Конечно, оно все усложнило, правительство стало относиться более подозрительно к ученым. Но Гамов всегда говорил мне, что никто не давал никаких гарантий его возвращения. Да и Гамов сам находится не в очень приятном положении. В России, определенно, были очень недовольны его поведением. Но это его заботы, а не мои.

Пожалуйста, Дирак, если есть хоть какая-то возможность поехать в Россию через Европу, сделай это. Это будет чрезвычайно важно и для меня, и для Капицы, и я буду очень рада повидаться с тобой.

Читая письма К. я не могу отделаться от необычайно острого ощущения чудовищной жестокости и бездушности всего происходящего».

«23 апреля 1935 г., Вашингтон

Дорогая Анна,

Сегодня утром я получил твое письмо, но переводы писем Капицы еще не получены. Я боюсь, что мне придется ехать в

Россию через Дальний Восток, у меня там встречи с разными людьми в Японии и Китае. Мне очень жаль, что так получилось. Будет абсолютно безопасно, если ты пришлешь мне послание для Капицы в Принстон. Я уничтожу бумаги, как только прочту их, и буду держать сообщение в своей голове. Это предотвратит возможность того, что оно попадет в плохие руки. Если все же не удастся поступить таким образом, то я буду рад снова поехать в Россию, как только это будет возможно, после моего возвращения в Англию (это будет в конце сентября). Я сомневаюсь, что для К. будет хорошо, если к нему будет привлекаться внимание и вне научных кругов, но я поговорю с Флекснером об этом.

Еще несколько дней до окончания конференции я проведу в Вашингтоне, а потом вернусь в Принстон, где пробуду по крайней мере до середины мая».

«27 апреля 1935 г., Вашингтон

Дорогая Анна,

На прошлой неделе здесь в Вашингтоне собралось много научного народа. Здесь состоялись заседания Национальной академии наук и Американского физического общества, и почти все приехали сюда — кто на одно заседание, кто на другое, а кто и на оба. Положение твоего мужа очень широко обсуждалось. И все, кто был здесь, сочувствуют ли они советской системе или против нее, согласились с тем, что советское правительство в этом случае совершает страшную ошибку и они готовы сделать все возможное, чтобы помочь К.

Решили, что было бы хорошо, если бы кто-нибудь из видных американских ученых посетил советского посла в Вашингтоне и сообщил ему, какое возмущение этот случай вызвал в Америке. Предложение это исходило от О. Штерна. Мы попросили сделать это К. Т. Комптона, но он должен был покинуть Вашингтон, и у него на это не было времени. Вместо этого он написал письмо, копия которого прилагается.

Договорились, в конце концов, о том, что Р. Э. Милликен и я должны попытаться встретиться с советским послом (его зовут Трояновский). Известно, что Милликен настроен скорее против Советов, но противовесом этому должен был служить я, поскольку известно, что я настроен скорее благожелательно. Посол назначил нам встречу, как только ему позвонил Милликен, и мы отправились к нему в пятницу после полудня, спустя два дня после того, как было отправлено письмо Комптона.

Говорил с советским послом по большей части Милликен. Он рассказал, как получил об этой истории конфиденциальную информацию от своего сына Гленна из Кембриджа и что я хорошо

знаком с семьей Капицы и узнал об этом от них. Посол сказал, что он об этом деле раньше не знал, но только что получил об этом письмо от проф. Комптона. Продолжая разговор, Милликен объяснил значение работы К. Он говорил о том, как много времени и денег было в нее вложено и что прекращение этой работы будет большой потерей для науки. Он сказал также, что слышал, что из-за насильственного задержания в России здоровью К. грозит серьезная опасность и, если ему не разрешат вскоре выехать, он, по-видимому, не будет уже пригоден ни для какой работы. Посол ответил, что многим видным советским ученым было разрешено выехать на короткий срок за границу, а они затем не вернулись и что общественное мнение в России было этим крайне возмущено. Он при этом, в частности, сослался на Шаляпина. Я думал, что он назовет Гамова, но он это не сделал. Милликен тогда сказал, что случай с К. совершенно другого рода — К. очень давно работает в Англии. Я сказал, что К. находился в Англии 13 или 14 лет. Посол сказал, что, по всей вероятности, они установили в России общее правило, запрещающее людям выезд (или же, как он выразился, возмущение общественности в России в отношении тех, которым разрешили выезд и кто не вернулся, стало столь сильным, что это вынудило правительство принять такое правило), и что, по-видимому, это правило жестко действует в данном случае.

Милликен тогда стал говорить о возмущении, которое этот случай вызвал среди американских ученых, и как это пагубно отразится на отношениях между СССР и учеными всего остального мира, если К. не выпустят в ближайшее время. Посол сказал, что получит информацию об этом деле и свяжется со своим правительством.

Беседа продолжалась около получаса, и посол угостил нас чаем. К концу беседы у меня появилась надежда. Посол оказался вполне разумным, хотя и боялся, по всей видимости, сказать слишком много и то и дело повторялся, говоря об общественном мнении в России, настроенном против тех, кому разрешили выезд и кто не вернулся. Милликен сказал, наконец, что русское правительство должно считаться не только с общественным мнением в России, но и с зарубежным общественным мнением. В конце беседы я сказал послу, что я уже давно и очень близко знаком с К. и что знаю его как совершенно надежного и честного человека, и если бы ему разрешили выехать под обещание вернуться, можно было бы положиться на то, что он это обещание выполнит.

Когда мы покинули посольство, Милликен написал письмо, которое мы оба подписали. Сделали мы это для того, чтобы

напомнить послу основные пункты (а также для того, чтобы сообщить ему, как пишется мое имя). Письмо не было перепечатано, так что копии у меня нет, но, насколько я помню, оно звучало примерно так:

„Мы хотели бы представить Вам в письменном виде то дело, которое мы Вам только что изложили устно.

1. Непосредственно от семьи Капицы мы узнали, что здоровье его подвергается очень большой опасности из-за задержания в России.

2. Работа К. в Кембридже имеет очень большое значение, и создание его лаборатории потребовало много времени и денег.

3. Если К. не будет разрешено вскоре вернуться, это может серьезным образом отразиться на дружеских отношениях между СССР и учеными других стран.

Мы надеемся, что Вы оцените важность этого дела и свяжетесь по этому вопросу с Вашим правительством“.

Письмо это было написано в более жестких выражениях, чем письмо Комптона. И оно не было таким кратким, каким я его изложил здесь.

Я собирал подписи под обращением (копию которого я послал тебе некоторое время назад), и сейчас оно готово к отправке. Около 60 подписей, включал Эйнштейна, Милликена, А. Х. Комптона, К. Т. Комптона, Г. Н. Льюиса и практически всех ведущих физиков Америки, а также некоторых математиков и химиков. Никто из тех, кого просили подписать, не отказался это сделать. Флекснер пошлет обращение американскому послу в Москве с просьбой препроводить его советскому правительству. Создастся, таким образом, два независимых направления атаки. Я убежден, что советское правительство должно будет что-то сделать по этому поводу, когда они увидят, насколько широкий отпор встречают их действия. Если же они не откликнуться, ты можешь положиться на меня — когда я буду в России, я сделаю все, что в моих силах, чтобы вызволить К. любым путем.

Я не получил в этом году никакого приглашения из России, и это одна из главных причин того, что я решил ехать кружным путем, через Дальний Восток. Об этом я, кажется, уже писал в прошлом письме. Я сомневаюсь поэтому, смогу ли я получить научную визу. А если у меня будет интуристовская виза, то у меня не будет достаточно свободы в России. Чтобы пересечь Сибирь, мне нужна будет транзитная виза, которую очень легко получить, а когда я доберусь до Москвы, то думаю, нетрудно будет ее продлить, как я это сделал в 1929 году. Извести К., что я приеду через Сибирь и буду в Москве в конце июля или в начале августа. Я писал об этом Тамму и Иваненко месяц назад, и К.,

наверное, уже знает об этом от них.

Прилагаю две вырезки из „Нью-Йорк таймс“, ведущей американской ежедневной газеты. Первая из них появилась накануне нашего визита к послу в Вашингтоне.

Переводы писем К. я получил в пятницу утром и показал их Штерну и Милликену перед тем, как мы отправились к послу. Большое тебе спасибо за присылку их. Они очень ясно передают обстановку. Я отправлю их тебе обратно, когда буду уезжать из Америки, поскольку если я возьму их с собой в Сибирь, то из-за них могут быть неприятности.

Я отправлюсь пароходом из Лос-Анджелеса, вероятно, 3 июня. Мой почтовый адрес до этого дня:

С/о Проф. Милликен, Калифорнийский технологический институт, Пасадена, Калифорния.

Заканчиваю это письмо в Принстоне, так как в Вашингтоне у меня не было времени. С лучшими пожеланиями и в надежде увидеть вскоре снова К. в Кембридже».

«14 мая 1935 г., Принстон

Дорогая Анна,

Я получил вчера вечером твое письмо. Я его буду хранить некоторое время, пока не запомню его содержания, а потом уничтожу, и никто не узнает о нем ничего. Я думаю, будет лучше уничтожить все твои письма ко мне. Я очень рад, если смогу быть полезен в этом случае и только хочу сделать еще больше. Если кто-нибудь будет преследовать меня в Москве, то ему придется совершить длинную прогулку.

Я только что получил письмо от Тамма, который приглашает меня отправиться с ним на Кавказ, чтобы походить там по горам. Мне кажется, было бы хорошо, если бы К. присоединился к нам. Прежде всего, это было бы очень полезно для здоровья К. Альпинизм заставляет забыть все свои проблемы и сосредоточиться на сиюминутных трудностях. И еще, я буду располагать неограниченным временем и возможностями, чтобы поговорить с К. Я не думаю, что советское правительство будет иметь что-нибудь против того, чтобы К. провел отпуск на Кавказе, и я абсолютно уверен, что и Тамм будет рад этому. Тамм хотел бы, чтобы, как только я приеду в Москву, мы как можно скорее отправились в Теберду, а затем мы поедем в более дикое место, которое называется Домбай (там живут в основном в палатках). Оттуда мы совершим поход либо к Эльбрусу, либо в Сухум. В своем письме Тамму я не упоминал К. (я знаю, что мои письма в Россию просматриваются, потому что несколько месяцев назад я послал письмо Иваненко, которое не было ему доставлено (я не

знаю почему), а когда я получил назад, то оно было заклеено куда более крепко, чем это сделал я, когда отправлял его). Если ты считаешь, что это хорошая мысль, отправиться нам с Капицей на Кавказ, то не напишешь ли ты ему об этом? Не могла бы ты попросить его поговорить об этом с Таммом. Но если ты считаешь, что лучше все же не упоминать ни Тамма, ни меня в твоих письмах к К., то ты просто можешь предложить К. провести отпуск на Кавказе в конце июля и поехать в Теберду, где есть Дом отдыха для ученых, и я с ним там повидаюсь. Если по какой-то причине ты бы предпочла, чтобы я не отправлялся с Таммом на Кавказ, сообщи мне об этом сейчас же. Достаточно будет послать мне телеграмму со словами: „Отмени поход“. И ни о чем не беспокойся, посылая мне такую телеграмму.

Я думаю, что будет лучше, если я не стану писать тебе с Дальнего Востока. Твое имя на конверте привлечет внимание. Лучше я буду писать через Кокрофта или Ньюмана. Попроси их показывать тебе все письма, которые они будут получать от меня».

«31 мая 1935 г., Пасадена

Дорогая Анна,

Я возвратился назад с письмами Капицы. Их видели, кроме меня, только Милликен, Штерн, Флекснср и Сцилард. Я не знаю, хотела бы ты, чтобы много людей видели их. На Флекснера они произвели очень большое впечатление. Он ярый защитник личной свободы и очень сильно страдает от подобных вещей. Сцилард рвался что-нибудь сразу предпринять — организовать бойкот СССР иностранными физиками или спланировать и тщательно подготовить какой-нибудь способ побега. Сейчас он снова в Англии, в Оксфорде и, возможно, увидит тебя в ближайшее время.

Я получил от тебя телеграмму „отмени поход“. Телеграмма пришла 29 мая, как раз на следующий день после того, как я написал Тамму, что принимаю его приглашение. С моей стороны было очень глупо не подождать подольше, прежде чем ответить ему. После того как я получил твою телеграмму, я снова написал ему, что, к сожалению, я должен вернуться в Англию раньше, чем планировал, и у меня не будет времени, чтобы отправиться с ним на Кавказ, но что я надеюсь повидаться с ним в Москве. (Я надеюсь, что это было приемлемое объяснение.) Второе письмо я послал авиапочтой и всего на день позже, так что, возможно, он получит его первым. Он может удивиться, что я так неожиданно изменил свои планы, но я решил, что будет лучше не тянуть с отменой путешествия, т. к. он, возможно, забронировал мне место

в Доме ученых в Теберде.

Если я могу быть хоть чем-то полезен в Москве (или в каком-нибудь другом месте в СССР), пожалуйста, дай мне знать. Возможно, я смогу поговорить с кем-нибудь из властей, хотя сомневаюсь, что у меня может быть большое влияние, да и язык я до сих пор не знаю достаточно хорошо, чтобы не пользоваться переводчиком. Твое письмо до сих пор у меня, я хочу его получше запомнить, а затем уничтожу, как и все остальные твои письма ко мне, перед тем как въеду на советскую территорию. Пожалуйста, рассчитывай на меня полностью и в твоих делах, и в делах К. Я готов ко всему. Я предполагаю, что повод для „отмены похода“ был тот, что Тамм мог попасть из-за этого в какую-то неприятную историю. Если причина другая, то, пожалуйста, напиши мне, если будет возможно (в письме на Дальний Восток)».

«31 мая 1935 г., Кембридж

Дорогой Дирак,

Извини меня, что я вынуждена послать тебе просьбу отменить путешествие на Кавказ, но твое присутствие в Москве в начале августа будет очень важно. В Москве в этом году будет проходить Международный конгресс физиологов, и приедет много народу. Собирается приехать один из Секретарей Королевского общества сэр Генри Дейл и, возможно, Эдриан. Королевское общество и некоторые другие хотят использовать присутствие в Москве его членов и обсудить положение Капицы и возможность продолжения его работы. Возможно, к ним присоединится и Джон Кокрофт, который будет представлять Р[езерфорда]. И было бы очень важно и тебе быть там и на всех официальных обсуждениях представлять не только свою собственную позицию, но и позицию американских ученых. Все это будет полностью официально, настолько официально, насколько это будет возможно. И крайне важно увидеть очень влиятельных людей в России. Капица скажет, кого именно. Мы еще не знаем, как наше правительство отнесется к советам английских ученых, но конгресс дает очень хорошую возможность.

Кроме того, очень важно, что будет свободная дискуссия между этими людьми и К. Они должны от него услышать, что он думает и чего хочет в будущем. Т. к. ты приедешь в Москву первым, то ты сможешь присматривать за К., чтобы он „не растворился“, как сказал Р[езерфорд], в тот самый момент, когда все иностранные ученые приедут в Москву. Найти его в Москве просто, он всегда останавливается в гостинице Метрополь, а в Ленинграде я дам тебе адрес его матери или моего отца. Кто-нибудь из них должен знать, что случилось с К., если его будет

трудно разыскать.

Я написала К., что ты приезжаешь, и также написала о физиологах. Я надеюсь, что вы все вместе добьетесь чего-то определенного.

Дирак, ты настоящий и очень драгоценный друг».

29 июля 1935 года Дирак приехал в Москву — поездом из Владивостока. На следующий день Петр Леонидович написал Анне Алексеевне в Кембридж:

«30 июля 1935 г., Болшево

…Вчера приехал Дирак, и мы поехали с ним и с Таммом сюда, здесь уже второй день гуляем, катаемся на лодке и разговариваем. Давно мне так не было приятно проводить время с человеком, как сейчас. Чувствуется, что он просто и хорошо ко мне относится и он верный, хороший друг, без лишних слов. Мы много о чем болтаем, дорогая моя, и этот разговор освежил меня. Ведь тут я совсем почти лишен общения с людьми — многие меня боятся, а многие прямо искренне говорят: пока конфликт с Капицей не решен, нам, как [этого] и ни хочется, лучше с ним не видеться. Никогда в жизни я не был так одинок. <…> Приезд Дирака возродил в моей памяти то положение, полное уважения и известности, которое занимал я в Кембридже, [по сравнению] с тем положением загнанной собаки, в которое я поставлен сейчас. Дирак собирается пробыть здесь до физиологов, и я буду, конечно, очень рад быть с ним. Мы, по всей вероятности, будем тут в Болшеве гулять и кататься на лодке и тихо беседовать…»

«4 августа 1935 г., Кембридж

…Я страшно рада, что Поль с тобой. Я думаю, что за все это время у тебя не было такого удовольствия. Он чудесный человек, и я его нежно люблю, и мне приятно, что именно он с тобой. Я знаю, что ты с ним лучше себя чувствуешь, чем с кем-либо другим. И вы вместе можете гулять, ходить, грести, все что угодно. Одним словом, сейчас я знаю, что ты в хороших руках. Передай ему от меня большой, большой привет. И скажи, что я буду ждать его возвращения с нетерпением. Вообще, сейчас у тебя будет масса английских посетителей, один за другим. Тебе придется вспомнить весь твой английский…»

Почти в каждом письме, написанном Петром Леонидовичем жене в августе и первой половине сентября 1935 года, хотя бы несколько строк о Дираке, о беседах с ним, о прогулках…

«5 августа 1935 г., Болшево

…Мы с Дираком хорошо проводим время в Болшеве. Вчера были на вечере самодеятельности в клубе завода. Дираку очень понравились танцы, и мне трудно было его увести. Он, бедняга, немного простужен, но, несмотря на это, мы совершаем с ним длинные прогулки, часа по три…»

«11 августа 1935 г., Болшево

…Мы с Дираком очень мило живем, изредка разговариваем и философствуем. Сегодня собираемся съездить к Коле Семенову вместе. <…> Дирак, как всегда, оригинален, но с ним легко…»

«16 августа 1935 г., Болшево

…Сегодня мы катались на лодке с Дираком. На нас напало человек 40–50 хулиганов в возрасте от 10 до 15 лет. Нас почти что вдребезги забили грязными комьями, палками и каменьями. Мы ускользнули после 15–20 минут борьбы с испачканными костюмами, без всяких увечий, прямо чудом. <…> Все хорошо, что хорошо кончается, но Дирак несколько ошалел от такого приключения. <…> Завтра я еду в город, пробуду там дня три, чтобы повидать физиологов. Дирак едет тоже со мной…»

XV Международный конгресс физиологов, в котором приняло участие 1500 ученых из 37 стран, начал свою работу 9 августа 1935 года в Ленинграде. Последние два дня заседания конгресса проходили в Москве. 17 августа состоялось торжественное закрытие конгресса в Большом зале Консерватории. Делегацию английских физиологов возглавляли лауреаты Нобелевской премии А. В. Хилл и Э. Эдриан. Капица пишет Анне Алексеевне:

«19 августа 1935 г., Москва

…С Эдрианом я послал план миролюбивого решения. Узнай, что думает об этом решении Резерфорд, и расскажи мне. Мне еще не удалось узнать, что наши думают о нем…»

Памятная записка с «планом миролюбивого решения», написанная рукой Дирака, хранится в Архиве П. Л. Капицы. По-видимому, Дирак принимал в ее составлении самое живое участие.

После того как английские ученые, принимавшие участие в конгрессе физиологов, покинули Москву, Капица и Дирак снова отправились в Болшево.

«25 августа 1935 г., Болшево

…[Из тех хулиганов, которые] забросали нас камнями и грязью, 12 мальчишек пойманы, и [их] родителей оштрафовали на 100 рублей каждого. Так что, видимо, выдрали их здорово. Мне даже жалко стало этих парней. Когда теперь мы катаемся по реке, то никого из ребят близко нету. Милиционер изловил этих ребят с некоторой хитростью. Он явился в деревню переодетым и сказал: „Я вот слыхал, что сюда приезжали два каких-то отдыхающих и избили ваших парней“. Тут возникло общее возмущение: „Как! Не нас избили, а их избили. Я, мы избивали… Вот Степан такой-то камень запустил, а Митька то-то…“ т. д. Ну вот, все про себя и рассказали, а на следующий день их в милицию, или, вернее, их родителей…»

«9 сентября 1935 г., Москва

…Дирак уехал вчера. Я его провожал… Было грустно, он очень хороший парень и, нет сомнения, настоящий друг, на которого можно положиться…»

«11 сентября 1935 г., Москва

…Скучаю по Дираку. Он сейчас в Будапеште. Дорогая моя, он тебе расскажет о моем житье-бытье…»

Дирак вернулся в Кембридж незадолго до того, как Анна Алексеевна отправилась в Москву, чтобы все подготовить для возвращения на родину. А в начале января 1936 года она вместе с сыновьями окончательно покидает Кембридж. Дирак в это время был в отъезде.

«15 января 1936 г., Кембридж

Дорогая Анна,

Я был очень огорчен, что мне не удалось повидать тебя перед твоим отъездом. Я возвратился 12-го, меня задержала плохая погода. Но, если бы я знал, что ты пробудешь до 10-го, я бы приехал раньше. Я не поехал во Францию, а был в Австрии, это новая страна для меня. Погода была не очень холодной, и снега было не очень много (это делало катание на лыжах малоприятным), и я совершал длинные пешие прогулки по горам.

Я получил пакет, который ты мне оставила. Я также повидал Коллина и все с ним уладил. Мы тут все обсуждаем погоду в Англии, несколько дней были морозы. Через несколько дней я получу мою новую машину.

Я буду очень скучать без тебя и твоего мужа. Вы были мои самые близкие друзья в Кембридже…»

«В последующие годы, когда мы прочно обосновались в Москве, — рассказывала Анна Алексеевна, — Дирак приезжал к нам регулярно. Сначала один, а потом со своей женой Манси. Дружба Дирака и Капицы, начавшаяся в 20-е годы, продолжалась около 60 лет…»

После кончины Анны Алексеевны, разбирая ее дневники, мы обнаружили там воспоминания о Дираке. Написаны они были, вероятно, в 1988 году:

«Дирак, хочется написать о нем, ведь так хорошо его знали… Его главная черта — честность. Он никогда не отрекался от своего мнения о человеке. Как хорошо он относился к Петру Леонидовичу! Бывал множество раз, когда П. Л. был здесь один или когда он строил лабораторию. На Поля можно было во всем самом секретном положиться. Благородство его характера, удивительный такт. Незыблемость его дружеских отношений. Его теплая, верная дружба с Игорем Евгеньевичем Таммом. Его желание видеть и познавать все новое. Восхождение на вершины Кавказа с Иг. Ев. Вероятно, любовь к риску, при большой скромности и даже некоторой застенчивости. Как он готов прийти на помощь, неназойливо, с любовью искренней. Он любил шутку, но незаметную, смешную и озорную. Когда мы были с ним в Крыму, то за обедом он мог с самым серьезным видом щелчком отправить осу на другой конец стола. С самым серьезным видом, без улыбки на лице.

Он никогда не пил вина и всегда переворачивал рюмку вверх дном. Если суп был горячий, то он наливал в тарелку холодную воду. Его никогда не смущало, но очень интересовало любое общество. Он был, как всякий ученый, очень любознателен. Когда он жил с нами на даче в Жуковке, то мне стоило большого труда упросить его не лазать через заборы правительственных дач! Однажды, гуляя в лесу, как всегда небрежно одетый, он лег отдохнуть под деревом. Очевидно, все же недалеко от „зеленого забора“. К нему подошли охранники и когда поняли, что он иностранец, то увели его с собой в милицию, до опознавания личности. В милиции он очень интересовался всем вокруг, ходил всюду, заглядывая, на удивление милиции, в разные их помещения. Говорили они на ломаном немецком языке, и поэтому, когда Поль спросил: Ist das GPU? (Это ГПУ?), они решили, что он спрашивает: Welch Uhr? (Который час?)

Все же они договорились, что он живет с нами на даче в Жуковке. Привезли и долго извинялись, но Дирак был очень доволен приключением.

Когда он впервые приехал к нам, мы жили еще на Пятницкой улице. Его поезд пришел так поздно, что Дирак решил узнать,

можно ли в Москве переночевать на улице, и спокойно провел ночь на какой-то скамейке. Его любознательность была непредсказуема, но он всегда выходил из всех самых сложных положений. Вероятно, импонировало его спокойное и почти величественное отношение. Ему всегда было интересно. Когда в разговоре ему что-нибудь было непонятно, он продолжал спрашивать, пока не выяснит того, что его интересовало.

Манси была очень темпераментна, прямая противоположность Полю, но они как-то хорошо уживались, хотя Манси могла делать ему замечания. Манси сначала не приняла нашей семьи, когда, приехав к нам на Николину Гору, увидела полный разгром — дача только начинала строиться, дети бегали и шумели, кругом говорили громко на непонятном языке, надо было спать в маленькой дачке, где спало еще много незнакомых людей, кто в гамаке, кто на чердаке. Умывались все в саду, на деревьях были повешены умывальники. W. C. был вдалеке, в будке. Рядом была река, куда все ходили купаться. Ели и пили тоже за большим столом на открытой террасе. Все это привело Манси в отчаяние, и она умоляла Поля ее скорее отсюда увезти. Но Полю это все нравилось, он уговорил Манси остаться. Она смирилась с этим бедламом, и потом уже мы стали настоящими друзьями…»

В последние годы Капицы и Дираки виделись не часто, давал знать себя возраст. Каждая встреча могла быть последней. Как-то Анна Алексеевна записала в своем дневнике: *«27 июня 1979 г. Эричи.* Прощались с Дираками. Дирак трогательно спросил, может ли он меня поцеловать. Я была очень тронута. Они уехали рано утром…».

Жена «дела Капицы» *(Е. Капица)*

Анна Алексеевна очень неохотно вспоминала год, проведенный в Англии без Петра Леонидовича. До этого времени они прожили в браке семь лет, и Анна Алексеевна всегда отмечала, что это были самые счастливые годы в их жизни. Оба они были молоды, жизнерадостны, Петр Леонидович уже имел достаточно прочное положение среди своих коллег-физиков, работа его была на подъеме. И вдруг в одночасье все оборвалось.

Может быть впервые за свои тридцать с небольшим лет Анна Алексеевна оказалась один на один со сложнейшей жизненной ситуацией. Она должна была представлять интересы Капицы в Англии, улаживать, утрясать все возникшие в результате такого неожиданного поворота событий проблемы. Анна Алексеевна была абсолютно полномочным представителем Капицы, вела огромную переписку с крупнейшими учеными и политиками, разговаривая с ними на равных, и в первую очередь потому, что сознавала себя проводником интересов Капицы. Она никак не могла смириться с создавшимся положением вещей и отчаянно боролась за возможность для Петра Леонидовича вернуться в его кембриджскую лабораторию. Иногда действия Анны Алексеевны были в высшей степени импульсивны, возможно, не всегда продуманны до конца, но вряд ли ее можно в этом упрекнуть. Она получала из России письма Петра Леонидовича, в которых он был с ней предельно откровенен, описывая свое душевное состояние (см. «Письма в год разлуки»).

Вынужденная жить за тысячи километров от мужа, Анна Алексеевна, конечно, очень страдала и испытывала колоссальное душевное напряжение, но практически никогда она не позволяла себе показывать это в письмах к Петру Леонидовичу. Тон этих писем в основном нарочито спокойный и деловой. О ее душевном состоянии мы можем судить только из слов, брошенных вскользь в письмах к друзьям и коллегам Капицы:

«Так случилось, что я стала женой „дела Капицы“ и каждое усилие помочь ему воспринимаю очень остро…» (из письма к Г. Ласки, 24 июля 1935 г.); «…Читая письма Капицы, я не могу отделаться от необычайно острого ощущения чудовищной жестокости и бездушности всего происходящего…» (из письма к П. Дираку, 9 апреля 1935 г.); «Я очень рада, что он чего-то хочет, это дает мне надежду, что вернется вновь к нему его удивительный интерес к жизни, способность получать удовольствие от того, что происходит вокруг него. Я не могу думать без ужаса о том годе, который он провел в России, и

теперь он начинает или пытается начать жить…» (из письма к П. Росбауду, 6 августа 1935 г.). Можно привести еще множество подобных замечаний, рассеянных по разным письмам.

Конечно, Анна Алексеевна рвалась в Москву к мужу. Но почти год она не могла себе этого позволить. Ее связывали и необходимость отстаивать интересы Петра Леонидовича за границей, и страх перед действиями советских властей. Причем, боялась она не за свою жизнь и жизнь своих детей (их она собиралась оставить в пансионе в Англии). Она боялась, что ее присутствие в России может быть использовано для шантажа и давления на Капицу и он не сможет быть абсолютно свободным в своих поступках.

Но все же в конце лета 1935 года она, после согласований с Петром Леонидовичем и Резерфордом, решила ехать в Россию. В письме, написанном близкому другу и ученику Капицы В. Вебстеру, видно, как радуется она предстоящей поездке, несмотря на то что отчетливо представляет себе всю связанную с ней опасность:

«14 августа 1935 г., Кембридж

….Немедленно сообщаю тебе новость: я плыву в Россию примерно через три недели!

Капица пишет, что он разговаривал с представителями правительства, в частности с Межлауком, который сказал ему, что они очень хотят, чтобы я приехала, потому что они верят, что я помогу Капице и т. д. Я написала ему, что настоящая причина, возможно, в том, что им надоело мое вмешательство, как говорил Майский. Но он (К.) думает, что в настоящее время я могу приехать абсолютно безопасно, и что у него есть формальные уверения Межлаука, который сказал, что достаточно его и Молотова слов, и что они говорят, что я смогу абсолютно свободно приехать и уехать. Ну, я думаю, кто-то из нас должен же начать доверять другой стороне, и даже хорошо, что это буду я.

Дирак в России и все время проводит с К., Эдриан собирается очень скоро навестить его, а потом и я приеду, и я думаю, что это очень его поддержит. Мне кажется, что происходят значительные изменения в их (Капицы и советского правительства. — *Е. К.*) отношении друг к другу, и я надеюсь, что это происходит не только благодаря Конгрессу, а что это начало взаимопонимания. К. пишет, что он по-прежнему считает, что после того, как я побуду там, тебе будет необходимо приехать, потому что, говоря по правде, он не доверяет нашим людям и тому, что они говорят.

Я уславливаюсь со всеми таким образом — в случае крайней необходимости присмотреть за детьми я поручаю госпоже

Робертсон, я даю ей все полномочия, чтобы моя мама чувствовала, что она не совсем одна. Все научные бумаги Капицы с разрешения Резерфорда я сложила на чердаке Кавендишской лаборатории, а тебя хотела бы попросить сохранить все мои частные бумаги, переписку и т. д., относящиеся к делу Капицы. Если дело обернется совсем плохо и мы с Капицей оба попадем в тюрьму, то ты должен будешь вести мои дела здесь. Я прошу тебя об этом, потому что в продолжение всего этого трудного года ты был для меня большим и надежным другом, а кроме того, ты уходишь в „политику“, и тебе будет, возможно, интереснее, чем кому-либо другому, проследить за этим „делом“ до самого конца. Я уверена, что Ласки поможет тебе в этом случае, я напишу ему об этом.

Все мои частные бумаги я положу в пакет, напишу на нем твое имя и оставлю для тебя.

Да, интересно, что я увижу в России, но снова быть с Капицей — это такое облегчение, что я ни о чем не думаю.

Дай мне знать, согласен ли ты забрать пакет, если я не вернусь…»

Вскоре Вебстер ответил телеграммой:

«С удовольствием сделаю для тебя все, что могу. Вебстер»

Однако дела с поездкой в Россию осложнились. Это видно из письма к Росбауду, давнему другу семьи Капиц.

«31 августа 1935 г., Кембридж

…Мои дела в настоящий момент хуже некуда. Я снова просила в посольстве СССР гарантий, что я смогу вернуться назад, т. к. мои дети остаются здесь. Они не отказали мне полностью, но отказались разговаривать со мной в присутствии третьего лица. <…> Я очень огорчена, ведь я думала, что, наконец, увижу Капицу. <…> Целый год мы жили в разлуке, и в тот момент, когда, как мне казалось, наступило просветление, все рухнуло.

Резерфорд и все мои английские друзья очень против того, чтобы я ехала, не получив настоящих гарантий, что можно будет вернуться назад. И я чувствую, что не имею права делать что-нибудь против воли Резерфорда.

Вот видите, как все сложно. Так странно, что они так грубы и невежливы со мной, если они хотят, чтоб я приехала, и, кажется, зачем начинать всю эту суету, если у них нет желания задержать меня в России?

Самое плохое в противостоянии правительству — то, что

человек чувствует себя полностью в их власти…»

П. Росбауд — А. А. Капице

«4 сентября 1935 г., Берлин

…Мне кажется, что Ваши дела с поездкой в Москву очень плохи. Я очень боюсь, что если они даже не хотят говорить об этом в присутствии третьего лица, то это абсолютно ясный сигнал, что Ваши люди в настоящий момент не разрешат Вам вернуться назад к детям. Мне очень жаль, что я не могу помочь Вам, так как Вы, и только Вы можете знать, должны ли Вы ехать к Капице или оставаться в Кембридже с двумя детьми, должны ли делать что-либо против воли Резерфорда или нет. <…> Трагизм ситуации в том, что Вы оказываетесь разлученной или с Капицей, или с детьми, а они все нуждаются в Вас…»

Анна Алексеевна отвечает ему письмом, в котором предельно откровенно звучат ее любовь и преданность Петру Леонидовичу:

«9 сентября 1935 г., Кембридж

…Вы говорите в своем письме, что я должна сделать выбор, прийти к какому-то решению. Нет, мне нечего решать, моя жизнь — с Капицей, у детей своя собственная жизнь. Они смогут остаться в Англии, и, если что-нибудь случится с нами с обоими, я уверена, друзья Капицы присмотрят за ними. Это не волнует меня нисколько. <…> Весь вопрос в том, будет ли мое присутствие в России полезно для Капицы. Я не сомневаюсь ни на секунду, что ему персонально будет гораздо лучше. За тот год, что мы провели в разлуке, мы узнали и полюбили друг друга больше, чем за все 7 лет, которые мы были вместе. Все это так, но, может быть, мое присутствие будет использовано, чтобы оказывать на него давление — это единственное, что меня беспокоит. Весь этот год он чувствовал, что может абсолютно свободно говорить нашим людям все, что он считал правильным, и он знал, что и я, и дети в полной безопасности. Но предположите на один момент, что они начнут оказывать на него давление, угрожая сделать что-нибудь со мной. Это единственно, что удерживает меня от поездки туда даже без всяких гарантий. Это выглядит настолько абсурдным, что мы в XX веке думаем о такой возможности, но как бы она ни была мала, если она существует, мы не должны забывать о ней. Это был сильный удар для Капицы, он ждал меня, а я должна воздержаться от поездки…»

Однако все дела постепенно уладились, и Анна Алексеевна смогла уехать в Россию. Она пробыла вместе с Петром Леонидовичем около полутора месяцев и возвратилась в Англию с твердым намерением переезжать вместе с детьми в Москву. Она, видимо, очень хорошо поняла, что в создавшейся ситуации дальнейшая борьба за возвращение Капицы в Англию бесполезна и для них обоих будет самое лучшее как можно скорее жить снова всем вместе.

Она феноменально быстро, менее чем за два месяца, «свернула» всю свою многолетнюю жизнь в Англии. Причем надо отметить, что она не только занималась упаковкой предметов домашнего обихода. Ей было необходимо уладить множество формальностей, решить дела с домом. Кроме того, она вместе с коллегами Капицы участвовала и внимательно следила за упаковкой и пересылкой в Москву оборудования Мондовской лаборатории и бумаг Капицы. И это было для нее самым главным. (Хочется в связи с этим вспомнить один эпизод, произошедший много десятилетий спустя. В созданный Анной Алексеевной Мемориальный музей П. Л. Капицы как-то забрались воры. Они унесли несколько фотоаппаратов Петра Леонидовича, коллекцию старинных монет. Придя в музей после этого события, Анна Алексеевна не очень огорчилась пропажам. Она только повторяла: «Какие „благородные“ воры. Они не причинили никакого вреда приборам Петра Леонидовича. Ведь это самое ценное в нашем музее».)

Уезжая из Кембриджа, Анна Алексеевна очень хорошо понимала, что если «материальная составляющая» жизни Капицы и будет благополучно улажена, то он все равно будет очень страдать из-за своей изоляции от всего научного сообщества. Она уже и раньше писала об этом в письмах к друзьям и коллегам Петра Леонидовича:

«…Капица не представляет собой индивидуальный случай, но отражает собой положение всей русской науки, которая сильно страдает из-за узконациональной политики нашего правительства. А эта политика проистекает из полного игнорирования научного мира. <…> Ученые России очень страдают от их изоляции от остального мира». (Из письма Н. Бору, 25 мая 1935 г.); «…Очень грустно видеть, как рвутся все связи между Капицей и британской наукой, одна за другой. Я не думаю, что Капица когда-нибудь сумеет забыть, как разумно и замечательно с ним обходились в Англии. Я испытываю громадную признательность, в первую очередь лорду Резерфорду, а также Кембриджскому университету и Королевскому обществу, двум великим организациям, которые в своем стремлении к

научным целям поднялись выше национальных барьеров и приняли Капицу, иностранца, основываясь только лишь на его достоинствах…» (из письма Ф. Смиту, 26 июня 1935 г.).

Перед отъездом по просьбе Петра Леонидовича Анна Алексеевна пишет главному редактору Nature Р. А. Грегори:

«21 декабря 1935 г., Кембридж

…Я Вам пишу по просьбе моего мужа проф. Капицы. Мне бы хотелось знать, найдете ли Вы возможным вставить в один из ближайших номеров Nature небольшую заметку о том, что проф. Капица собирается работать в дальнейшем в Москве, и дать его новый адрес.

В прошлом году в Nature была заметка о его задержании в Москве. (Вам, может быть, интересно узнать, что в России в целом ряде номеров Nature эта заметка была вырезана!) Для Капицы было бы очень важно, если было бы отмечено изменение его адреса в Вашем научном журнале, имеющем самое широкое распространение.

Пока ничего нельзя сказать о новой лаборатории, она еще в нерабочем состоянии, и я знаю, что Капица не любит говорить о будущих планах до их материализации. В последние несколько месяцев отношения Капицы с правительством укрепились настолько, что он счел возможным начать работу в Москве. Но он не изменил своего отношения и по-прежнему считает, что способ, с помощью которого его заставили работать в Москве, неправильный.

Нигде он не будет так счастлив, как был в Кембридже. <…> Только его непоколебимая позиция заставила наше правительство осознать, что бесполезно пытаться его запугать и единственно, что возможно — это рискнуть ему доверять.

Я пишу Вам все это, потому что Капица всегда отзывался о Вас с большим уважением и потому что я знаю, что Вы проявляете интерес к жизни в России…»

Выполнив поручение Петра Леонидовича, она, вероятно, уже по собственной инициативе, пишет в тот же день еще четыре письма ведущим физикам в разные страны — Бору, Ланжевену, Мейтнер, Сигбану. Во всех письмах Анна Алексеевна более или менее подробно сообщает о теперешнем положении Капицы и просит поддержать его в новой жизни на новом месте, не забывать его, писать ему.

«21 декабря 1935 г., Кембридж

Дорогой Профессор Бор,

У Капицы дела лучше, и я надеюсь, что очень скоро он снова будет работать. Он пришел к компромиссу с советским правительством относительно лаборатории. Наше правительство согласилось закупить все оборудование из Англии. Резерфорд, после приватных переговоров с Капицей, показал свою обычную широту мысли и убедил все заинтересованные стороны, как, например, Королевское общество и Университет, согласиться на перевозку оборудования.

Однако душевное состояние Капицы вызывает беспокойство, он очень неуверен в себе, не уверен, хватит ли у него сил продолжить борьбу за свои права, он чувствует себя совершенно изолированным от всех своих зарубежных коллег. По моему мнению, в настоящий момент очень важно показать ему, что его друзья не только не забыли его, но будут следить с симпатией и интересом за развитием его исследований в новой обстановке.

Я прошу всех его друзей помнить это и сделать все, чтобы восстановить в нем уверенность, необходимую для работы и жизни. Я не сомневаюсь, что переезд в Москву его приборов и возможность вновь работать, а также поддержка его друзей помогут ему преодолеть все трудности.

В начале января я возвращаюсь в Россию с мальчиками…»

В прошедшие месяцы в письмах Анны Алексеевны часто прорывалась досада на то, что Поль Ланжевен не хочет активно бороться за возвращение Капицы в Англию. Но это уже в прошлом, а сейчас она понимает, как важна для Капицы поддержка такого выдающегося ученого и большого друга.

«21 декабря 1935 г., Кембридж

Дорогой господин Ланжевен,

Пишу Вам, потому что знаю, что Вы будете рады, что дело Капицы почти закончено. Говорю почти, потому что, даже если советское правительство и стало обращаться с Капицей более прилично, оно еще далеко от того, чтобы оказать ему полное доверие.

Рада сообщить Вам, что они нашли компромисс. Правительство согласилось с мнением Капицы, что он не сможет восстановить заново в Москве все приборы и что самое лучшее — это купить кембриджскую лабораторию. Правительство согласилось предоставить Капице свободу действий. Он написал Резерфорду и попросил его помочь в этой покупке. Резерфорд, со своей стороны, убедил Королевское общество и Кембриджский университет, заинтересованных в этом деле.

В Москве для приема всех этих приборов был построен

институт. Теперь дело за Капицей — работать и доказать свою добрую волю. К сожалению, он часто в состоянии неуверенности в себе, неуверенности в том, что все наладится. Вот почему я обращаюсь ко всем его друзьям с просьбой дать ему почувствовать, что все его друзья за границей понимают, насколько это для него трудно начать все с начала, и, кроме того, что он не будет забыт своими зарубежными коллегами.

Пишите ему, дайте ему понять и почувствовать, что у него по-прежнему есть друзья во Франции. Сейчас более чем когда-либо это ему необходимо.

Я абсолютно уверена в том, что спустя год или два отношения между Капицей и нашим правительством станут не просто нормальными, но и дружескими. Совершенно очевидно, что для русской науки очень важно иметь такого человека, как Капица. Он не только выдающийся ученый, но для него вопрос интернационализма в науке не пустое слово, а дело всей жизни…»

Примерно о том же она пишет и Лиз Мейтнер в Германию и, кроме того, просит ее «объяснить всем друзьям Капицы его теперешнее положение».

«21 декабря 1935 г., Кембридж

…С материальной стороны все обстоит благополучно, но это стоило Капице таких колоссальных усилий, что теперь временами он чувствует себя подавленным. В нем нет той уверенности в себе, которая необходима человеку в его положении, когда начинается новая жизнь, и особенно, в таких трудных условиях. <…>

Я пишу Вам, потому что Вы всегда были расположены очень дружески к нам обоим, и я могу просить Вас объяснить всем друзьям Капицы его теперешнее положение. Это, как мне кажется, будет лучшим способом помочь ему.

В начале января я собираюсь с мальчиками в Москву и очень бы хотела повидаться с Вами, когда мы будем проездом в Берлине…»

Анна Алексеевна пыталась охватить своим призывом все ведущие физические центры Европы. Пишет она и крупнейшему шведскому физику М. Сигбану:

«21 декабря 1935 г., Кембридж

…Вы были так добры и проявляли интерес к нему во время наиболее трудного периода его жизни, и я осмелюсь попросить

Вас не забывать Капицу, сейчас, когда он в Москве. Он потерял 2 года в своей научной работе и чувствует себя отрезанным от своих коллег за границей. Я думаю, что для него сейчас самое важное — ощущать, что он не забыт и не покинут своими друзьями.

Я пишу об этом, потому что его моральное состояние сейчас оставляет желать лучшего, на него большое впечатление произвели все драматические события прошедшего года. Любовь и интерес к нему со стороны всех его друзей ученых помогут ему справиться с ситуацией. И, конечно, немаловажен тот факт, что скоро задействуют снова его приборы и он сможет вновь работать, чего он был таким ужасающим способом лишен…»

Очень страстно Анна Алексеевна излагает свою позицию в письме к Веббам, с которыми в недавнем прошлом были сильные разногласия. Причем Веббы — это не ученые, а политики, поэтому в письме к ним она пишет уже совсем о другом.

«23 декабря 1936 г., Кембридж

…Капице не привыкать отстаивать свои права, и все, чего он достиг в своей жизни, достигнуто благодаря его бескомпромиссности, его вере в свою правоту, его абсолютной честности. <…> Мне хотелось написать вам, потому, что вы оба были очень добры ко мне даже тогда, когда не соглашались со мной, и мне не хотелось бы оставить у вас плохое мнение о себе. Но я должна сказать, что я всегда буду сражаться на стороне Капицы, сражаться за право ученого идти своим путем, не зависеть ни от каких властей и смотреть на все глазами ученого-интернационалиста. Пока нигде этого нет, но это не значит, что такое невозможно…»

Анна Алексеевна хотела заручиться поддержкой ученых разных стран. Последние ее письма, написанные уже перед самым отъездом из Кембриджа, адресованы в Норвегию — профессору Росселанду и в Испанию — профессору Кабрере. Примечательно письмо, адресованное Росселанду. В нем Анна Алексеевна как бы подводит итог длившегося больше года поединка Капицы с советскими властями и, кроме того, пишет об отношении Капицы к засекречиванию научных исследований.

А. Капица — С. Росселанду

«1 января 1936 г., Кембридж

…Я не так давно видела Капицу и нашла, что за исключением

периодов депрессии он не очень плох. Самое главное для него в настоящее время — это чувствовать симпатию и любовь своих коллег и друзей. Он начинает новую жизнь после ужасающей борьбы за свои права. И я должна сказать, что даже если он и проиграл в том отношении, что ему так и не дали выехать из России, но в то же время он выиграл по многим другим позициям, таким, как полная независимость в своих исследованиях, размер его института (это будет первый маленький научно-исследовательский институт в России), возможность заниматься чистой наукой, безо всякой секретности, когда можно все публиковать и т. д. Он думает, что одно из бедствий русской науки — это засекречивание многих исследований, потому что они, возможно, относятся к военной тематике. Кроме того, он добился полной независимости в выборе себе ассистентов и т. д. Я уверена, что все перечисленное, на ваш взгляд, является нормой в научной работе, но в России до сих пор спорят о том, как сделать науку наиболее эффективной, и они до сих пор не поняли, что чем меньше тревожить ученых, тем лучше они работают.

Я искренне верю, что все произошедшее с Капицей будет очень полезным для русской науки, так как они (власти) в первый раз отчетливо увидели, как и что о них думает ученый и каков результат, когда они используют неверный подход к человеку, который имеет мужество говорить…

Вы хороший друг Капицы, напишите ему, ободрите его, поддержите его в его борьбе, но самое лучшее будет, если вы приедете навестить его…»

Письмо к Кабрере написано практически в день отъезда, и в нем с необычайной силой звучит готовность Анны Алексеевны к отстаиванию вместе с Петром Леонидовичем такого важного для них понятия, как свобода личности.

«11 января 1936 г., Кембридж

…Он бескомпромиссен в своих взглядах на интернациональный характер науки, никогда не считал обращение с собой правильным или оправданным, и он заставил наше правительство уважать его, хотя это стоило ему немало сил. Я думаю, что с ним все будет в порядке и он сможет продолжать свою работу в Москве. Это будет непросто, но за это стоит бороться.

Я считаю, что в настоящий момент для него нужнее всего чувствовать, что все его коллеги-ученые интересуются им и сочувствуют его участи, чувствовать, что он не изолирован и не заперт в России. Вам известно, что он всегда старался сделать

науку интернациональным делом, и я ни на секунду не сомневаюсь, что он будет продолжать эти усилия и в России, делая все для того, чтобы люди поняли, что самая важная вещь для науки — свобода и что ученые должны иметь возможность свободно встречаться и общаться, а не быть запертыми в одной стране без права выезда за границу. Капицу ждет трудная и требующая усилий жизнь, но я уверена, что так жить стоит.

Пожалуйста, пишите ему, присылайте Ваши статьи в его московский институт, и я уверена, что когда-нибудь мы будем иметь удовольствие увидеть Вас и мадам Кабрера в Москве…»

Анна Алексеевна и Петр Леонидович уехали, и за ними опустился «железный занавес», но они оставляли в Англии и по всему миру хороших друзей, которые не забывали их.

В Москве Анна Алексеевна продолжала всячески поддерживать связь Капицы с его зарубежными друзьями и коллегами, связь не профессиональную, но дружескую и теплую. В Архиве П. Л. Капицы хранится письмо Анны Алексеевны В. Вебстеру с прикрепленной к нему запиской, написанной ее рукой: «Письмо от А. А., что часто бывало, вместо П. Л.».

«31 марта 1936 г., Москва

Мой дорогой Вильям,

Я давно собиралась написать тебе, но просто никак не могла выкроить время. Сначала все мои мужчины болели, подцепили простуду, а потом у них, естественно, были всевозможные осложнения и т. д., но теперь все наконец-то снова в порядке. Мы бы очень хотели знать, как у тебя дела, как все твои мерзкие болезни, стало ли тебе наконец лучше. Интересно, когда ты будешь в полном порядке и приедешь нас навестить?

В Институте все идет своим чередом, большая машина уже на своем месте и готова к работе, как и все оборудование, приехавшее из Англии.

Капица полон энергии, тем более что виден конец организационного периода и он чувствует, что скоро начнет работать. Я думаю, что он считает не только дни, но и минуты, оставшиеся до того момента, когда он приедет в лабораторию не для того, чтобы подписывать бесчисленные счета, бумаги и т. д., а для того, чтобы приступить наконец к своей научной работе.

Я хочу рассказать тебе немного о том, что здесь происходит. Во-первых, он взял к себе на работу женщину-инженера, помнишь, я рассказывала тебе о ней? Она представляет собой великолепный пример русских нового образца, причем не только женщин, но и мужчин. Она происходит из украинской крестьянской семьи, одна

из 14 детей. Ей удалось еще до Революции получить университетское образование, что уже само по себе говорит о том, что она умная и энергичная женщина. Позже, во время грандиозного строительства в нашей стране, она получила и еще одно образование плюс к математическому, еще и инженера-электрика. В то же время она — старый член партии, и очень верный член, много раз ей приходилось быть арбитром в разного рода деликатных ситуациях, я думаю, что буду не далека от истины, если скажу, что партия ей полностью доверяет. До своего прихода к Питеру она занимала ответственный пост на большой электрической станции. Она абсолютно удивительна в своих взаимоотношениях с людьми, она очень скоро понимает, какой именно „кнут“ нужен для данного человека, и заставляет всех очень хорошо работать. И все это без какой-либо суеты, она всегда очень спокойна, всегда выглядит опрятно, безо всякой спешки, никогда не производит ненужного шума, как это делал у Питера первый его помощник „О“ (Л. А. Ольберт — *Е. К.*), ты помнишь этого нахала, слава Богу, он ушел на более важную работу! И покинул Институт. Стало так тихо, что ты с трудом узнаешь Институт.

Питер не перестает с удивлением повторять мне, что за замечательная женщина Ольга, а я на него за это сержусь, потому что мне кажется это настолько очевидным, зная о ней все, что даже и предположить невозможно, что она может быть глупа. Когда Питер удивляется, то это ущемляет мою женскую гордость, говорить такое значит — не доверять или, правильнее сказать, не верить, что женщина в принципе может быть столь же квалифицированной, как и мужчина.

Мне будет чрезвычайно интересно наблюдать, как Питер будет делать из нее ученого, т. к. она должна остаться в Институте, когда строительство и организационная часть работы закончатся. Знаешь, удивительно то, что Питер — единственный директор научного института, у которого заместитель — женщина. Но надо думать, что когда-нибудь в России будет больше женщин на таких должностях.

Питер думает, что в мае приедет Лаурман, и тогда он снова почувствует себя в своей тарелке и будет работать. Меня очень раздражает здесь громадное количество бесполезных людей, людей, которые оказались здесь лишь потому, что надо ведь где-то быть и зарабатывать себе на хлеб. И это так отличается от Кембриджа, где каждый человек в лаборатории находится там, потому что он любит эту работу и выбрал ее делом жизни. Я надеюсь, что, когда начнется настоящая работа и лаборатория заживет своей собственной жизнью, все эти кассиры, бухгалтеры,

пожарники, грузчики, уборщицы и т.д, и т.д, и т.д уйдут на второй план, будут где-то за порогом лаборатории. И еще я мечтаю о том времени, когда Капица снова станет самим собой, погруженным в свои мысли, с отсутствующим взглядом, рассеянным, когда кто бы на земле не обращался к нему, он ничего не слышит. Вот тогда и я почувствую себя дома, потому что сейчас меня не покидает странное чувство, что я приехала погостить, а не остаться здесь навсегда, очень жуткое чувство.

Мне нравится здешняя жизнь, люди интересуются всем, что происходит, им доставляет удовольствие видеть, как с каждым днем растут производственные показатели, все они настроены очень социалистически, общественные интерес — это их интересы, хотя, конечно, у них есть личная жизнь, семья и т. д. Но как бы то ни было, это похоже на чувства, проявляемые во время войны, когда людей объединяет одна общая задача. Мне бы только хотелось иметь возможность встречать больше молодых людей, чтобы понять, что они собой представляют, что они чувствуют, как живут. И еще мне хочется побывать в деревне, посмотреть жизнь в коллективных хозяйствах. Мне всегда казалось, что кооперация, если ее правильно понять и применять, — самый лучший способ работы.

Все портреты[108] уже на стенах лаборатории, и они делают кабинет Питера уютным, нет этой ужасной чиновничьей атмосферы.

Знаешь, отношение к Питеру здесь очень разное, некоторые не знают, как его воспринимать и какое с ним лучше всего заключить соглашение, некоторые завидуют, говоря, что для него все сделано и что он счастливчик! Конечно, счастливчик — смешное слово, чтобы описать все произошедшее за последний год. И наконец, некоторые ведут себя по-человечески, и это так чудесно.

Скажи мне, чем ты занят и как твои занятия экономикой? Что думают в Лондоне о чудовищной ситуации в Европе, стоим ли мы уже на пороге войны или это произойдет еще не так скоро. Итальянцы, похоже, стараются держаться в тени милитаристской Германии. Интересно, как чувствуют себя в Центральной Европе, имея под боком такого соседа?

Поедешь ли ты в ближайшее время в Кембридж? Питер нервничает, потому что они недостаточно быстро пересылают оборудование, это сдерживает устройство лаборатории и, конечно, в высшей степени раздражает Питера, т. к. он чувствует, что уже достаточно бездельничал, между тем как Джон и Профессор (Резерфорд. — *Е. К.*) то и дело уходят в отпуск. Мне кажется, Профессор считает, что Питер снова думает только о

себе, когда пишет ему письма.

Джон говорил, что вскоре собирается поехать на Кавказ, интересно когда? Будет очень забавно увидеть его снова.

Ну, вот и всё, желаю тебе здоровья.

Анна»

Дополняет картину жизни Капицы в России и письмо Анны Алексеевны, адресованное профессору Ласки. Она, уезжая из Кембриджа, обещала писать ему каждые три месяца «отчеты» об их жизни в Москве.

«26 апреля 1936 г., Москва

Дорогой профессор Ласки,

Почти три месяца прошло с тех пор, как я приехала с детьми в Москву, и должна сказать, что все становится лучше и движется в правильном направлении. Когда я говорю, „в правильном направлении“, то имею в виду, что Капица может работать. Конечно, по-прежнему в Институте много надо сделать, все приборы надо еще устроить на своих местах, не все они еще приехали из Англии, но все это лишь вопрос времени. Самое неприятное время строительства Института уже позади, и действительно здание прочно стоит на земле. Электрическая проводка для всех лабораторных машин тоже сделана, сооружены и фундаменты, способные выдержать все прибывающие большие компрессоры и всякую всячину.

Капица очень доволен, что ему удалось получить очень умелого и умного помощника директора, она (О. А. Стецкая. — *Е. К*) старый член партии и имеет два образования — математическое и инженера-электрика, очень подходящий человек для такой работы. В то же время она знает, как заставить людей работать, а это здесь очень важно.

Самая безнадежная сторона в организации русской науки — это полное отсутствие каких-либо мест, где можно было бы получить материалы и приборы, если они потребовались срочно и неожиданно, так как, по существующему здесь забавному правилу, вы должны заказать в начале года все то, что вам, возможно, понадобится в дальнейшем. Если этого не сделано, то позднее вам придется даже за малейшим пустяком обращаться в самые высокие инстанции. Капица изо всех своих сил пытается изменить эту нелепую систему. Все остальные ученые согласны, что это было бы великим благом, однако не желают и пальцем пошевелить, чтобы поддержать его.

Самое неприятное в здешней научной жизни — это всеобщая инертность: они уверены, что уже сделали всё от себя возможное

и без толку пробовать снова. Мне кажется, что это абсолютно ошибочный образ мыслей, так как сейчас в России очень важно проявить характер и настойчивость. Вы должны абсолютно точно знать, чего вы хотите, и этого добиваться. Я полностью уверена, что для этого есть большие возможности. Однако в то же время вам следует быть готовым к хорошей драке, и самое плохое в здешних ученых — это то, что они давно отказались от мысли сражаться за свои идеи и просто плывут по течению, а их протест ограничивается ворчанием по поводу того, что они слишком заняты посторонними делами и у них не остается времени на научные исследования, словно это не их собственная вина.

Меня и вправду забавляет, когда я слышу, как некоторые из них говорят Капице: „Вам повезло, для вас всё делают“, как будто удача сама свалилась ему на голову. Хотела бы я видеть, как бы они повели себя в сражении, которое ему пришлось вести за свою работу, за свои права в течение всего последнего года. Я думаю, что очень важно заставить ученых ожить, а молодежь, которая явно настроена иначе, должна осознать, что представляет собой огромную силу.

Одним словом, здесь масса дел помимо научной работы, предстоит много сделать и в организации науки.

Самое поразительное, что в Москве нет места, где физики могли бы встретиться, чтобы обсудить свою работу, новые физические идеи и тому подобное. Некоторые группы пытаются собираться, но в конце концов они распадаются, потому что люди слишком измучены после своей дневной работы и они просто не могут заставить себя снова садиться на трамвай и ехать на другой конец города. А днем они слишком заняты, чтобы устраивать собрания, так что все усилия ни к чему не приводят.

Капица по своей сути очень общительный человек, он организовал в Кембридже физический кружок, который сейчас носит его имя, и я абсолютно уверена, что в будущем он сделает что-нибудь подобное и здесь. Я не думаю, что это произойдет в ближайшие год или два, пока институт не заживет полнокровной научной жизнью, пока научная работа не будет развернута и не даст какие-то результаты и пока другие ученые не поймут, что ничего плохого в общении с Капицей нет. В настоящее же время их отношение к нам очень настороженное, они явно считают, что нас лучше избегать.

Не знаю, когда люди у нас поймут, что Капица не такой страшный преступник, как им кажется, что им просто надо сделать попытку и посмотреть, что из нее выйдет. Однако вся необходимая помощь институту оказывается, так что пожаловаться не на что, хотя, как Вы сами сказали, она должна

быть постоянной, а не эпизодической. И, конечно, самым большим показателем будет — разрешат ли Институту работать так, как хочет директор, или он вынужден будет снова воевать за свое право заниматься теми исследованиями, которыми он хочет, а не теми, которых от него хотят. Пусть у нас уже есть некоторый опыт борьбы с любыми трудностями, однако эта борьба означает пустую трату времени. Должна сказать, что у меня нет никаких оснований ожидать такого хода событий; кроме того, я знаю, как хорошо Капица может противостоять любому давлению.

Интересно, увидим ли мы Вас в Москве в следующем году? Мне очень бы этого хотелось, и мне хотелось бы знать, каким Вы найдете Капицу. Думаю, было бы забавно наблюдать вашу беседу: вы оба не лезете за словом в карман и не стесняетесь говорить неприятную правду, чтобы увидеть, что из этого выйдет. Думаю, что беседа при вашей встрече будет оживленной.

Не знаю, не передумали ли Вы посылать нам еженедельник, но мы не получили ни одного.

Ну что же, я надеюсь в следующем письме с радостью сообщить Вам, что Капица снова работает.

Интересно, приходило ли Вам когда-нибудь в голову, насколько стимулирующей личностью Вы являетесь? Во всяком случае, я обязана Вам очень многим, и я хотела бы еще раз сказать Вам, что я очень ценю Ваше доброе отношение и Ваши советы…»

Хочется отметить, что обширная переписка с крупнейшими учеными и политиками, свидетельствующая о той роли, которую Анна Алексеевна сыграла в те трудные времена поступила в Архив Капицы лишь после ее кончины. Она вообще не любила говорить о «своей деятельности», никогда не выставляла свои заслуги. Но теперь ее письма хранятся в толстой папке с надписью: «Письма Анны Алексеевны в защиту П. Капицы», и, как нам кажется, именно в этих письмах раскрывается вся самоотверженность и полнота ее любви к Петру Леонидовичу.

Война

Из воспоминаний Анны Алексеевны *(Запись и литературная обработка Е. Капицы.)*

Начало войны. Мы услышали молотовскую речь — объявление войны, когда ехали из города на дачу, по приемнику в машине. Надо было начинать какую-то новую жизнь. Примерно через месяц большая часть Института была эвакуирована в Казань. Отправили мы туда наших сыновей, а сами еще какое-то время жили в Москве. Под большим зданием Института у нас было бомбоубежище, и туда приходили не только оставшиеся в Москве сотрудники, но и люди со стороны. Отчего-то всем казалось, что наше убежище лучше, чем другие, хотя, я думаю, что все они были более или менее одинаковыми. Я старалась во время бомбежек всегда быть там, чтобы у людей была уверенность: если жена директора с ними, значит, все будет хорошо. Я старалась всех устроить. Налеты были в основном вечером и ночью. Приходили и сидели люди с детьми, и мне хотелось, чтобы все хотя бы чувствовали себя здесь в безопасности.

А потом пришлось уезжать в Казань, и было это, наверное, в октябре. Я помню, что ехали мы туда вместе с Фрумкиными — Амалией Давыдовной и Александром Наумовичем. В Казани мы поселились в помещении бывшей дворницкой университета. Мы жили внизу, а на втором этаже — Чудаковы (семья академика Е. А. Чудакова. — *Е. К.*). Посреди нашей квартиры была большая круглая печь, которая отапливала три или четыре маленькие комнаты, в которых мы и расположились.

В Казани я начала работать в госпитале сестрой-санитаркой в хирургическом отделении. Я была «подъемной силой» и могла сгодиться абсолютно на любую работу. Петр Леонидович устроил себе лабораторию в главном здании университета. В те годы он в основном занимался кислородом и довольно часто в связи с этим ездил в Москву.

Во время войны, да и после ее окончания, Петр Леонидович с большим энтузиазмом работал с кислородом. Ему было интересно заниматься не только научными и инженерными сторонами дела, но и налаживать промышленное производство кислорода и его внедрение. Он никогда не был аппаратчиком, а тут он встал во главе большого промышленного объединения «Главкислород». Это была абсолютно новая для него деятельность, и Петру Леонидовичу было страшно интересно —

заставить наших министров работать иначе, чем они привыкли. У меня всегда было некоторое предубеждение против этих занятий Петра Леонидовича, но ему это было интересно, он считал это важным, так что ничего уж тут сделать было нельзя.

Из воспоминаний В. В. Кованова, врача казанского военного госпиталя № 3647

Над нашим госпиталем шефствовала Академия наук СССР и помогала во многих делах.

Младшего персонала в госпитале не хватало: большинство молодых женщин и девушек работали на военных заводах, а к нам направляли пожилых людей, физические возможности которых были ограничены.

Чтобы помочь нам, жены научных сотрудников академических институтов, находившихся в эвакуации в Казани, взяли на себя заботы о тяжелораненых. Вместе со своими детьми они дни и ночи дежурили в палатах. На дежурства приходили как на работу — по графику. Анна Алексеевна Капица брала с собой своих ребят-подростков. Они помогали катать бинты, заготовлять материал для операционной и перевязочной, подавали тяжелораненым воду, чай, кормили обедом. Нашим добровольным помощникам приходилось нелегко. Они недосыпали, недоедали, многое из того, что приходилось делать, было им совершенно незнакомо, и нужно было учиться «на ходу»… *(Кованов В. В.* Призвание. М.: Политиздат, 1970. С. 166–167).

Из писем военных лет *(Публикация П. Е. Рубинина.)*

Письма военврача А. И. Шнейдер

В архиве Анны Алексеевны хранится небольшая пачка писем и документов Антонины Ивановны Шнейдер. К пачке подколото несколько ее пояснительных записок. Вот одна из них: «Шнейдер Антонина. Врач, с кот. я работала в госпитале в Казани. Уехала на фронт, переводила на мое имя деньги для дочери. Были очень дружны».

«20 ноября 1942 г.

Здравствуй, дорогая Аня,

Получила твое 2-е письмо и рада до безумия. Ты не представляешь, какой это здесь праздник — получать письма, да еще от любимых друзей.

Когда ты писала письмо, настроение, видимо, у тебя было неважное. У тебя какие-то сомнения насчет твоей работы. Все это напрасно. Твоя работа и помощь такому большому мужу — это во много раз ценнее, чем 10 таких, как я. Ты не улыбайся. Это правда. Ты должна, конечно, в первую очередь помогать ему для блага всего человечества. Ты делаешь большое дело, и никаких сомнений быть не может. <…> Лиду мою крепко береги. Она у меня одна ведь только. Я надеюсь на тебя больше всего. Я знаю, что все будет хорошо…»

Лида Шнейдер — А. А. Капице

«17 декабря 1942 г., Санаторий им. Молотова, Алтайский край

Здравствуйте, дорогая Анна Алексеевна!!!

Ваше письмо я получила. <…> Я Вас очень благодарю за посылку. Пальто мне в самый раз. Благодарю Вас также за шоколад. <…>

Анна Алексеевна, я Вас очень прошу прислать мне все книги для 8-го класса, так как мне совершенно не по чему заниматься, а также побольше бумаги и карандашей. Анна Алексеевна, вы спрашиваете, какой у меня размер туфель? Я отвечаю на ваш вопрос — 36–37 размер. Анна Алексеевна, если можно, пришлите туфли, а на лето какие-нибудь тапочки, а также летние платья. Если можно, теплые варежки.

Ну, а теперь о себе. Живу я очень плохо, питают нас также плохо. Как заладят одну кашу на воде, так и кормят ей всю

неделю. <…>

Мне очень хочется в Москву. Здесь 2 девочки у нас уезжают. <…>

Целую крепко.

Лида Ш.»

А. И. Шнейдер — А. А. Капице

«15 марта 1943 г.

Здравствуй, дорогая Аня!

Извини, что так долго не писала тебе писем. Не писала потому, что просто было очень и очень некогда. Теперь вырвалась минута, и я пишу. С каждым днем мы все ближе и ближе приближаемся по расстоянию к вам. Но скоро начнем отходить в сторону дальше от вас и скоро будем очень далеко.

Аня, милая, здесь так много работы, так нужны руки, хорошие, золотые, как твои. Я работаю сейчас по гипсу. Гипсую все переломы. Работа очень интересная, я ею увлекаюсь, и хорошо бы, чтобы и ты была со мной. На армейской конференции я делала доклад о лечении огнестрельных переломов глухой гипсовой повязкой. Ну, доклад прошел ничего, хвалили.

Ну, а как живешь ты, Аня? Как твоя помощь мужу? Как подвигается его работа? Передай ему от меня привет и пожми ему крепко руку. Мне так сейчас хочется побыть у вас и немного посмеяться и пошутить. Теперь о Лидии. Я боюсь, что она без учебников плохо учится. У нее в письмах такая масса ошибок. <…> Хочет в Москву. Надо будет весною как-нибудь это сделать. Столько хлопот тебе с этой Лидой, что мне даже неудобно. Пальто, тапки и муфта ей очень понравились. Наверное, она очень выросла и все, что у нее было, ей стало мало. Когда приедет она в Москву, придется ей послать мои вещи.

Ну вот, Аня милая, до свидания, родная, мой друг хороший. Целую тебя много раз.

Антонина».

«19 мая 1943 г.

Милая, родная моя Анюта!

Зря ты меня ругаешь, я совсем не виновата. Все мои мысли с вами, но не виновата же я, что иногда мои письма не доходят. Правда, писала я не часто, но писала. Теперь буду писать чаще. Работаю я все там же. Владим[ира] Васильевича [Кованова] перевели в другую армию — армейским хирургом. Теперь здесь Ксения Ивановна [Чуркина] и я.

Ну, а как ты и Петр Леонидович? Работаете, как воины. Ведь сейчас в тылу так же жарко, как и здесь. До меня дошли слухи,

что мой муж в Москве. Т. к. он мне ничего не написал, и потому точно это или нет, не знаю.

Родная Аня, о Лидии молчу, знаю, что вы все там о ней позаботитесь и ей будет неплохо. Она хочет жить у бабушки, но этого не надо допускать, причин очень много. Временно, как на даче, летом, она может жить там, а учиться ей надо в Москве. Пиши, целую крепко тебя и всех твоих.

Тоня».

«1 июля 1943 г.

Здравствуй, дорогая и родная моя Аня!

Ты мне очень родная, Аня, потому что в тяжелое время, как сейчас, ты мне сделала больше, чем кто-либо из моих родных. Я очень переживаю о Лидочке. Но все-таки я знаю, что все необходимое и, самое главное, забота о ней есть, и если что случится со мной, ты ее не оставишь, пока она не станет самостоятельной…»

«18 августа 1943 г.

Здравствуй, дорогая Аня!

Я так долго ждала от тебя письма, и сегодня наконец я его получила. Рада была очень — ведь я уже два месяца не получаю ни от кого писем. От Конст. Владим. я не имею [писем] уже 5 месяцев. <…> Думала, что Лидочка в Москве, — и тоже нет. Все письма, которые я ей писала, пришли обратно.

Очень волнуюсь, и все вместе меня угнетает и мешает работать.

Аня, дорогая, меня наградили правительственной наградой — орденом Красной Звезды. Так что у меня справа сияет звездочка. Была очень большая работа. <…> Завтра еду в другой госпиталь — накладывать гипсовые повязки — я теперь в этой области завоевала себе славу.

Ах, если бы ты была здесь, мы с тобой натворили бы чудес. Ну, ничего, еще впереди много времени…»

«23 июня 1944 г.

Дорогая Анюточка!

Друг мой родной, прости, что так неаккуратно написала, но ты ведь знаешь мой порок. Люблю тебя по-прежнему, верю в нашу прочную дружбу и жду нашей встречи. Живу все по-прежнему, изменений особенных нет. Недавно делала доклад на армейской хирургической конференции о лечении огнестрельных переломов глухой гипсовой повязкой в армейском районе. Доклад прошел хорошо.

Беспокоюсь о Лидии, как она там. Мне они по-прежнему не пишут — никто.

Привет всем твоим. Целую тебя крепко. Пиши мне чаще.

Тоня».

«7 августа 1944 г.

Дорогая Аня!

Хоть ты одна меня не забываешь и пишешь, правда редко, письма. Я всеми забыта. Мои совсем мне не пишут, и не пойму почему. Я жива, здорова, недавно получила медаль „За боевые заслуги“. Вот и все про себя. От души рада и поздравляю твоего мужа с такой высокой наградой[109]. Я уверена, что частичка этой награды принадлежит тебе, ведь ты у меня такая умница и хорошо помогаешь ему в нашем общем деле. Привет ребятам твоим умникам, хочу их всех увидеть.

Целую крепко тебя.

Твой друг *Тоня».*

И. В. Обрсимов — П. Л. Капице

«6 мая 1943 г., Йошкар-Ола

Дорогой Петя!

Во-первых, самым горячим образом поздравляю тебя с большим успехом ИФП[110]. Это не может не радовать всех друзей твоих, Академии и советской науки. Еще раз поздравь Ольгу Алексеевну. <…> Большой привет Ане. Думаю, что и она не меньше других заслужила высокой награды, но это судьба жен — их замечают окружающие, если они плохи, и не замечают их роли, если они являются друзьями и помощниками.

Твой *И.О.»*

А. С. Аракчеев — А. А. Капице

«26 февраля 1945 г., Пруссия

Дорогая тетя Аня,

Я стал тем, кем хотел. Пока добрался до части, исколесил всю Пруссию. Немцы, их семьи, их города — все платят по счетам, и платят крепко.

Сегодня у меня день рождения, и я открыл свой боевой счет немецкой пулеметной точкой. <…>

Я никак не могу забыть, как опозорился, когда был у Вас. Помните, как я сказал „солдатов“? Я, по-моему, покраснел тогда, как никогда.

Ножик для Андрюши я уже достал и пошлю его в первой же посылке. „Евгения Онегина“ вожу с собой. Его с большим удовольствием слушают и солдаты, и офицеры.

Много писать нет возможности. Большое спасибо Вам и Петру Леонидовичу. Передайте ему мой поклон.

Большое спасибо Вам и тому, кто достал очки, — они уже пригодились.

Жду писем.

Ваш фронтовик *Андрей».*

М. Бор — А. А. Капице

«3 марта 1945 г., Стокгольм

Дорогая моя г-жа Капица,

Чудесное испытываешь чувство, когда можешь снова хоть чуть-чуть восстановить связь со старыми друзьями. И я счастлива, что имею сейчас возможность послать привет Вам и проф. Капице. Мы с Нильсом так часто думали и говорили о вас с тех пор, как в 1941 году были порваны связи. С глубочайшим восхищением следили мы за отважной борьбой русских в течение всех этих лет. Мы вместе с вами страдали в неимоверно тяжелые 41-й и 42-й годы и радовались всем сердцем во время чудесных побед русских армий, начиная со Сталинграда. Этот поворотный момент был для всех нас первым лучом надежды на освобождение от германских агрессоров. Надеюсь, что все вы и другие наши друзья в России здоровы. Для нас это были ужасные пять лет, и я представляю себе, какие это были годы для вас, которым пришлось перенести настолько больше — ведь германская армия опустошила значительную часть России. <…>

В октябре 1943 года мой муж, мальчики и я бежали из Дании под угрозой преследований со стороны немцев. Нет необходимости говорить, с какими чувствами человек покидает свой дом в таких условиях. После 3–4 дней пребывания в Стокгольме Нильс отправился в Англию, и за ним, неделю спустя, последовал Оге, чтобы работать его секретарем. Как ни печально, но мне пришлось расстаться с ними, но зато я была спокойна за них…»

Шутка Анны Алексеевны *(П. Е. Рубинин)*

В Архиве П. Л. Капицы на одной из полок стоят большие картонные коробки с копиями или черновиками писем Петра Леонидовича вождям страны — Сталину, Молотову. Хрущеву, Андропову, Брежневу и др.

Разбирая как-то папку с письмами к В. М. Молотову, я обратил внимание на один необычный машинописный черновик. Два листка без даты, без имени адресата и без обращения. Лишь небольшая правка рукой Капицы. Поскольку никаких других копий этого письма, с датой и обращением, в архиве обнаружить не удалось, это значило одно: послание так и осталось незавершенным и адресату отправлено не было. (Письма «вождям» Капица писал очень тщательно, обдумывая каждое слово, вот почему почти все письма «наверх» имеют три-четыре варианта.)

Я внимательно прочитал этот таинственный черновик. Его содержание не оставляло никаких сомнений в том, что письмо было адресовано Молотову. И написано, судя по содержанию, в конце мая — начале июня 1943 года. Дело в том, что 6 апреля 43-го Капица написал В. М. Молотову послание, явно с ним согласованное, — к «неофициальному» письму было приложено обращение к зам. председателю ГКО В. М. Молотову с проектом правительственного постановления.

Письмо это мне было хорошо известно, поскольку еще в 1989 году я включил его в сборник писем П. Л. Капицы.

Итак, 6 апреля 1943 года Капица пишет Молотову:

«Два года тому назад мы осуществили кислородную установку, которая может быть передвижной, но, несмотря на постановления Экономсовета, ни одна из них не внедрена. Теперь мы осуществили установку для жидкого кислорода, по масштабам равную самым крупным заводским установкам, но есть ли шансы, что она будет внедрена? Согласитесь сами, что от такого отношения руки опускаются. <…>

Все это время я был погонщиком мулов, а в руке у меня не было не только палки, но даже хворостинки. *Поэтому полагаю, что в той или иной форме мне нужно дать официальную власть, чтобы я сам мог руководить вопросами внедрения в производство.* (выделено мною. — *П. Р.*). И тогда, несмотря на то, что мне на это время придется сократить мою научную работу, у меня будет взамен удовлетворение видеть наши установки внедренными.

Кроме того, надо искать новые принципы организации внедрения. Я думаю, что основное, что надо испробовать

нового, — это создать совершенно самостоятельную организацию, перед которой только и поставить одну задачу о внедрении этих установок, а чтобы ее не заели, ее надо непосредственно подчинить СНК…»[111]

Прошел всего месяц, и 8 мая 1943 года председатель Государственного комитета обороны И. В. Сталин подписывает постановление о создании при СНК СССР Главкислорода, начальником которого назначается П. Л. Капица.

Быстрый отклик Молотова на его письмо произвел, по-видимому, на Капицу очень сильное впечатление. Письмо, написанное Молотову после постановления о создании Главкислорода, резко отличается по тону от всех его писем руководителям страны.

П. Л. Капица — В. М. Молотову

[Май-июнь 1943 г.]

«…Сейчас, когда наша работа входит в новую фазу после 8-ми лет моего пребывания в Союзе, мне захотелось взглянуть перспективно на прошлое и представить себе будущее, и я решил написать Вам. Это письмо чисто сентиментальное, прочтите его на досуге, если он у Вас будет.

Конечно, вопрос, который меня волнует больше всего, — это справлюсь ли я с той новой задачей, которая передо мной стоит. Задачу я себе представляю так: у нас в стране, по характеру ее структуры, вся наша промышленность и техника должны идейно направляться научной мыслью. <…> Это должна быть основная сила развития нашего организма. Если подумать хорошенько, то влияние науки на жизнь в стране у нас гораздо больше и глубже, чем большинство из нас это себе представляют. <…> Иначе, например, ведь нельзя себе объяснить, почему у нас отдельные виды вооружения такие хорошие по качеству. <…>

Но где у нас еще слабее всего, — это организация связи науки с жизнью. Эти формы надо еще искать. Их не стоит искать на бумаге, их надо искать на примерах.

…Внедрение кислорода в жизнь — это <…> задача, [решая] которую, можно будет найти эти формы. Конечно, это будет здорово, если, например, производительность домн можно будет поднять вдвое на кислородном дутье. Но еще здоровее будет, если мы увидим, как надо органически связывать нашу большую науку с жизнью. Мне сейчас придется решать эти обе задачи сразу вместе. Если я подойду узко, то, конечно, у меня ничего не выйдет. В науке, как и в жизни, всегда надо исходить из общих

построений и потом уже искать конкретные формы осуществления. В общих рассуждениях ты не должен ошибаться, тут ошибки губительны. В конкретных исканиях, наоборот, без ряда ошибок ни к чему не придешь.

Меня сейчас все время мучит вопрос: справлюсь ли я? <…>

В нашей организации мы собираемся связать, в малом масштабе, производство (завод), научный институт (научная работа) и народное хозяйство (тех-совет). Связать органически. Если удастся это сделать, то проблема будет решена. Как это получится, мне самому еще не ясно. Но это может и должно получиться. Это должно облегчиться тем, что одно лицо осуществляет руководство всеми тремя вершинами треугольника. Но надо, чтобы Вы меня не торопили. <…>

Когда я начинал строить институт, <…> товарищи ученые говорили мне об организационных трудностях научной работы у нас в Союзе. Они ошибались. Институтом руководить у нас не труднее, чем в Англии. Это берет не более 10 % моего времени. Продуктивность моей научной работы, несмотря на то что я, конечно, уже постарел, была даже больше, чем в Англии.

Теперь меня пугают трудностями организации Главгаза[112] и завод[ской] хозяйственно-промышленной организацией. Сейчас я присматриваюсь[113].

До сих пор я очень ценил, что Вы неизменно мне помогали в научной работе. Все обещания помогать мне, которые Вы дали 8 лет тому назад при нашем первом свидании, все точно сдержали[114]. <…> Не было ни одного случая, когда я обращался [к Вам], и Вы бы не помогли. Это, конечно, создает большую уверенность в работе. Теперь Вы сказали, что будете помогать в новом деле. Конечно, это так и будет. Что Вы будете снисходительны к ошибкам, это тоже я знаю.

Но сейчас, берясь за новое дело, где часто мне придется сталкиваться с вопросами, гораздо более близкими к нашей политике, хозяйственной структуре, в которой я мало искушен, я хочу просить у Вас еще об одном: кроме, как обращаться с просьбами — обращаться *за советом.* <…>

Я знаю, как Вы заняты, и мне страшно всегда Вас беспокоить. Но изредка, когда у Вас будет хоть маленький просвет свободного времени, вспомните обо мне, чтобы узнать о наших делах…»

И далее, на той же строчке, шли слова, которые и привели меня в изумление: *«Целую Вас крепко».* Они были, правда, зачеркнуты. Решительно и «бесповоротно» — ручкой. Но ведь он их написал! И кому? Молотову! Чушь какая-то. Не может этого быть!

«Крепкий поцелуй» Капицы не давал мне покоя, и я с этим письмом подошел однажды к Анне Алексеевне, когда она пришла в Мемориальный кабинет-музей П. Л. Капицы. Я показал Анне Алексеевне зачеркнутые слова и спросил ее, что бы это могло значить. Не мог же Петр Леонидович написать Молотову «Целую Вас крепко»? Ведь ни к кому из начальства он с такими «нежностями» никогда не обращался.

Анна Алексеевна тоже очень удивилась, но вспомнить ничего не смогла, хотя сама и печатала этот черновик. Она попросила меня дать ей это письмо на один вечер…

На следующий день она с озорной улыбкой сообщила мне результаты своего расследования.

— Посмотри внимательно, — сказала она, — на эту последнюю строчку. Не покажется ли тебе кое-что в ней странным?

Я внимательно изучил последнюю строчку письма: «…наших делах. Целую Вас крепко».

— Нет, — ответил я. — Ничего не вижу особенного, кроме этих самых слов.

— Эти слова, — пояснила Анна Алексеевна, — не совпадают с остальным текстом — они чуть выше. Так бывает, когда ты что-то допечатываешь в конце письма, после того как уже вынул бумагу из машинки и снова ее вставил. Получается чуть выше или чуть ниже…

Поскольку я тоже печатал на машинке и мне тоже приходилось проделывать порой ту самую операцию, о которой говорила Анна Алексеевна, я тут же увидел, что слова «Целую Вас крепко» действительно были чуть-чуть выше предыдущих слов… И все равно я ничего не понимал.

— Когда я это заметила, — сказала Анна Алексеевна, — я вспомнила, как было дело. Текст письма показался мне излишне личным, сентиментальным. Так Петр Леонидович никогда начальству не писал. Ты это сам знаешь… Чтобы обратить его внимание на чрезмерную эмоциональность письма, я решила над ним подшутить. И допечатала эти три слова. Он их вычеркнул, ничего мне не сказал, но к письму, видимо, охладел и больше к нему не прикасался…

Из переписки с мужем *(Публикация Е. Капицы.)*

В Архиве П. Л. Капицы, за исключением огромной переписки 1934–35 годов, т. е. времени, когда Анна Алексеевна и Петр Леонидович были насильственно разлучены, практически нет их писем, адресованных друг другу. Это и понятно, ведь Анна Алексеевна всегда стремилась быть вместе с мужем. В военные годы семья Капиц жила в эвакуации в Казани, но Петру Леонидовичу приходилось довольно много времени проводить в Москве. Он понимал, что без его усилий начало промышленного производства кислорода на его установках может недопустимо затянуться. Только дважды Петр Леонидович приезжал в Москву один, без Анны Алексеевны — именно тогда и были написаны публикуемые ниже письма. Начиная с зимы 1943 года Анна Алексеевна, оставляя детей на попечении Наталии Константиновны (вдовы брата Петра Леонидовича), всегда сопровождала мужа в его поездках в Москву.

«Гостиница Националь
Коми. 439
Москва
12 февраля 1942 г.
Дорогая Крыса,

Доехали неплохо, хотя и с приключениями. Сперва ехали в санитарном вагоне. Читал там лекцию, слушали самодеятельность. Доехали до Куровской (89 км от Москвы), там пересели в теплушку, т. к. санитарный поезд пошел на Ярославль. Должен был ехать 2–3 часа, но в поезде ехали лошади, и одна на ходу выскочила. Так что задержались и попали в Люберцы только поздно вечером, так что там пришлось бы ждать всю ночь с субботы на воскресенье. Но удалось созвониться с Кафтановым, и он выслал машину. Так что к пяти часам попал в Москву. Всех нас устроили в одной комнате гостиницы, т. к. большинство домов тут холодные. С питанием как в дороге, так и здесь вполне благополучно. Оказывается, наши бойцы получают лучшие обеды, чем академики. Здесь работы много, главным образом это кислородное дело, Сталинская премия и также мастерские. Уже просит радиокомитет, Красная Звезда (Ерусалимский) завтра идти на митинг в Колонный зал. Интеллигенция Москвы встречается с интеллигенцией освобожденных областей. Придется пробыть еще дней 10–12. В Москве пока совсем спокойно, налетов

нет. Говорят, наши дела на фронте хорошо. Ждут, что обо всем будет сказано ко дню Красной Армии. В Ленинград [неразб] нельзя. Кафтанов послал правительственную телеграмму насчет Лени и Наташи[115] в день моего приезда, так что я не потерял совсем время. На днях должны из Казани поехать члены Сталинского комитета. Ты не пускай Ал. Ник. ни за что. Я объяснил, что ему трудно ехать, и это они здесь хорошо понимают. Ты пришли мне письмо, как ваши дела, как экзамен Сережи, как питаетесь. Насчет Института пишу Ольге Алексеевне.

Крепко целую Вас всех.

Твой Петя.

P. S. Я, конечно, простудился по дороге, еще немного хриплю, но так все хорошо».

Ответ Анны Алексеевны на это письмо в архиве не обнаружен. Видимо, Петр Леонидович пробыл в Москве в этот раз недолго. В следующий раз он приехал в Москву осенью 1942 года и за две недели, которые он здесь провел, они написали друг другу по крайней мере четыре, а, возможно, Петр Леонидович пять писем (первое письмо, которое упоминается Анной Алексеевной, не обнаружено).

«19 октября 1942 г., Казань

Дорогой Петя, получила твое письмо и коробку конфет, которую мы тут же съели!

Конечно, выбирай на твой лимит, что хочешь, особенно фрукты, ты их давно не ел. Я послала пакет с продовольствием Стрелковым, ему уже лучше, и Филимоновым. С Семеновыми сговорилась, что буду им брать иногда то, что не будет им хватать. Они были смущены, но все-таки согласились. Я очень рада, потому что за них всегда беспокоюсь.

У нас все хорошо, вчера были папины именины, и было много народу. Ляпуновы[116] (молодые) пришли с граммофоном! Мы напекли (конечно, О[льга] А[лексеевна]) много чудных пирогов и куличей и очень жалели, что тебя не было. Папа и Женя[117] уезжают на днях, но когда, еще не знаю. С вагоном, я думаю, после твоей телеграммы будет все хорошо. Разве так плохо все с заводом, что ты настолько обеспокоен, это чувствуется из твоего письма. Конечно, надо делать что-то решительное, мне кажется, с автогенщиками, но наши очень рады случаю поехать в Москву. Напиши, как идут дела, а то беспокойно, что у тебя не все хорошо. Жаль, что надо жить в гостинице, но без транспорта очень трудно добираться до центра, где, собственно, все у тебя сосредоточено.

Я хожу в госпиталь, работы сейчас совсем мало, отпускают очень мало перевязочного материала, и поэтому почти нет перевязок. Два раза в неделю помогаю в операционной.

От Антонины [Шнейдер] получила письмо с фронта, они где-то на юге, кажется у Сталинграда. Масса работы, но очень довольна. Беспокоится о дочери, а я от нее тоже ничего не получаю. Передал ли Олег [Писаржевский] мою посылку или нет?

Наташа поступила работать в издательство Акад. наук оформителем и пр. Работа на дому и ей подходящая, я очень рада, потому что, если ты будешь сидеть всю зиму в Москве, можно будет наладить что-нибудь вроде дома. Ну, это будет видно, смотря по тому, как пойдут твои дела.

У Леонида нога гораздо лучше, ультракороткие волны как будто помогли, и он скоро выходит на работу.

Приехала Ольги Алексеевны Надя[118], выглядит очень хорошо, здоровая, хорошая колхозница. Всем молодым работа летом пошла впрок.

Сережа занимается на даче. Мы никак не можем оттуда перебраться. Сейчас Академия возит овощи, их разгружают с баржи, и грузовика нет.

О. А. была простужена, и я ее взяла страхом, сказала, что пошлю тебе телеграмму, если она посмеет в таком виде ходить грузить картошку. Она испугалась и не пошла. Сейчас она здорова. Ну вот, и все новости Казани. Андрей хотел поступить на работу в портняжную мастерскую пришивать пуговицы и резать хвостики ниток — 3 часа в день за 3 р. 75 к., но потом решил, что не стоит!

Все шлют привет. Целую крепко».

«19 октября 1942 г., Дом отдыха „Сосны“

Дорогой Крыс,

Жду машины, чтобы ехать в Москву, и пишу тебе. Здесь было очень хорошо, мало народу, т. к. сюда ходит только автобус. Плохо топят, но спокойно пожить было хорошо. Продумал все московские дела с установкой и наметил план действия.

Был на даче, там плохо. (Дом отдыха „Сосны“ находится рядом с дачей Капиц на Николиной Горе — *Е. К.*) Ее постепенно разбирают соседние части, содрали линолеум, бьют окна, содрали электропроводку, разбирают забор, снимают трубы, колонку, сдирают обшивку и пр. Через годик, кроме сруба, мало, что останется.

Насчет вагона для Ал. Ник. до Хрулева дозвониться не удалось, но говорил с секретарем Землячки, она сразу отозвалась, и мне позвонили, что все сделано и Ал. Ник. будет сал[он]-вагон.

Я дал телеграмму соответствующего содержания Ольге Алексеевне.

Тут забавно рассказывают про Вилки. (Уилки. — *Е. К.*) Он рубаха-парень, по крайней мере себя так держит. В Куйбышеве на „Лебедином озере“ танцевала Тихомирнова. При аплодисментах он выскочил из ложи, делая прыжок метра на полтора вниз, мчится на сцену, преподносит Тихомирновой букет и целует и обнимает ее от восторга. Но так восторженно он ведет себя, только когда на него направлен объектив кинооператора, а так вообще он более флегматичен. Видно, голоса собирает к следующим президентским выборам. Так, на одном из заводов он был заснят, как в восторге целовал нашу работницу, стоящую у станка. Вот воистину единство противоположностей — у него, говорят, 60 % всех акций электропромышленности в США. Он хотел повидать также митрополита Сергия и строителей куйбышевского гидроузла. Случилось, что визиты назначили в один день. Привозят его к Сергию, тот встречает его в клобуке, с крестом на груди. А он спрашивает переводчика: „Кто это, строитель плотины в Куйбышеве?“ — „Нет, — говорят, — это глава русской церкви“. — „Ну, очень хорошо. Спросите его, свободна ли церковь?“ Тот сказал: „Да“. Поехали дальше.

На фронт ездили без кинооператоров, и Вилки вел себя тихо, очень близко к окопам идти отказался, стрельба ему не понравилась.

Ну вот, это может тебя поразвлечь, как Вилки делал свой „бюзнесс“ у нас в Союзе.

Сегодня едет Павлов, с ним пошлю это письмо.

О делах пишу Ольге Алексеевне, она тебе расскажет.

Помни обещание и пиши, что делается у вас.

Целую тебя и поросят.

Как Сережа, занимается ли, и как ведет себя Андрей?

Привет Ал. Ник. и Евг. Ник., надеюсь, с отъездом их все устроится. Но, говорят, в Боровом плохо кормят сейчас, пусть захватят с собой продукты».

«20 октября 1942 г., Казань

Дорогой Петя,

Получила твое письмо, ты пишешь аккуратно, за что тебя и хвалю. Посылаю тебе адрес Василия Евграфовича Калинина: Ярославская ж.д., Московская обл., [Пушкино,] ул. Кренкеля, д. 5, кв. 4.

Посылаю тебе письмо от Зубова Евгения Николаевича, это муж Анечки Аракчеевой (Анны Львовны). Надо как-нибудь их оттуда вызволить. Может быть, ты его по его адресу вызовешь к

себе и переговоришь. Меня все время беспокоит судьба Анечки с детьми, а как их извлечь из Махачкалы, прямо не знаю.

У нас все очень хорошо, дедушка с Женечкой собираются ехать в пятницу, но не знаю, как это выйдет, папа немного простужен, и не хочется его отпускать в таком виде.

Тебе пришло письмо от Байкова, он благодарит тебя за письмо и выполненное поручение.

Интересно, как хорошо у нас обращаются с беспризорным имуществом, но все-таки это лучше, чем если бы грабили немцы. Но я думаю, что вряд ли и сруб уцелеет при таких темпах.

Мы тут получили паек из Академии, за который заплатили 700 р. (!). Это икра и шоколад. Надеюсь, что больше такого не будет, а то никаких денег не хватит. Почему надо выдавать сразу 2 кг икры и 20 плиток шоколада? Не у многих академиков найдется так много свободных денег.

Насчет Юры Семенова родители как всегда не могут решиться. У него 22 статья, это компенсированный туберкулез, освобождающий вчистую. Я не знаю, решаться или нет им отсылать его одного в Институт восточных языков. Боюсь, что он может свой туберкулез этим подогреть. Коля должен выехать на днях, у него были штучки с пропуском, как всегда НКВД ведет себя как Папа Римский. Да и нога у него еще не совсем прошла.

Был ли ты у дяди В[119]., это очень интересно, напиши об этом.

Я давно не писала тебе писем, и даже странно опять писать.

В госпитале, как я уже писала, все тихо, работы мало. Завтра операционный день, так что будет больше работы.

Сережа хорошо работает, много занимается, и у него все хорошо.

Андрей занимается с отвращением, и на это противно смотреть. <…>

Теперь, когда Наташа будет работать дома, все будет гораздо проще.

Все целуют крепко и шлют привет. Когда ты собираешься возвращаться?»

«22 октября 1942 г.,

Гостиница Москва № 312 Дорогой Крысен,

Очень много работы сейчас. Все административной. Приходится налаживать работу. Суков не справляется и халтурит. Но вот с нашими товарищами кое-что и удается наладить.

Был у нас Ираклий Андроников. Он очень интересно в лицах рассказывал, как был в бою, как был у партизан. Рассказывал он с 11 вечера до 5 утра. Он похудел и был дома полтора месяца с

воспалением желчного пузыря. Сейчас он в резерве, только что выписан из госпиталя и устраивает свои дела.

Был у Гоголевой однажды, там был Ерусалимский. Он рассказывал, как допрашивал свежих пленных у Рулева, а также о последней речи Гитлера. В которой [тот] говорит (это 2 недели тому назад), что в этом году закрепится в Союзе, построят линию заграждений от Балтики до Каспия и займутся Англией, которую ему нечего бояться, пока там сидит Черчилль.

Был вчера у Сперанского, выглядит он хорошо, очень довольный, что в Москве, Г[еоргия] Несторовича мало беспокоят. Говорил насчет болезни Лени. Он советует спринцевать аскорбиновой кислотой, я взял рецепт.

Получил телеграмму от президента Корол[евского] общества. Меня и Виноградова назначают представлять общество на чествовании памяти Ньютона. Я думаю выступить и сказать, что если Ньютон был бы жив, то он был бы за открытие 2-го фронта.

Пришла моя медаль[120] в ВОКС (Всесоюзное общество культурной связи с заграницей — *Е. К*). Обещают дать, я прошу просто, но они хотят с помпой, говорят, это политически важно.

У нас в гостинице очень холодно, нельзя заниматься, но так во всей Москве. Собираюсь переезжать в дом Ольги Алексеевны, там, говорят, топят.

Ну как Ал. Ник? Получил ли вагон такой, как ему нужно?

Пришли адрес Калинина В. Е. и книгу воспоминаний Ал. Ник.[121]

Ну, крепко целую вас всех и поросят.

Твой *Петя».*

«27 октября 1942 г., Казань

Дорогой Петюшик,

Проводили Крыловых в Боровое. Они благополучно уехали, вчера получили от них „молнию“ из Свердловска, едут хорошо, тепло, уютно. Мы их обязали нам посылать телеграммы с дороги. Им, конечно, надавали массу вещей в детдом Акад. наук. Очень без них скучно, как-то уж привыкли к совместной жизни, и странно, что их нет. Мы сейчас же переехали в их комнаты, чтобы не было пустого вида, на это неприятно смотреть. У тебя стало очень хорошо в кабинете, я думаю, что не надо говорить больше о лишней комнате. Ты увидишь, что тебе вполне достаточно того, что сейчас есть. У Наташи с Леней тоже очень хорошо. Леня опять работает, его нога гораздо лучше после ультракоротких волн, или несмотря на них, может быть?

Вчера мы с массой приключений переехали с дачи. Костю [Сидоренко] занесло в овраг, он решил, что так ближе сможет

подъехать к даче, чтобы не ехать через мост. Конечно, застрял в канаве, его вынимали красноармейцы (им обещали 1 литр водки!). Потом он и Вася [Перевозчиков] строили настил через канаву, т. е. спилили 8 берез. Все это происходило начиная с 1 ч. дня и до 10 часов вечера. Все вещи лежали грудой среди леса. Наконец ночью мы всё погрузили и пошли ночевать на дачу, и только утром я их отпустила в Казань. И все-таки вся мебель еще осталась на даче, надо ждать грузовик.

Пожалуйста, ешь, сколько хочешь, фруктов и бери из нашего лимита, что хочешь. У меня еще осталось октябрьских денег больше 300 руб. Привези нам или фруктов свежих, или сухих, если там есть. Остальное у нас все есть.

Как у тебя с перспективой жизни в Москве зимой? Я поеду тебя опекать, только если ты будешь жить там не менее 2-х месяцев, а то не стоит. Я работаю в госпитале, но у нас осложнения с карточками, иждивенцам неработающим их не полагается, а кто мы такие, никто еще не выяснил.

Пиши мне тоже о твоих делах. Пришло письмо от Иофана, но не ответ на твое, а встречное.

Целуют все тебя очень крепко».

«28 октября 1942 г.,
Гостиница Москва № 312

Дорогой Крыс,

Очень трудно с оказией для писем, никто за эти дни из Академии не ехал в Казань. Как ты, наверное, заметила, за эти дни произошло вручение мне медали Фарадея. Медаль шикарная, и к ней гравированный диплом на пергаменте.

Передача состоялась в ВОКСе, собралось не много народу — Иоффе, Семенов, Фрумкин, Соболев, Бернштейн, Шмидт, Веселовский, Бах и др. Я произнес речь, которую полностью воспроизводит газета „Труд“ за сегодня. Но нас не собирались угощать. Я стал протестовать и сказал, нужно хоть раз, чтоб Вокс угостил и своих ученых, а не только же заграничную шпану кормить. Тогда начали сооружать угощение. Угощение было хорошее, было вино. Я произнес тост за Кеменова, председателя ВОКСа. Произнес я тост за связь ВОКСа с советскими учеными, которая по сей день отсутствовала.

Был я у Роз. Сам. [Землячки] и дяди В. Роз. Сам. все спрашивала о комнате и возмущалась. Оказывается, всю эту историю знает и дядя В. Я успокаивал, говорил, что сейчас с отъездом Ал. Ник. вопрос стоит не остро и, вообще, в военное время такие вопросы имеют второстепенное значение. Сказал, что Ол[ьга] Ал[ексеевна] очень старалась, но, конечно, ей трудно.

Сейчас много хлопот с установкой, вроде критический момент. Удалось расшевелить автогенщиков. Но надо, чтобы все сохранили инерцию. Думаю, что ранее 3-го выехать не удастся. Между 15–18 ноября сессия [Академии наук] в Свердловске. Говорят, обязательно надо ехать. Из Свердловска поеду прямо в Москву. Подумай, не поехать ли тебе туда тоже со мной.

Ну, пока, крепко целую тебя и ребят. Поклон Ол. Ал.

Твой *Петя»*

«29 октября 1942 г., Казань

Дорогой Петюша, получила твое письмо, посланное с Соболевым. Наконец получил медаль, долго же она путешествовала. Здесь люди, забыв о том, что это все та же медаль, решили, что ты получил орден! Колдаев был один из немногих, которые слышали твое имя и слово „медаль“ по радио. Он пришел в Институт и там рассказал про медаль, на вопрос, какую же медаль ты получил, он, не задумываясь, ответил: „За отвагу“. Ты это имей в виду. Я вижу, что ты не особо скучаешь в Москве и кроме дела еще выбираешь время для визитов, это очень утешительно. О. А. послала „молнию“, чтобы тебя и Олега [Писаржевского] впустили в ее комнаты. Но вы выпустили из виду, что там ведь нет ни белья, ни одеял, подушек, затемнения и пр. Как это вы будете жить после комфорта „Москвы“ в этом отношении? Тепла недостаточно. Если тебе придется жить в Москве больше 2-х месяцев, то, конечно, я приеду, т. к. не представляю, как вы с Олегом такой долгий срок будете пребывать одни. Ваше хозяйство придет окончательно в упадок.

От папы пришла телеграмма, что они доехали до Петропавловска, т. е. до разветвления, где идет ветка на юг, в Боровое. Думаю, что теперь они благополучно на месте.

Сергей смастерил машину для резки стекол и вырезает все свободное время кругляшки самых разнообразных размеров.

Так в Казани все тихо и мирно. Леня ходит на работу, дети учатся, я хожу в госпиталь, Наташа дома — график-художник, это очень хорошо.

Очень трогательно со стороны Гитлера предупреждать Англию, что он хочет ее уничтожить. Может, это поможет 2-му фронту, если сам черт не помогает. Очень грустно, что появился еще „Туапсе“.

Ярославская ж.д., ст. Пушкино, ул. Кренкеля, дом 5, кв. 4. В. Е. Калинину.

Успокой Роз. Сам, что у тебя есть кабинет, и очень симпатичный, а потом, его тебе не надо, если ты будешь все время в Москве.

Все шлют привет. Целую крепко».

«31 октября 1942 г.,
Гостиница Москва № 312

Дорогой Крысен,

Мы выезжаем 4-го ноября, пробудем в Казани до сессии, а потом, по-видимому, из Свердловска поедем прямо в Москву.

Дела идут ничего, только очень медленно, но выправить их удается. Приходится заниматься, конечно, чисто организационными и административными делами, также проверкой, чтобы все было сделано точно и аккуратно. Все это скучно, но иначе, видно, ничего не поделаешь.

Вчера был в Ак. наук вечер с Андрониковым и Минцем. Было неплохо. Андр[oников] был в ударе. До вечера я читал лекцию инженерам и конструкторам. Это все поднимает настроение и заставляет их работать более энергично. Был я на балете „Дон Кихот“ — это первый раз в театре. На этот раз мне достается, и мало времени остается на театр и пр. развлечения. Был еще раз у Гоголевой. Там познакомился с Розенель. В понедельник приходят ко мне Александр <неразб>, Фрумкин и Андроников.

В Институте сотрудники поднесли адрес — поздравления с медалью Фарадея. Адрес посылаю тебе. Так особенно подробно писать не хочется, т. к. предполагаю уже в четверг быть в Казани, так что тогда все расскажу. Между прочим, ты прочла мое письмо невнимательно. Я тратил из нашего ноябрьского лимита, а октябрьский ты можешь использовать целиком. Об этом я тебе дал телеграмму, думаю, она пришла к тебе вовремя.

Ну, пока, целую крепко.

Твой *Петя».*

Банкет Победы в Кремле *(Публикация Е. Капицы.)* [122]

…Тост за свободную дружественную Польшу, за присутствующих здесь делегатов, привезших эшелон угля в подарок Москве. Приглашаем товарищей подойти и чокнуться. Все поляки проходят через зал, рабочие-горняки в форме (черная с золотом) и еще несколько человек в штатском. Подходят под аплодисменты всех гостей. У главного стола поют здравицу по-польски. Уходят обратно.

Тост за Жукова — освободителя Варшавы и взявшего Берлин. Сталин добавляет — теперь Берлин — Жуковский.

Тост за Конева.

Тост за Рокоссовского — исторический поворотный пункт у Сталинграда, освободившего Данциг и взявшего большой немецкий порт Штеттин. Поляки поют здравицу.

Тосты за всех по очереди маршалов и генералов с несколькими словами об их подвигах. Тост за ветеранов Гражданской войны, за Ворошилова, гости особенно поддерживают. Наконец, за членов Комитета Обороны. Тут особенно выделяется Микоян, который не только давал Армии есть, но и пить (смех). Несколько раз тост за Сталина.

Сталин веселый, совсем седой (pepper & salt[123]), часто встает, угощает бойцов ансамбля, много курит папирос, часто подает реплики. Вначале был тост за Молотова — нашего Вячеслава. Маршаки говорят, что дальше была фраза о том, что работа Молотова — как командовать 3-мя Армиями!

Последний тост Сталин произносит за Русский народ. Несколько раз его прерывают, наконец, ему это надоедает. И он обращается к гостям и говорит: «Я потом дам слово, кому его хочется, но сейчас прошу оратора не прерывать». Говорит о храбрости и терпении русского народа. О громадном доверии, оказанном правительству. О тяжелых первых годах — 41–42. О том, что народ мог сказать: и давайте любой мир с немцами. О том, что русский народ объединяет около себя все нации СССР. За доверие, и помощь, и веру спасибо. Наша встреча кончена, кто хочет, может оставаться.

Георгиевский зал белый с золотом, масса света, люстры. Гости исключительно непринужденны, много пьют, целуются, аплодируют, кричат. Много женщин. Много знакомых — писателей, артистов, работников СНК. Конечно, очень много военных.

Митерев (Наркомздрав) с рюмкой обходит всех знакомых, объясняется в любви, говорит о диссертации. Казаков (тяж. машин. строен.) целуется с Капицей, говорит о рабочих руках его, о том, как они все будут для Капицы работать. Смирнов (Санит. Управ. Крас. Армии) трогательно пьянеет. Эренбург мрачен, Маршак, Михоэлс и еще много других. Любочка Орлова проходит чокнуться с генералами и Сталиным. Танцуют около зала.

25 мая 1945 г. АК

Письма из Парижа *(Е. Капица)*

Я не раз спрашивала Анну Алексеевну, как же так случилось, что ее мать Елизавета Дмитриевна Крылова осталась за границей, когда она сама вернулась в Россию в 1936 году. На мой вопрос она всегда отвечала: «А зачем ей было ехать с нами. У нее в Париже была своя жизнь, она много занималась общественными и церковными делами…» Только много позже, разбирая письма Елизаветы Дмитриевны, я увидела, как драматичны были ее последние годы, проведенные в разлуке с горячо любимыми дочерью и внуками, вдали от Родины.

Первое время после отъезда Анны Алексеевны с детьми в Россию ее письма полны тоски, но в них присутствует надежда на свидание. Постепенно надежда угасает. Ведь шел 37-й год, и она, конечно, знала о тех страшных событиях, которые происходили в России.

«25 января 1936 г., Париж

…Как я была рада твоему письму. Ты написала все довольно подробно, это очень хорошо. Обещаешь писать мне часто, это тоже меня радует. <…> Ты пишешь, что ваша домработница Прасковья, как же это такую почтенную женщину звать по имени без отчества! А Емельяна Ивановича [Якушкина] ты видела, расскажи про него. Старый стал? И где Настя, его жена, не приедет к вам? Боюсь, что мальчики забудут английский язык. Вот будет хорошо, когда англичанка будет ходить к вам. Пришли план квартиры с мебелью, где что стоит. <…> Целую тебя, дорогая Анюточка и Петю и дорогих мальчиков. Теперь понимаю, как приятно их иногда видеть и поцеловать маленького шалуна Андрюшу и пофилософствовать с Сережей…»

«9 февраля 1936 г., Париж

…Вижу, что квартира ваша готова и все в ней хорошо. <…> Как вы хорошо прогулялись на лыжах, так захотелось русской природы. <…> Я очень рада за вас, что ты, и дети, и Петя — все вместе…»

«16 марта 1936 г., Париж

…Сегодня получила твое письмо, посланное 12 марта, ты пишешь, что давно от меня не получала, нет, я писала тебе в последних числах февраля. Очень беспокоюсь о детях, зная, что все вы были больны. <…> Напиши, где дети и с кем гуляют, напиши их меню и расписание дня вашего. Кто у вас бывает,

когда возвращается Петя из лаборатории и действует ли авто?

…Иногда говори с детьми обо мне, чтобы они меня не забывали, я очень грущу о них, и мне так хочется их обнять и поцеловать…»

«25 мая 1936 г., Париж

…Дачка ваша мне очень нравится, лето было бы теплое…»

«10 июня 1936 г., Париж

…Как я была рада сейчас, получив твое письмо. Мы его с таким интересом читали. Завидовали соснам, реке, левитановским видам…»

«7 ноября 1936 г., Париж

…Получила посланные тобой две книги. Читаю их вслух Марии Ивановне, над стульями она иногда очень смеется, и исторический роман ее интересует, но я искушена в чтении и исторических романов не люблю. А И[льф] и П[етров] должны бы писать покороче, но все же читаем и смеемся. Я тебе послала три книги: один роман Мопассана на старый адрес, а другой и La vie des Termites[124] — на новый. У меня для тебя куплены еще три книги…»

«11 декабря 1936 г., Париж

…Ты опять пишешь про Ревель. Конечно, я хочу видеть тебя и детей, очень хочу, но надо, чтобы мне дали визу в Ревель. Там видно будет…»

«20 января 1937 г, Париж

…Очень интересно описание елки, но ты не пишешь, в каком она была помещении и сколько всего было народу — местных детей 30, а школьников? и взрослых? чьими трудами все устроено? твоими? а кто помогал? Ты мне все хочешь прислать книги, но я уже тебе писала, не присылай, романов читать совсем не могу, а если узнаю, что у вас вышло что-нибудь интересное, я тебе напишу. Ведь мы часто покупаем „Правду“ и следим за всем. И об Островском все читали. Что касается Чайковского[125], то буду рада этой книге…»

«14 марта 1937 г., Париж

…Спасибо тебе за книгу (письма Чайковского) и за длинное письмо. Все очень интересно, особенно об Институте и, конечно, о детях. <…> Насчет Сережиных драк с детьми, помочь можно только внушением, он умный мальчик, и ты должна часто

разговаривать с ним сердечно и объяснять ему все. Он поймет и будет сдерживаться. Вообще, будь с ним помягче и поласковее. <…> Ты пишешь про лето, но ничего не пишешь про наше свидание, я сама знаю, что это очень трудно. <…> Очень рада, что ты хочешь приняться за свою прежнюю работу, это тебя удовлетворит, и прежние труды не пропадут даром. Очень беспокоюсь за Ольгу Иеронимовну…»

«1 апреля 1937 г., Париж

…Письмо твое с печальным известием получила. Очень жаль Ольгу Иеронимовну, ведь она была еще полна сил. Очень жаль дорогого Петю, и брата его, и Ленюшку…»

«12 апреля 1937 г., Париж

…Я думаю, что мысль повидаться со мной на берегу моря оставлена тобой как трудная. И очень дорого стоит путешествие. Видно, придется еще немного подождать…»

«26 июля 1937 г., Париж

…С интересом читала о летчиках, перелетевших через Северный полюс. Их только что чествовали в Париже[126]. Вообще, читаем и здесь газеты и всем интересуемся».

«3 ноября 1937 г… Париж

…Получила твое письмо о смерти Резерфорда. Я уже прочла об этом в газетах и все время думала о вас, особенно о Пете, зная, как он любил его и какое это для Пети горе. Какая безвременная смерть, он был еще так крепок, и бодр, и деятелен. Ужасно жалко. Нельзя представить себе Кембридж без Резерфорда. Какая потеря для науки. <…>

Как хорошо, что вы ездите на дачу всякий выходной день. Очень рада, что Емельян Иванович у вас, а Настасья Михайловна приедет скоро? Поклонись им от меня. <….> Мы послали тебе два письма о выставке, думаю, что первое письмо пропало, п.ч. ты просишь написать о ней. Мы опять были на выставке[127], но народу было так много, что трудно было осматривать. Очень красива выставка при ночном освещении, теперь темнеет рано, и тогда все зажигается и все павильоны очень эффектно освещаются…»

«6 февраля 1938 г., Париж

…Сережино письмо очень интересно. Я очень много узнала о его школьной жизни. Он очень развился. Маленький мой Андрюша уже пишет, а как с его глазами, не трудно ему учиться?

<…> За Парламентом следим, покупаем „Правду“. Вам, конечно, интересно все воочию видеть. Я теперь очень обеспокоена судьбой героев на дрейфующей станции Папанина. Все время за ними слежу, это что-то легендарное по героизму. Вообще все эти экспедиции в Ледовитом океане и перелеты через Северный полюс поразительны по выносливости, стойкости и героизму. Только бы их вовремя сняли…»

«17 марта 1938 г., Париж

…Ты меня спрашиваешь о Сереже, не трудно ли мне будет его пребывание у меня, если ты пошлешь его для лечения горла на море. Мне, конечно, это не трудно, буду очень рада, так что вопрос не во мне. Ты писала это раньше, чем произошли важные события в Европе, то есть захват Гитлером Австрии, а это чревато большими последствиями. Аппетиты у Гитлера велики, и если он покусился на Чехословакию, то и Франция будет на это реагировать. В такое смутное время опасно семьям разъединяться. Считаю это главным препятствием для приезда Сережи. Думаю, что теперь и ты думаешь иначе и вряд ли захочешь его присылать…»

«2 ноября 1938 г., Париж

…Еще раз благодарю тебя и милого Петю за книгу Грабаря[128]. Я ее с большим удовольствием прочла, много имен в ней мне знакомо, это хроника последних пятидесяти лет, очень было интересно, да и пишет он прекрасно. Какая у него любовь к искусству, какая трудоспособность и разносторонность. Вот пример для молодежи. Спасибо за журнал „На стройке“. Было интересно посмотреть всех этих детей и виды Артека. <…> Ваши героини-летчицы[129] меня очаровали, их простой чудесный рассказ о перелете, о посадке и блуждании в тайге. Были ли вы в Ленинграде на 75-летии папы? <…> Если выйдет биография П. М. Третьякова, которую хочет издать его дочь, то пришли ее. Получила письмо от Марии Павловны (Боткиной-Третьяковой из Сан-Ремо. — *Е. К.*), у них была паника в ожидании войны, положение французов там было очень неприятное, теперь все успокоилось…»

«14 февраля 1939 г., Париж

…Сегодня празднуем день рождения Сережи, думаю, что и вы этот день не забыли…»

«30 марта 1939 г., Париж

…Очень мне было интересно твое письмо о юбилее папы,

спасибо, что все подробно написала мне. Одно только забыла написать, что и как папа отвечал, удачно ли. <…> Вчера были у меня визитеры, которых не ожидали. *(Из письма М. И. Сабининой:* „Получила мамми утром письмо, что мадам Дирак с мужем в Париже (Дирак делал четыре доклада математических) и Джон (Кокрофт — *Е. К.*), и что все хотят прийти ее повидать. Мы их поили чаем. <…> Конечно, сразу начали говорить о том, будет ли война. Эта тема теперь у всех — от мала до велика“.) Жена Дирака мне очень понравилась, она и Джон писали тебе, но не получили ответа. Дирак все такой же. Велел сказать, что у них все хорошо в семье…»

«12 апреля 1939 г., Париж

…Мы собираемся уехать на юг к 1 мая и надеемся, что внешние обстоятельства нам не помешают уехать, хотя время очень тревожное, и кто его знает, не загорится ли война, а тогда надо сидеть дома…»

«5 мая 1939 г., Ментон

…Вот мы и в Ментоне. <…> Если в мире будет все спокойно и войны не будет, то мы здесь собираемся прожить до осени…»

«8 сентября 1939 г., Ментон

…О нас что тебе сказать. Мы застряли здесь. <…> Пока здесь все спокойно. <…> Нам очень жаль, что мы не попадем к себе в Париж, в нашу уютную квартирку, но в Париж сейчас не хочется. <…> Вот, дорогая Анюточка, приходится переживать еще войну. Ты о нас не беспокойся…»

«20 сентября 1939 г., Ментон

…Пиши, когда сможешь, но вряд ли можно писать часто. <…> Мы пока устроены, но оставаться равнодушным к событиям нельзя, за всех сердце болит. Ты пишешь: хорошо, что мы вдвоем, да, это большое счастье. И ты знаешь, что Вава (М. И. Сабинина — *Е. К.*) любит меня незаслуженно с моей стороны и заботится как самый близкий человек…»

«3 октября 1939 г., Ментон

…Будь спокойна о нас. Мы здоровы и всем обеспечены. <…> Останемся здесь на неопределенное время, может быть надолго. Сейчас заняты вязанием свитеров…»

Елизавета Дмитриевна отправила еще 3 открытки, последняя из которых датируется 9 ноября 1939 года. На этом связь

прервалась на долгие военные годы…

«18 марта 1945 г… Париж

Дорогая моя Анечка, получила 7 марта твою телеграмму, так была рада и счастлива, ведь это первое о вас известие за четыре года (на телеграмму не ответила, это стоит 250 франков, а я 17 февраля отправила вам письмо). Мария Ивановна, как и прежде, живет со мной, и мы все эти 4 года прожили с ней в деревне на роли хозяек одной усадьбы. Там мы работали. Теперь мы вернулись в Париж и сидим без работы. У меня оставались деньги, но я их еще долго не смогу получить. Вот наше положение. Не думай, что мы очень нуждаемся, но находимся отчасти в затруднительном положении. Я очень постарела, ведь мне уже 77 лет. Правда, я слышу, вижу и хожу хорошо, но я очень похудела и имею вид старушки. Мария Ивановна устала за эти годы. Постоянно думали обо всех вас и утешались, слушая радио из Москвы, а теперь и этого нет. Но мы не унываем и надеемся увидеться со всеми любимыми…»

Письмо отправить не удалось и через некоторое время Елизавета Дмитриевна продолжает:

«31 мая 1945 г.

Дорогая Анечка, как видишь, письмо это, написанное в марте, не удалось отправить, почта еще не действовала. Теперь почтовое сообщение между Парижем и Москвой налажено, и я жду от тебя подробного письма обо всех вас и о том, как вы пережили тяжелые годы войны. Наше счастье было, что мы уехали в деревню, там было лучше, чем в Париже. <…> Этой зимой еще будет трудно жить, ведь после войны жизнь во Франции еще не наладилась. Нет угля, все сильно вздорожало, и продовольственный вопрос очень серьезен, всего недостает. Живем по продовольственным карточкам, которые пока не улучшились. Все же мы обе здоровы, ведь мне в июле (25) минет 78 лет, года большие, но я еще бодра. Мария Ивановна утомилась за эти годы, и этой зимой мы были рады пожить у себя на Crespin[130]. В деревне зимой было трудно…»

«Конец июня 1945 г., Париж

…Я уже писала вам по почте, но из вашей второй телеграммы вижу, что вы моих писем не получили. Очень хочу знать о вашей жизни подробно. Мы в деревне имели радио и всегда слушаем и слушали Москву, и все время войны жили одной жизнью со всеми вами: горевали и радовались, но всегда верили в конечную

победу Сов. России. Несколько раз слышали по радио о Пете и его работах, и даже в день рождения (50 лет) слышали по радио об его научных работах и награде. Дорогие мои внуки Сережа и Андрюша выросли за эти годы разлуки, теперь уже они молодые люди, а я, их старая бабушка, пожалуй, их бы и не узнала…»

«23 октября 1945 г., Париж

Дорогая Анечка, если бы ты знала, какую радость принесло нам твое письмо. Профессор[131] принес его нам 21 октября. Я бесконечно ему благодарна. Мария Ивановна и я обе были дома. Мы ведь 28 сентября вернулись в Париж. Как мы обрадовались фотографиям. Андрюшу я бы не узнала, он совсем большой мальчик, он выше тебя ростом, а я его оставила 4-хлетним малюткой в очках, а теперь он перестал их носить? Петя и ты мало изменились, все же десять лет прожито, а вот папа очень похудел, но лицо очень хорошее. Вот только Сережу ты не сняла, маленькое фото не в счет, оно не дает представления. Ты обещаешь прислать, хорошо, если удастся прислать по случаю, почта еще все не налаживается. <…>

О нашей работе в деревне Мария Ивановна тебе напишет, как она умеет, подробно. Ведь мы там провели почти 5 лет. Теперь вернулись в Париж, работа там кончилась, и мое денежное положение, надеюсь, наладится. Я получила от тебя девять тысяч франков. Спасибо тебе, Пете, папе, может быть, и он участвовал. Должна сказать, что деньги эти очень меня устроили. В Париже жизнь страшно дорога (также дорога и в деревне), а потому эта ваша помощь очень меня поддержала. Но мне было жалко, что вы лишаете себя, посылая такие деньги, а потому я написала тебе через Бетти, чтоб вы пока не посылали мне деньги. Я надеялась, что мои денежные дела устроятся, оказалось, что это не так, придется еще долго ждать, чтоб во Франции все наладилось. И вот, отказавшись от вашей помощи, я снова к ней прибегаю, и буду вам очень благодарна за нее. <…> Живя и работая в деревне, мы жили на счет хозяина усадьбы, это место нас вывело из очень трудного положения. Теперь, возвратившись в Париж, надо устроить свою жизнь. Квартира у нас та же, и мы обеспечены топливом, п.ч. в этом году выдали уголь, а старикам и дрова, у нас есть печурка для дров, электричество, газ, и вода есть. Продовольственные карточки дают возможность не голодать, так что жить можно, а дороговизна ужасная. Черный рынок процветает, но мы им не пользуемся. <…>

Пишу это письмо заранее, боюсь, чтобы профессор не уехал раньше, чем решил, хочу, чтобы письмо было готово…»

Продолжение:

«2 ноября 1945 г.

Сегодня получила твою телеграмму, дорогая моя, о кончине папы. Это известие горестно меня поразило. В эти долгие годы мои мысли всегда были о нем. Твое письмо порадовало меня, что он жив и здоров, и вот болезнь и смерть! Очень благодарю тебя за быстрое извещение, это мне очень дорого. Ты хорошо написала о папе, да, он прожил долгую жизнь, наполненную его любимым научным трудом, обогащая всех. Он так охотно передавал свои знания всем, кто хотел этого. А для меня он остался и лучшим человеком. Мне жаль тебя, что ты лишилась такого отца-друга, и жаль мальчиков, что они потеряли такого деда. Сейчас я вся с вами и всех вас горячо обнимаю и люблю, дорогие мои».

Продолжение:

«12 ноября 1945 г.

…Вот опять пишу тебе, моя дорогая, получено твое большое письмо от 21 августа. <…> В этом письме ты задаешь нам сложный вопрос: хотим ли мы вернуться в Россию. Если ответить одним словом на этот вопрос, то мы отвечаем: да, хотим. Никакие принципиальные вопросы не мешают нам так ответить. Не только последние пять лет войны мы были духовно связаны с советской Россией, но все последние десять лет нас тянуло к ней, хотя она и стала советской Россией. Она для нас была и осталась родиной, и другой родины у нас нет и не будет.

Мы не легко ассимилируемся с чужой страной, лучше сказать — совсем плохо. Прекрасная Франция осталась прекрасной, но чужой страной и не согревает нас.

Итак, ответив на главный вопрос утвердительно, перед нами встают другие, хотя и второстепенные вопросы, но довольно серьезные. Из них возьмем самые простые: когда будет возможен наш переезд, а с этим связано и то, что надо подготовиться к переезду, ликвидировать хозяйство, устроить денежные дела и т. д. А потому решить вопрос о переезде лучше всего с тобой, как ты и пишешь. Торопиться тебе приехать к нам не надо, теперь нет сообщения, не надо рисковать. Значит, мы подождем. <…>

Скажу тебе, что хотелось бы мне провести последние годы около вас. Знаю, что жизнь предстоит суровая. Страна разорена продолжительной и жестокой войной, но я не очень требовательна и пока еще довольно крепка, слава Богу. Из твоего письма я поняла, как много вы пережили за время войны и как дорога вам родина. Я рада за вас. В твоем письме мне многое стало ясно, и я получила из него ответы на мои некоторые нерешенные вопросы о вас, которые я задавала себе. Ведь мы не переписывались пять лет, вот и явились разные вопросы о вашей жизни. Очень хочется увидать внуков, ведь они уже молодые

люди и как бы новые Сережа и Андрюша, а не те, которые играли и шалили в Кембридже.

Здесь была франко-русская выставка народов СССР. Я была на ней и видела прекрасные портреты папы и Пети — героев социалистического труда. Видно, что папин портрет снят не так давно, Петин портрет очень хорош, он как живой…»

Продолжение:

«3 декабря 1945 г.

…Письмо еще не отправлено, и я опять пишу. Если ты получишь красную вязаную кофточку, то к ней будет связанный кушачок, это для того, чтобы распустить его и употребить на штопку, когда будет надо. <…> Продовольственный вопрос улучшился, так что мы сыты, и я порядочно прибавила в весе и уже не такая худая, как была. Прочла книгу К. Симонова: „Дни и ночи Сталинграда“[132]. Она очень мне понравилась простотой и правдивостью и какой-то особенной скромностью. Все защитники Сталинграда — герои, все одушевлены одной мыслью — защищать родину, но в книге это изображено так просто, что иначе и быть как будто не может. Мы с большим волнением следили и переживали этот период войны. Думаю о вас, с каким напряжением вы все это переживали…»

В это письмо вложено и другое — от М. И. Сабининой, в котором та подробно описывает, как они провели военные годы:

«…Начало войны нас застало в Ментоне, но мы с маммы решили при первой возможности вернуться к себе, так и вышло — вернулись в декабре на Crespin. Прожили всю зиму. Война все разгоралась, и немцы приближались. Все и всех стали эвакуировать. Мы твердо решили не уезжать, а умирать в своей квартире. Начался буквальный исход, все уезжали на чем могли, уходили пешком из Парижа и запрудили собою все дороги. Много осталось погребенных в дороге, умерших от своих болезней и немецких бомб. Я сшила два удобных мешка, положила туда все, что необходимо, и так держали долгое время на случай, если насильно будут выгонять из Парижа, чтобы, уходя, надеть на спину, но, слава Богу, не понадобилось. Утром я пошла, как обычно, в 7 утра за хлебом и увидала — на стенах наклеены объявления, что Париж сдан и что жителям нечего беспокоиться. Газеты не вышли, и стали жить слухами. Все стало исчезать, доставка продуктов остановилась, и лишь торговки и торговцы на таратайках стали бойко торговать по нормальным ценам. Движения не было в Париже никакого, только метро. Банки, лавки, все почти было пусто и закрыто. Потом, когда немцы окончательно засели и взяли бразды правления, люди, все, кто уцелели, стали возвращаться, магазины открываться, подвоз кое-

как стал налаживаться. Выдали всем продовольственные карточки. Никакого отопления не давали три года. Прошел так еще год, деньги стали подходить к концу, у немцев мы работать не хотели. Я как-то говорю шутя: „Дело подходит к лету, хорошо бы куда-нибудь наняться работать в деревню“. <…> А через неделю мы, действительно уехали в деревню работать, и вот как это случилось. Приходит к нам как-то м[ать] Бландина, бывшая Ася [Оболенская], и говорит: „Мне сейчас предложили поехать работать в деревню, но я не могу, тогда меня просили найти двух старушек, чтобы вести хозяйство, к одному профессору, у которого месяц назад умерла жена“. Мы без всякого колебания решили, что это нам посылается как исход из нашего положения свыше, и мы должны принять это предложение.

За первый год войны мы с маммы очень похудели, да и в деревне не сразу отъелись. Настало лето, приехал хозяин со своими друзьями-стариками, исхудавшие, рады были попасть на деревенский харч. Мы очень много работали с маммы и за эти два с половиной месяца очень уставали, проводя дни от 7 утра до 11, а иногда 12 ночи, конечно, не всё в работе. После ужина, например, сидели слушали T.S.F.[133] и разговаривали, переваривали газеты. <…> Проводив „гостей“, в первую же зиму пришлось прекратить отопление из-за отсутствия угля. Отапливали свою комнату дровами. Зимы были очень суровые, я не помню за все годы таких, одну зиму 43 года снег лежал целый месяц сугробами, мороз держался до 17 гр., но мы не очень страдали, ходили дома одетые тепло, в шапочках. <…> Наконец, четвертую зиму страшно было оставаться в холоде, хотя и в Париже не было никакого топлива у других. Но у нас был наш уголь в квартире еще за 40-й год, вот мы и провели зиму в Париже, и к нам все приходили греться…»

Елизавета Дмитриевна — Анне Алексеевне

«26 февраля 1946 г. Париж

…Недавно отправила тебе телеграмму о получении денег. Очень тебя и Петю благодарю, это большая нам подмога, лишь бы вам не было трудно, а мы надолго теперь обеспечены. От тебя с октября не было писем, только твое августовское пришло…»

М. И. Сабинина — Анне Алексеевне

«25 марта 1946 г., Париж

Почти неделя прошла с того дня, как мы получили вашу телеграмму. Принесли ее утром, когда я ее вскрыла и стала

читать мамми, то у меня, как говориться, „в зобу дыханье сперло“. Мы целый день перечитывали ее и восхищались вашей энергией. Теперь лезут всякие мысли в голову: то мы уже сидим с мамми в вашем уютном уголке, и нам больше ничего не надо, то думаем о своем скарбе. Вещей у нас мало, и от них легко отделаться, но вот разные плюшкинские предметы, без которых не уедешь, не улетишь, очень беспокоят. Я уверена, что вы в своем письме все нам объясните, как поступить, но письма все нет. <…> Мы бесконечно счастливы очутиться около вас, а главное на Родине, но каково будет наше перекочевывание, еще никак не можем понять…»

Елизавета Дмитриевна — Анне Алексеевне

«2 апреля 1946 г., Париж

…Мне не верится, что настанет момент нашего свидания…»

«9 апреля 1946 г., Париж

…Я своего желания поехать к вам не изменила, хотела бы прожить с вами последние годы мои…»

«3 мая 1946 г., Париж

…Ты хочешь прислать нам телеграмму, когда все решится о нашей поездке, а мы еще и не готовы. Ведь надо все ликвидировать: квартиру и вещи, мебель. И все приготовить, что нам взять с собой. Пока мы ничего не получили из консульства о твоих хлопотах о нашем возвращении. <…> Мария Ивановна находится в большом сомнении о поездке к вам и считает, что она вас стеснит и не сможет оправдать своей работой свою жизнь у вас…»

«19 мая 1946 г., Париж

…Мария Ивановна все зовет тебя, чтобы мне не пришлось ехать одной. Но, если она не поедет, я вполне могу ехать одна, и мне не надо провожатого, и, конечно, я хотела бы полететь на авионе, если поеду одна, а не ехать по железной дороге, переезжая через четыре зоны. Это путешествие теперь очень затруднительно…»

«8 июля 1946 г., Париж

…Насчет моего или нашего отъезда к вам ничего не имею. Скоро пойду в консульство. Ведь ты, вероятно, знаешь, что теперь все заграничные русские могут получить советский паспорт и подать заявление о возвращении на родину. Вот я и пойду все

разузнать…»

«22 июля 1946 г., Париж

…Ждем от тебя писем или телеграммы, если разрешение на мой въезд состоится. <…>

Вечером. Сейчас получили от тебя письмо, и такое большое и интересное, и 2 фото дорогого моего Сережи. Такое нам счастье и радость. Сережа мой дорогой очень мне нравится, но я бы его не узнала, ведь он уехал восьмилетним мальчиком, а теперь я вижу его большим юношей. <…> И как интересно вы справляли Петино и Андрюшино рождение. Мы тоже этот день праздновали и пекли пироги, только у вас был одописец Леня (которого я заочно люблю), а мы не умеем сочинять. Как мне было приятно узнать о папином бюсте скульптора Мухиной, и об Академии его имени, и обо всем, что его касается. <…>

Я на днях пойду в советское консульство и возьму советский паспорт и узнаю о возможности поездки к вам.

Дорогая Анечка, ты так хорошо написала Марии Ивановне о своем желании видеть ее у себя, так убедительно и искренне, что, может быть, она призадумается над своим нежеланием поехать…»

«5 августа 1946 г., Париж

…Побывав в советском консульстве, мы узнали, что поездка наша к вам возможна, и мы принимаем все шаги к этому. Поездку на авионе труднее получить, и в консульстве посоветовали, чтобы и вы об этом написали сюда. Выходит, что до зимы мы сможем быть у вас. Вот как хорошо.

Сейчас я читаю книгу папы „Мои воспоминания“. Я ее купила. Есть ли она у тебя? Я ее читаю с большим интересом, но и с большим волнением. Он пишет так, как говорит, а так как я всех и все, что он пишет, знаю, то, читая его книгу, я как бы его слушаю и вспоминаю всю жизнь. Он пишет необыкновенно живо.

Ты пишешь о бюсте папы из дерева. Мы как раз, купив „Vie Soviétique“, увидали его. Он очень хорош, похож и талантливо исполнен.

Дорогая Анечка, теперь, когда оказалась возможность приезда нашего к вам, пиши чаще. Напиши, не надо ли тебе чего-нибудь привезти.

Еще ни один эшелон желающих уехать в Союз не уходил отсюда…» [М. И. Сабинина:] «…Вот, что произошло сегодня. Мамми ходила в консульство за паспортом, который еще не готов, будет через 2 дня. И я пошла с нею узнать, как перевозятся те, кто желает ехать. Оказывается, еще никто не перевозится, но перевозка будет такая эшелонами, либо по железной дороге (это

будет длиться три недели), либо через Одессу по морю 8–9 дней. Тогда я спросила, нельзя ли ехать индивидуально и поскорее ввиду нашего возраста. Тогда этот добрый человек сказал, раз вы едете к Капицам, подавайте заявление скорее, и тогда можно будет вас отправить авионом, так как, пока длится конференция[134], есть свободные самолеты. Мы, конечно, обе задрожали, так как это все должно решиться скоро, в течение месяца или полутора. Мамми, конечно, заволновалась и говорит, что будет волноваться до тех пор, пока не будет в ваших объятиях…»

М. И. Сабинина — Анне Алексеевне

«9 августа 1946 г., Париж

…Не подумайте, что мы сошли с ума, так часто вам пишем. Дело в том, что мы сейчас были в консульстве, где нам сказали, взяв бумаги, что они могут нас отправить в середине сентября на авионе. И даже, сказал секретарь, у Петра Леонидовича есть своя машина, что он, т. е. П. Л., пошлет за нами на аэродром и нам не о чем беспокоиться. Вещи, такие, как машинку швейную и одежду, тоже возьмут, так что, если ничего не случится с нашей и вашей сторон, будем у вас очень скоро. Конечно, у нас в зобу дыханье сперло, но как-нибудь переварим. Мамми уже имеет на руках паспорт, а у меня будет готов во вторник 12-го. Папка с нашими бумагами у секретаря, и, по-видимому, все решено…» [*Елизавета Дмитриевна*] «…В советском консульстве к нам так хорошо отнеслись и обещали нас обеих взять около 15 сентября на советский авион и доставить в Москву. Мария Ивановна и я согласились, и надеюсь, что перемен уже не будет. Итак, все сомнения кончились, и, Бог даст, мы все свидимся. Начинаем ликвидировать вещи и квартиру…»

А в Москве как раз в это самое время — 17 августа — вышло постановление о снятии Петра Леонидовича с поста директора Института физических проблем. События уже давно принимали угрожающий характер. После конфликта с Берией и отказа работать вместе с ним над созданием атомной бомбы, после многочисленных разбирательств и критики деятельности Капицы, казалось, трудно было ожидать благоприятного для Петра Леонидовича развития событий. Однако то, что Анна Алексеевна так активно настаивала на переезде Елизаветы Дмитриевны и М. И. Сабининой в Россию, свидетельствует об обратном — Капицы, по-видимому, не предполагали такого поворота в своей судьбе. Анна Алексеевна отправляет в Париж телеграмму…

Елизавета Дмитриевна — Анне Алексеевне

«23 августа 1946 г., Париж

Дорогая Анечка, вчера получили твою телеграмму, она, конечно, была очень неожиданная, но послана она была, к счастью, вовремя, т. е. пока мы еще не успели ликвидировать свое хозяйство. Мы спокойно будем дожидаться того времени, когда будет возможность поехать к вам. Ждем твоего письма, чтобы узнать причину отсрочки нашего приезда. Я думаю, что у вас нет места, а то, которое оставалось для нас, занято, но, конечно, это только мое предположение. Теперь пойдем в консульство и скажем, что мы не летим. Ведь 15 сентября могла бы состояться наша встреча…» *[М. И. Сабинина:]* «…Какое счастье, что вы телеграфировали нам вовремя. Мы уже полуразорили наше гнездо, отдали нашу собачку хозяину, тем не менее у нас уютно…»

«23 сентября 1946 г., Париж

…Получили твои телеграммы и с 21 августа ждем обещанного письма, но пока оно еще не пришло. Итак, мы остались на эту зиму в Париже. Устроились мы хорошо, уголь на зиму нам уже роздали, так что не будем зябнуть…» [*М. И. Сабинина:*] «… Про нас можно сказать, что мы находимся целый месяц в ожидании, и как это томительно. От ваших вестей, можно сказать, зависит теперь наша жизнь, они выведут нас из полупарализованного состояния. Сидим на Crespin и не двигаемся. К сожалению, поторопились (иначе нельзя было) отдать T. S. F., и потому забава эта кончилась и мы больше не слышим Москву. В квартире у нас много места, потому что отдали шкафы и полку. Уже привыкли к переустроенной квартире. Собаку тоже отдали. С нею прекратился мой заработок».

«27 сентября 1946 г., Париж

Дорогая Анюточка, письмо твое очень тревожное, вижу, что Петя сильно переутомился и что ему нужен длительный покой. Пиши чаще о его здоровье. <…> Напиши мне, кто живет в Москве с мальчиками, пока вы с Петей отсутствуете?..»

«1 ноября 1946 г., Париж

…Слава Богу, что Пете стало лучше. <…> Воздух и тишина и спокойствие поправят его. Как вы устроились на даче?..»

«28 ноября 1946 г., Париж

…Сейчас получили твое письмо от 13 ноября. Очень обрадовались хорошему известию об улучшении Петиного здоровья. Рада, что спокойная жизнь в деревне на даче поправила его здоровье. Сообщения часто не верны и волнуют…»

Трудно сказать, узнала ли Елизавета Дмитриевна истинное положение вещей в Москве. Ее письма становятся все короче и короче. Силы уходят. Теперь в основном пишет Мария Ивановна, а Елизавета Дмитриевна ограничивается лишь короткими приписками. В конце июня 1948 года у нее случился удар. Мария Ивановна трогательно заботилась о «своей любимой подружке» и регулярно посылала Анна Алексеевне подробнейшие письма о состоянии здоровья Елизаветы Дмитриевны. Часто в них звучит бесконечная горечь: «…Как жаль, что Вы так далеко. Так бы хотелось поплакать с Вами вместе и пожалеть себя, что мы лишаемся такой цельной души, которая так умеет любить и прощать…» Много позже, когда я спрашивала Анну Алексеевну о последних годах ее матери, она все больше отмалчивалась, видимо, не хотелось ворошить воспоминаний, и только как-то сказала: «Меня не пустили к ней, когда она болела…» В конце сентября 1948 года из Парижа пришла телеграмма: «Мама скончалась этим вечером без страданий. Целую и очень тоскую…»

Только двадцать лет спустя, в 1968 году, оказалась Анна Алексеевна в Париже и смогла прийти на могилу матери. И уже после кончины самой Анны Алексеевны, разбирая ее архив, я наткнулась на маленький конвертик, в котором лежали засушенная веточка и записка: «Листочки с могилы моей мамы в Париже»…

Опала. Жизнь на Николиной Горе

17 августа 1946 года конфликт П. Л. Капицы с Берией, с которым он отказался сотрудничать над созданием советской атомной бомбы, завершился изгнанием Петра Леонидовича из созданного им Института физических проблем. Постановление об освобождении Капицы с должности начальника Главкислорода и с должности директора Института физических проблем подписал Сталин. Сохранилось письмо, которое Анна Алексеевна написала Ольге Алексеевне Стецкой, заместителю Капицы, уже после того, как постановление Сталина пришло в ИФП.

А. А. Капица — О. А. Стецкой

«Николина Гора, [без даты]

Дорогая Оленька,

Когда вы отучитесь к нам звонить и сообщать, что у вас делается? Каждый такой звонок и разговор выбивает П. Л. из колеи и волнует его. Чем меньше будет таких волнений, тем скорее он придет в себя. Вам всем на это время надо как-то прожить своим умом, совсем не опираясь на Петра Л. Ведь чему-то вы все от него научились за 10 лет совместной работы, вот теперь как раз время это все приложить на практике. Помни, что от меня спросится здоровье П. Л., а от тебя и всех других сотрудников здоровье — института. Вот это и есть та линия, кот[орой] надо держаться.

Позвони или завтра, или в понедельник Елиз[авете] Петр[овне] и скажи, что мы просим их нам позвонить, П. Л. хочет поговорить с Георг[ием] Нест[оровичем].

Интересно, как ребята будут жить одни эти три недели; хорошо, что приехал Леня.

Целую крепко. Привет.

Твоя *А К.*

Суббота.

P. S. Передай Олегу [Писаржевскому] информационный список, пусть пошлет, куда надо. Ему же посылаю 3.000 руб. на оплату всех долгов».

Из воспоминании Анны Алексеевны (Запись и литературная обработка Е. Капицы.)

В те годы никто не мог чувствовать себя в безопасности, а у Петра Леонидовича давно были плохие отношения с Берией. А в послевоенный год ему приходилось постоянно иметь с ним дело, ведь Петр Леонидович был членом Особого комитета по атомной бомбе, а Берия его возглавлял. Петр Леонидович говорил, что с Берией работать у него не получается. Много лет спустя наш хороший знакомый генерал армии Андрей Васильевич Хрулев рассказал нам историю, очевидцем которой он был. Он происходил из потомственного семейства золотых дел мастеров, это были честнейшие люди. Во время войны Хрулев был начальником Главного управления тыла. Нам, конечно, очень повезло, что такой человек был начальником тыла. Так вот, по каким-то делам Хрулев находился у Сталина. Вдруг в кабинет входит Берия и начинает убеждать Сталина, что Капицу надо арестовать. На это Сталин, помолчав, сказал (эта фраза хорошо запечатлелась у меня в памяти): «Я его тебе сниму, но ты его не трогай». Продолжения разговора Хрулев не знал, ему стало неловко, и он вышел из кабинета.

А мы не знали самого разговора, зато хорошо знали его продолжение. В институт к Петру Леонидовичу зачастили государственные комиссии — проверять состояние дел с кислородом. Ему это было очень неприятно, противно еще и потому, что он видел подлое поведение некоторых людей вокруг себя. Многие с готовностью бросились изничтожать Капицу и обвинять его в самых невероятных вещах. Но надо сказать: кто никогда не шел ни на какие сделки, кто всегда был на стороне Петра Леонидовича, защищал его, так это Бардин. У него по этим вопросам всегда было отдельное мнение, он всегда был на высоте, а это тогда было совсем непросто. Петр Леонидович был очень благодарен за это Бардину, очень его уважал.

Петр Леонидович, конечно, понимал, к чему ведут все эти разбирательства, но он не ожидал, что его выгонят сразу отовсюду, и из института тоже. Это произошло в конце августа 1946 года Петр Леонидович был в отпуске, и мы жили на даче. Насколько я помню, у нас были какие-то гости, и тут приехала Ольга Алексеевна Стецкая. Она была заместителем Петра Леонидовича в институте и близким нам человеком. Ольга Алексеевна приехала и сказала, что Петр Леонидович больше не

директор.

Петр Леонидович тяжело это переживал, долго болел, у него с сердцем были большие непорядки. Мы так и не вернулись в Москву и продолжали жить на даче, появляясь в городе очень редко, только в случае крайней необходимости. За все годы, что Петр Леонидович был в опале, мы ни разу в городе не ночевали. Мы были очень осторожны, и, по-видимому, наша осторожность была не напрасной, ведь Берия мог разделаться с Капицей самыми разнообразными способами. Мы замечали некоторые странности, которые с нами происходили: то вдруг у Петра Леонидовича начались неполадки с печенью, чего у него никогда не было, то неожиданно и абсолютно непонятно откуда появились вши. Петр Леонидович вполне допускал, что его захотят «извести», ведь у нас в доме была «казенная обслуга», явно приставленная к нему. Нас постоянно старались выманить с дачи, предлагали различные путевки в санаторий, различные поездки. Возможно, только большая наша осторожность, то, что мы старались как можно меньше ездить в Москву, никогда не гуляли в одиночку, — это и позволило нам избежать «несчастного случая».

В связи с этим хочется вспомнить печальную историю с Соломоном Михайловичем Михоэлсом. Мы познакомились с ним у Иофанов, сейчас трудно точно вспомнить, когда это произошло. Во всяком случае, это он, будучи председателем Антифашистского еврейского комитета, привлек Петра Леонидовича к выступлению на антифашистском еврейском митинге в 1941 году. Петр Леонидович очень хорошо относился к Соломону Михайловичу, их симпатия была взаимной, и им было интересно друг с другом. Иногда Михоэлс бывал у нас в доме. Когда мы попали в опальное положение, наша связь со многими людьми практически оборвалась, нас навещали очень и очень немногие.

В январе 1948 году зазвонил телефон, я подошла — говорил Соломон Михайлович. Меня удивил этот звонок, ведь мы давно не виделись. Михоэлс сказал, что ему хочется поговорить с Петром Леонидовичем. Они говорили какое-то время, а в конце Михоэлс сказал: «Я уезжаю сейчас в Минск, и мне хотелось как-то с вами попрощаться». Вскоре до нас дошли слухи о его трагической гибели. Мы с Петром Леонидовичем всё думали — почему он перед отъездом вдруг позвонил, позвонил попрощаться. Очевидно, он догадывался о том, что с ним могло случиться.

Прошло несколько месяцев нашей жизни на Николиной Горе. Как вдруг в один прекрасный день нам сказали, что обслуживание

нашей дачи закончено, персонал уходит, а мебель вывозят. Мы отнеслись к этому сообщению спокойно — ну что же, в конце концов, мебель казенная, не такая, какую бы нам хотелось. Из нашего дома вывезли абсолютно всё. Я помню, у нас были книжные полки — просто доски. Я пришла в кабинет и сказала рабочим: «Эти полки ведь не мебель, а просто доски, оставьте их нам». На что они мне ответили: «Велели вывезти всё». Свалили книги на пол, а доски увезли. Они именно хотели, чтобы мы поняли, что всё вывозится.

После этого мы переехали в сторожку. Там было три комнаты с печью. Мы поставили туда какие-то топчаны, столы, стулья и очень хорошо жили вместе с нашей собакой Джеком — большой немецкой овчаркой, которая нас охраняла. Петр Леонидович немного пришел в себя и начал заниматься математикой. Он считал, что у него недостаточно математических знаний. Это было первое, что он начал делать. Потом понемножку Петр Леонидович начал заниматься и какими-то ручными трудами. Когда дача совсем освободилась, он решил ее как-то обставить, переехать снова туда жить, а в сторожке сделать лабораторию. Пришлось занять денег, и я с большой благодарностью вспоминаю всех тех, кто в трудные послевоенные годы одолжил нам, опальным, необходимые суммы — В. А. Фока, А. И. Алиханова, А. Н. Фрумкина, Н. Н. Семенову, О. А. Стецкую. У меня до сих пор хранится список, сколько и у кого мы заняли. Сейчас уже давно все долги погашены, все отдано, но благодарность остается.

В конце концов, дача была более или менее обставлена, и мы перебрались туда жить, а в сторожке Петр Леонидович понемножку начал создавать лабораторию, и постепенно там налаживалась жизнь. Исподволь, чтобы не было заметно, стали Петру Леонидовичу помогать, присылать то простейшее оборудование, которое ему было необходимо. Сначала Петр Леонидович работал один, иногда я приходила, иногда там бывал Сережа, позже стали изредка приезжать механики из института.

Так мы и жили в те годы — Петр Леонидович уходил заниматься в лабораторию, а я готовила обед, топила печи, вязала и вообще занималась хозяйством.

Слава Богу, что существовала Наталия Константиновна, вдова брата Петра Леонидовича. Она взяла на себя всю заботу о детях, которые жили и учились в Москве, с того самого момента, как мы поселились на даче. Если бы не она, то все было бы очень трудно и сложно. Она была близким нам человеком, и все в Москве лежало на ней. Наталия Константиновна постоянно курсировала между дачей и городом, привозила нам продукты, письма,

записки. Я помню, как однажды зимой она неожиданно приехала к нам и сказала, что боится, что Петра Леонидовича могут выслать, и что она привезла ему на всякий случай шубу и валенки, мало ли что будет.

Особенно в первые годы люди сторонились нас. Это было слишком опасно — иметь с нами дело, и далеко не каждый мог на это решиться. Сотрудники из института иногда приезжали, но это было редко — один, два раза в год. А некоторые и вовсе никогда не приезжали.

Помню, приехал как-то совсем неожиданно Аркадий Исаакович Райкин. Мы с ним едва ли тогда вообще были знакомы, но он приехал, чтобы показать, что он уважает Петра Леонидовича. Петр Леонидович был ему потом всегда за это благодарен. Он считал, что Райкин перешел какую-то черту, когда советский гражданин уже не боится показать, что он может не слушаться, а Петра Леонидовича это всегда привлекало.

Когда Петра Леонидовича отстранили от дел, то он совершенно перестал ездить и на всякие академические мероприятия, перестал бывать на собраниях Академии наук. Ему было неприятно встречаться и иметь дело с людьми, с которыми он имел дело раньше. Тяжело было видеть ту резкую перемену отношения к нему, которая произошла в результате его опального положения. Было неприятно за поведение по отношению к нему других людей, неприятно за них. Это такое совершенно особое чувство, когда ты чувствуешь себя неудобно оттого, как другой себя ведет.

Первые годы в Москву он ездил только на лекции, так как преподавал на физико-техническом факультете МГУ, а на академических заседаниях не присутствовал, и с этим у него постоянно были связаны разные неприятности. Но самый большой скандал разразился в конце 1949 года, когда везде очень пышно отмечался 70-летний юбилей Сталина. Петр Леонидович сказал мне, что он никуда не поедет, так как не видит необходимости это делать. В конце концов, кто хочет, тот и едет, а он не будет в этом участвовать. И не поехал на торжественные собрания ни в Академию, ни в Университет.

Реакция на этот поступок последовала быстро — Петр Леонидович был отстранен и от преподавания. В этой ситуации ему очень помог С. И. Вавилов. Он все, что мог, делал для Петра Леонидовича, но никогда это не афишировал. Я думаю, многое из того, что для нас в тс годы делал Вавилов и что только сейчас стало известно, Петр Леонидович не знал.

Даже после того, как произошли все неприятности, связанные с юбилеем Сталина, Петр Леонидович продолжал писать письма

властям, добиваясь для себя возможности работать. Он считал, что обижаться можно на жену и любовницу, но не на правительство — это совершенно бессмысленно. Петр Леонидович продолжал писать Маленкову, Микояну, Сталину, знакомил их с тем, как у него идет работа. И, как оказалось, его письма были им необходимы. Я помню, как в конце 1950 года к нам на дачу позвонил неожиданно один из помощников Маленкова и попросил Петра Леонидовича к определенному времени прийти на дачу ЦК КПСС в Горках Х, куда ему должен был позвонить по «вертушке» Маленков. Разговор состоялся, и Маленков сказал, что Сталин просил его подробно написать о своей работе ему лично. Петр Леонидович заметил, что не уверен, доходят ли его письма до Сталина и читает ли он их. На это Маленков ответил, что Сталин читает не только те письма, которые Капица пишет ему, но и те, которые адресованы Маленкову. Петра Леонидовича это заинтересовало в высшей степени — его письма и читаются, и необходимы.

Умер Сталин. Я помню, мы были в ужасе от того, как это воспринимается народом. Одна наша родственница специально приехала из Ленинграда, чтобы поклониться Сталину. Мы никак не могли этого понять. Смерть Сталина была очень опасна для нас — в такой момент могло произойти все что угодно, мог совершенно спокойно быть «несчастный случай». Но, очевидно, у Берии были совсем другие заботы — заботы о том, чтобы перехватить власть. Иначе он непременно воспользовался бы таким моментом, чтобы свести свои давние счеты с Петром Леонидовичем. Последовавший через несколько месяцев арест Берии был словно подарок Петру Леонидовичу — о нем стало известно как раз в день его рождения. И только тогда исчезла постоянная угроза, под гнетом которой мы жили все эти годы.

С Петра Леонидовича была снята опала, и к нам снова стало приезжать много людей. Они больше не опасались нас.

Возвращение Петра Леонидовича в институт было очень для него тяжелым делом, очень. Ему было жаль, что институт многие годы был в чужих руках. По-моему, он никогда уже не смог смотреть на свой институт как раньше. Поэтому он и создал свою Физическую лабораторию, как бы институт в институте. Предложение вернуться в институт он воспринял как естественное, но без какой-то радости. Физическая лаборатория стала для него главным местом, и, пока она не начала работать, мы не переезжали с дачи. Когда Петр Леонидович стал работать в Москве, он закрыл свою лабораторию на Николиной Горе и больше туда не возвращался. Но он никогда ее и не ликвидировал. В его жизни столько раз случались какие-то

неприятности, что он считал: нужно иметь запасное место, которое не находится в городе, свою собственную лабораторию в полном смысле этого слова.

Надо сказать, что у нас с Петром Леонидовичем были особенные отношения. Мы были мужем и женой, но связывала нас не только любовь. У нас были необыкновенно дружеские отношения, полное понимание того, что мы делаем, и абсолютное доверие друг к другу, совершенное. Он знал, что я его не подведу никогда. Я знала, что он мне всегда скажет всю правду о том, что происходит. И вот это, я думаю, было основное, что помогло нам победить все жизненные невзгоды — полное доверие друг к другу, полная поддержка и взаимопонимание. Оказывается, дружба в супружестве гораздо важнее любви. Дружба — это самое основное.

Из переписки с сыном Андреем *(Публикация П. Е. Рубинина.)*

У Андрея Капицы не ладились дела в его московской школе, и родители, чтобы он не остался после 10 класса без аттестата зрелости, отправили его весной 1948 года в Ленинград. Среди ленинградских родственников Капиц были люди, хорошо знакомые с учительским миром города, с опытными и талантливыми преподавателями.

Анна Алексеевна и Петр Леонидович, изгнанный из Института физических проблем, жили постоянно на даче, на Николиной Горе. В марте 1948 года им пришлось из большого дома переехать в сторожку. О событиях, которые предшествовали этому, Петр Леонидович 21 апреля 1948 года написал президенту Академии наук С. И. Вавилову:

«Мне хотелось обратить Ваше внимание на то, как Дачное Хозяйство Совета Министров произвело вывоз мебели с дачи. Во время войны вся моя личная мебель пропала, и Дачное Хозяйство дало мебель из своих складов. Поэтому вывезти мебель они имели право. Но, предупредив меня только накануне вечером, они утром прислали человек 20 и решительно всё разом вывезли. Мои книги побросали на пол, вывезли дрова, срезали телефон, увезли все огнетушители и все противопожарные средства, и вообще все, что можно было вывезти. Одним словом, если Вы видели „Русский вопрос“[135], то тут делалось все гораздо грубее. Говорят, что ученых надо уважать, но ясно, что и с любым гражданином нехорошо так поступать»[136].

Случилось это 2 марта 1948 года, незадолго до отъезда Андрея в Ленинград. На копии письма Капицы В. М. Молотову от 16 февраля 1948 г., в котором он просил сохранить за ним дачу на Николиной Горе, Петр Леонидович написал: «*Примечание.* Ответа на эти письма не последовало. Вся полностью мебель, дрова, телефон и прочее было вывезено в несколько часов 2-го марта 1948 г.». Обратим внимание на спокойный тон писем Анны Алексеевны, испытавшей, по-видимому, немалое потрясение в день «налета» на дачу работников Хозу Совмина СССР и переживавшей за своего младшего сына… Во всяком случае, экзамены сына волновали ее больше козней чиновников аппарата Совмина, действовавших, несомненно, по указке Берии, злейшего врага Капицы. Она была уверена, что Петр Леонидович с ними справится и дачу отстоит.

«15 марта 1948 г., Николина Гора

Дорогой Андрей,

Сегодня понедельник, и я думаю, что Ты мне напишешь письмо. Я рада, что Ты доехал хорошо. Все инструкции я напишу в этом письме, так что Ты не сможешь Женечке[137] „морочить голову“.

Мы с папой чудно живем в маленьком домике, здесь очень уютно и для двоих не очень тесно. Папа в лаборатории устроил свой кабинет, т. е. на письменном столе разложил все свои бумаги и начал писать работу. В передней комнате очень хорошо, и Твоя полка прямо чудесна. Печки очень хорошо греют, а готовить я хожу в большой дом, там живет Варвара Ст[епановна][138], она не попала в дом отдыха. Этот дом находится на родине Калинина, и туда от станции надо ехать 40 верст по дороге. В последнюю оттепель там все дороги развезло, и они закрылись до мая. Ей, конечно, очень обидно, очень она хотела поехать. Теперь живет и отдыхает в большом доме с котятами, которые стали ужасно симпатичными.

Нам Академия прислала очень много дров — 21 куб. метр, и сегодня ночью поднялась метель и все дороги замело. Но теперь это все равно — дрова у нас, и Торопенко приходит их пилить и колоть. Твои дрова были ужасно нужны, я почти все их сожгла, прежде чем Академия прислала. Мы получили от Вавилова письмо, что дача передается из Хоз. Управ. Совета Министров в Академию Наук, так что я думаю, что теперь будет все хорошо. Никто ничего вывозить не будет, и мы постепенно опять все заведем. Академия предлагает набор финской мебели, они ее купили для академических дач. Я просила Тетю Наташу ее посмотреть, может быть, мы прямо так и возьмем, если она симпатичная.

У нас всю прошлую неделю был ужасный тарарам с хлебом, теперь как будто лучше, но все же в норму еще не вошли. У вас в Ленинграде то же самое было?

Ну, вот все новости Тебе написала, теперь надо писать инструкции.

1 — Чтобы Ты сам сознательно занимался. Осталось мало времени, и Ты должен сам себя подгонять.

2 — Попросить Нат. Мих.[139] и Женечку найти старых опытных преподавателей для того, чтобы с Тобой заниматься или Тебя проверять — по физике, химии и математике, по истории, и географии, и английскому.

3 — По-английски надо читать *каждый* день и заниматься грамматикой, о которой Ты не имеешь представления.

4 — Ходить в театр или кино *один* раз в неделю — или в субботу, или в воскресенье. Можно еще раз пойти в концерт *иногда,* по усмотрению Женечки.

5 — Вечером никуда не бегать, а сидеть дома и читать.

6 — Вставать вместе с Женечкой. Андрей всегда хорошо вставал, и пусть опять приучается.

7 — Ходить в баню один раз в неделю, менять белье, мыться, бриться и пр. так, как это полагается. Но пусть Женечка на Тебя не полагается и проверяет.

8 — Находиться под контролем Женечки и Нат. Мих., попросить Тетю Валю[140], когда я пришлю деньги, купить Андрею новый костюм.

9 — Обязательно выходить гулять или бегать на уроки пешком, чтобы не отсохли ноги, а в Ленинграде это очень приятно, потому что там всюду красиво.

10 — Писать мне каждый понедельник отчет о том, что сделано за неделю.

11 — Ничего не запускать и все время себя контролировать.

12 — Карманных денег получает 30 руб. в неделю, и пусть справляется, но если будут прорывы, то сейчас же об этом говорить. Ни у кого не занимать.

Ну, кажется, всё. Если вспомню еще что-нибудь, то дополнительно напишу.

Я очень надеюсь, что Ты все продолжаешь умнеть, как Ты это делал все последнее время.

Нам, конечно, очень без Тебя скучно, но я знаю, что так лучше и Ты сможешь хорошо заниматься. Постарайся эти три месяца, а там станет все проще.

Напиши Прас[ковье] Андр[еевне][141], только не откладывай, а сейчас же это сделай. Она была к Тебе очень добра, и, может быть, Тебе еще придется с ней сдавать экзамены. Не забывай ее.

Фрумкины едут около 25-го в Ленинград, я пошлю Тебе посылку и письмо.

Поцелуй крепко Женечку и заботься о ней, ведь она совсем одна. Будь к ней внимателен и ласков.

Целую Тебя очень крепко.

Твоя *Мама.*

P. S. Андрюшка, помни, что Ты обещал очень много сейчас заниматься, чтобы приехать к нам на разлив. Пожалуйста, не подведи.

Мама».

«16 марта 1948 г., Ленинград

Дорогая Мама,

Я благополучно устроился. Живу у Евгении Николаевны. Весь день зубрю. Вчера (в понедельник) окончательно устроился в школе рабочей молодежи в 10 класс. Ребята очень хорошие. Учителя тоже. Особенно хорош химик. Строгая и умная женщина. Объясняет очень интересно. У Миши[142] болят глаза. Он посещает институт и ходит в черных очках. Я уверяю его, что его арестуют, так что он на улице их снимает. <…> Наталья Михайловна здорова и собирается написать тебе подробный отчет, так что я не особенно распространяюсь про учение. Гулять времени совсем нет. Занимаюсь круглый день. Школа находится около пересечения Мойки с Невским проспектом (Мойка, 38). <…>

Когда у вас будет разлив? Я думаю, я смогу приехать на 3 дня. Но вы поговорите об этом с Нат. Михайловной. <…>

В Ленинграде стоит солнечная погода. Я собираюсь пойти на Исаакиевский собор. Кроме всего этого, ничего нет. Целую вас обоих крепко. Как Яшка и котята? Передайте привет Варваре Степановне, если она не уехала.

Целую крепко, твой сын

Андрей.

P. S. Пришлите, пожалуйста, учебник по Английскому и готовальню.

А.

P. S. Здесь рассказывают случай с молодым диссертантом, приводившим все время цитаты Однокамешкина. На вопрос: „Кто это?“ ответил: „Эйнштейн“. Здесь жмут страшно за низкопоклонство. Даже до того, что отрицают Галилея.

Андрей».

«22 марта 1948 г., Николина Гора

Дорогой Андрюшенька,

Получила Твое письмо, большое Тебе спасибо. Мы очень смеялись над ученым, которого зовут Однокамушкин (так в письме. — *П. Р.*), это очень хорошо. <…>

На днях в Ленинград поедут Фрумкины, я с ними посылаю 3. 000 руб., потом дошлю остальное. А Ты пойди и постарайся купить костюм, и если найдешь, то и обувь. Ведь Скороход — наша лучшая фабрика. Это, наверное, так же сложно, как и у нас, но ничего, как-нибудь устройся. Я посылаю Тебе Твою любимую рубашку (она, конечно, была у меня!), Твою фуражку или ту, кот[орую] я считаю за Твою.

Мы с папой очень рады, что Ты поступил в школу рабочей молодежи. Это народ, кот[орый] понимает, как трудно жить на свете без образования. Наверное, это хорошие товарищи. Уж Ты

постарайся и позубри хорошенько напоследок.

У нас была это время просто суровая зима, — 20° — 15° каждый день. Только вчера и сегодня наконец потеплело, но идет снег. Наша дорога еще не была занесена, теперь это может случиться только на очень короткий срок.

Мы часто видим Ильиных[143], они очень Тебя любят, но только Ты ужасно много в пылу разговора выдумываешь, я не подаю вида и не опровергаю, но лучше Ты от этого отвыкай, это не очень хорошо. Конечно, и плохого особенно нет, но лучше стараться, даже если и кажется, что не так интересно, всегда говорить ближе к истине. Это так, рассуждение, между прочим, не очень холодным голосом.

Напиши мне подробно, как Ты учишься, когда ходишь в школу, где она находится, нужна ли Тебе еще лишняя помощь? Я думаю, что если химичка хорошая, то Ты будешь недурным химиком. А для геолога химия очень нужна.

Мы с папой живем тихо и мирно, ждем теплой погоды. Варвара Ст[епановна] уехала в Москву на неделю. Яшка привязывается у дровяного сарая, и он спит, свернувшись калачиком, а над ним образуется теплый круг в опилках. Коко все еще на чердаке. Он стал совсем серый, и ему очень хочется на волю. Как только будет правда тепло, так я его с женой спущу. Клетка Паулюса[144] вмерзла так, что ее не оторвать, а то бы я его посадила в гараж. Котятки живут с нами в маленьком домике, они очень смешные, только начинают учиться пить молоко. Кэтти совсем не боится Джека, только иногда плюет на него и шипит, но это больше для порядка. Так что котятки стали физиками, они живут у папы в лаборатории, у печки. <…> а иногда у нас в комнате. Леня кряхтит над своим проектом. Сережа бегает в институт. Вдруг оказалось, что у него не сдан один зачет, он его сдал за 5 минут до того, как был подписан приказ о снятии его со стипендии! Они с замдеканом успели поймать секретаршу, когда она уже шла к директору подписывать приказ. Это был какой-то второстепенный зачет, о кот[ором] Сергей совсем забыл.

Тетя Наташа целую неделю ходила в Дом архит[ектора] на диспут об архитектуре. Там народ так разошелся, что кричали, свистели, топали ногами. Студенты, кот[орым] не было места — пускали только членов Союза, — разбили окна, вышибли двери, разогнали милицию и набились в зал, так что дышать нельзя было. Все говорили Бог знает что, но выговорились с удовольствием. От таких речей все давно отвыкли. Борис Мих[айлович Иофан] выступал тоже с успехом. Все ругали Комитет по делам архит[ектуры] и все начальство. Скоро у них будет Всесоюзный съезд и, наверное, постановление об

архитектуре. Ты, наверное, видел постановление о новом университете, все очень этим довольны.

Папа Тебя крепко целует. Поцелуй Евг[ению] Ник[олаевну] очень крепко и помни, что я Тебе говорила: будь с ней внимателен и нежен.

Целую Тебя очень крепко, мой милый сынок.

Твоя *Мама.*

P. S. Всем теткам большой привет.

P. P. S. Напиши, есть ли у Тебе самописка. Если нет, то можешь себе купить.

Мама».

«25 марта 1948 г., Ленинград

Дорогая Мама!

Вот уже две недели, как я занимаюсь в Ш. Р. М. Ребята очень хорошие — дружные. Я хожу в школу в 6 часов и до 12. <…>

Характеристика учителей:

1) Литература — Ревекка Ефимовна. Строгая, толковая, умеет захватить ребят. Классный руководитель и директор школы.

2) Физика — Николай Николаевич. Смешной, старенький, хорошо знающий свой предмет учитель. Любит пощеголять цитатами знаменитых ученых. Сердится редко и только на дураков.

3) Химия. Строгая, очень хорошо знает химию и умеет заинтересовать всех. Имени не знаю, но, по-моему, она еврейка.

4) Математик. Дмитрий Иванович. Строгий, подтянутый, средних лет мужчина. Дает чрезвычайно точные формулировки всему и всем.

5) История. Смешная, похожая на Коробочку учительница. Делает вид, что очень строгая, на самом деле — нет.

6) Английский. Среднего класса учительница. Ничего особенного.

Вот какие у нас учителя, а ребята разные.

1) Боген Лева. Умный, чрезвычайно привлекательный малый. Во время блокады потерял связь с родителями, поступил на завод и вместе с ним эвакуировался на Урал. До 46 года работал там, его не отпускали, он самовольно уехал и поступил в Ленинграде в техникум. После долгих мытарств прописался в Ленинграде и нашел мать с сестрами. Отца убили на фронте.

2) Мелихов Алексей. Длинный, выше меня, детина. Шофер. Веселый, непринужденный, нрав волжанина. Пишет стихи — неплохие.

3) Гильченок Наум. Работает в конструкторском бюро. Хороший товарищ, учится хорошо. <…>

Девушки тоже веселые, с ними еще плохо знаком. Впечатления самые лучшие. Насчет ботинок не беспокойся, я их обязательно куплю. Очень хочу приехать на разлив. Пришлите телеграмму, как только появятся первые утки. Я очень по вас соскучился. <…>

Поцелуй крепко папу и Сережу.

Твой любящий сын

Андрей.

[Приписка на конверте]: P. S. Совсем забыл. Поздравляю, дорогая мама, с днем рождения. Крепко целую.

Андрей».

«30 марта 1948 г., Николина Гора

Дорогой Андрюшенька,

Спасибо Тебе большое за телеграмму. А где Твое письмо, написанное в прошлый понедельник? Или его телеграмма должна была заменить?

У нас все благополучно, но никак не кончаются морозы, все еще зима, а в городе совсем весна, все тает, воробьи чирикают, ручейки текут, грязища в переулках. Правда, несколько дней тому назад прилетели грачи и сейчас же подняли страшный крик у [дачи] Кржижановского, стали делать гнезда. Когда тронется река, прямо и сказать нельзя. Уже много раз канава, которую прорубают у моста, чтобы сваи не вырвало льдом, опять замерзала крепким и толстым льдом. Одним словом, у нас весна запаздывает.

Мы с папой спокойно живем, в субботу бываем в Москве, и с нами приезжает Сережа. Он спит с котятами в лаборатории. Котята стали большие, стали сами пить молоко и не так уж чихают от него, как раньше.

Напиши мне, подошли ли Тебе туфли? Я так обрадовалась, что их нашла, они дешевые (113 р.), все-таки будет тебе смена. Как дело с Твоим костюмом? Я с Фрумкиными послала Тебе бархатную кофту, Ты ее носи на занятия. Вообще экономь пиджак, пока не купите новый костюм. Это в Ленинграде, кажется, еще труднее, чем в Москве.

Или сегодня, или завтра привезут мебель на дачу. Мы с тетей Наташей кое-что купили. Сережа сделал полку папе в кабинет, так что все книги больше не лежат на полу.

Андрей, пожалуйста, будь экономным с деньгами. Я знаю, что это Тебе очень трудно, но это очень, очень нужно.

Поцелуй Женечку и помни, что я Тебе писала.

Папа целует, все шлют привет.

Целую очень крепко.

Твоя *Мама».*

«1 апреля 1948 г., Ленинград

Дорогая мама и папа,

Целую вас крепко. Спасибо вам большое — деньги и посылку я получил. Очень кстати оказались фуражка, ботинки и учебник по логике.

Учусь я хорошо, занимаюсь с учителями по химии и математике с физикой. Химия мне теперь просто нравится. Ну, а как у вас дела? Когда будет разлив, прошу, пришлите мне телеграмму, и я здесь так устроюсь, что потеряю только один день (учебный). И то неважный.

<…> Здесь всем очень нравится история об архитектурном диспуте.

Я здесь был на Маришкином дне рождения. <…> Было шестнадцать девушек и только трое вьюношей — я, Мишка и один такой Юра. Ну, я был заводилой, ставил шарады, играли в игры и веселились. Маришка была довольна, а это главное. <…>

Как у вас дела с лодкой (резиновой или даже деревянной)? Мне очень, очень хочется приехать на два, три дня. Как у вас с дровами, кто их пилит?

Я занят, учусь круглый день как белка в колесе. <…>

Напиши, видите ли вы Ливановых, Людмилу Ильиничну и кто к вам приезжает в гости.

Ну, целую вас крепко. Я очень по вас соскучился. Напишите, когда вода быстро станет подыматься, и я приеду, или даже пришлите телеграмму. Поцелуй крепко папу и Сережу с Леней. Тете Наташе передай большое спасибо и тоже поцелуй.

Ну, до свидания, дорогие мои родители, папа и мама.

Ваш сын *Андрей.*

P. S. Кофта очень удобная, я ее теперь все время ношу.

А.

P. S. Сегодня вечером, после уроков, пойду к Мишке на день рождения.

Андрей».

«8 апреля 1948 г., Ленинград

Дорогие мои родители,

Я сейчас ухожу в школу и решил написать вам письмо. Я сегодня был у физика, это прекрасный учитель. Он кончил университет и уже давно преподает физику. Теперь у меня есть учители по физике, химии, русскому, английскому, чем я очень доволен. В школе я учусь хорошо, уже получил по истории 4 и по химии 4. Учительница по химии у меня замечательная как дома,

так и в школе. Я сам побаиваюсь, как бы я не полюбил бы химию. Она стала такой простой и легкой.

Сегодня к вам выезжает Нат[алья] Мих[айловна]. Я ей очень благодарен. Она столько сделала для меня, что я даже не знаю, чем ее отблагодарить.

Я очень прошу — пришли мне телеграмму, чтобы я приехал. У вас ледоход, наверно, давно прошел, а вы меня не хотите отрывать от занятий. Прошу вас, не думайте, я выберу время так, что пропущу только один день. Я очень вас хочу видеть и все сам рассказать.

Дорогая мама, я сделаю все, что могу, для того, чтобы сдать экзамены, только прошу разрешить на два дня приехать. <…>

Целую вас крепко, дорогие мои родители.

Ваш сын *Андрей.*

P. S. Напиши, как живут котята, Коко и Джек. Передай привет Варваре Степановне!

Андрей».

«26 апреля 1948, Николина Гора

Дорогой Андрюша,

Сегодня понедельник, и я, как видишь, Тебе пишу. Как Ты доехал, почему не известил хотя бы открыткой? Ты всегда это делай, потому что папа беспокоится. Как Твои дела, ведь на этой неделе Ты должен был сдать географию и дарвинизм? Напиши подробно о всех Твоих успехах и неуспехах, хочется знать все по порядку.

У нас после чудной весенней погоды опять были морозы и холодина страшный. Утки есть, но умеренные, не так, как в прошлом году. Вчера приезжал Ник. Ник. [Семенов], и они с Руссианом ходили с подсадной [уткой]. После долгих трудов убили одного селезня, которого и подарили нам. Так что мы все-таки попробуем дикой утки в этот сезон. У нас было так холодно, что бедный Коко совсем зачах, мы его сейчас взяли в дом, а то его больные ноги совсем отказались ходить. Он хорошо отошел на плите, но был очень скучный. Кокотка жила одна в дровяном сарае. Сегодня она вышла гулять, когда он ее услыхал, то запел от радости! Джек процветает, Кэтти и Касьян тоже.

Мы понемногу копаемся на огороде, сажаем цветы, скоро будем сажать картошку. Одним словом, заделались сельскими жителями. Папа кончил читать курс физики, теперь остались только экзамены[145].

Мост еще не навели, но уже начали строить, наверное, к 1 мая будет готов. Помни, что Ты уже прогулял свои праздники и что в эти свободные дни Тебе особенно надо заниматься.

Постарайся не бегать по гостям, оставь это на далекое будущее.

Несмотря на холод, цветы уже распустились и в нашем лесочке, и у Масловки, знаешь, „Сон“[146].

Сережа усиленно учится, у него экзамены начинаются около 20-го. Леня сидит целыми днями в институте над проектом. Они все запоздали из-за их руководителя, и теперь там ужасный скандал, потому что весь выпуск не будет готов к сроку. Все в большом волнении и расстройстве. Их уже все ругали и пилили. Папа шлет привет.

Академический сторож спрашивает, как зовут того человека, который сажал картошку сзади нашего лесочка, знаешь, за нашим забором в сторону Успенского. Он говорит, что Ты знаешь — что это, кажется, зоотехник. Напиши, если знаешь. Он хочет там сам посадить на этот год. Не забудь!

Целую очень крепко.

Твоя *Мама.*

Женечку целую очень крепко.

Мама».

«3 мая 1948 г., Ленинград

Дорогая мама и папа!

Извините, что я вам давно не писал, я совсем заучился. У меня совсем нет времени даже написать письмо.

У меня обнаружился материал по математике, который я не знал, и сейчас я занимаюсь с прекрасным преподавателем по математике. Он замечательно объясняет.

В школе я удачно написал контрольную по физике: было пять тем, из которых я знал только 3, и одна из них попалась мне.

Майские праздники прошли очень хорошо. На Неву пришло три подводных лодки, а три миноносца стояли как раз против нас. И за мостом Л[ейтенанта] Шмидта стояла „Аврора“. Салют над Невой был особенно красив. В Москве такого не увидишь. <…>

Мишка усердно занимается. Он рассказал такую историю, которую они задумали проделать над их физиком и проделали. Они послали записку лектору: „Как к такой-то теории относится Фаргелет?“ (Читай „Фаргелет“ наоборот.) Лектор немного помедлил, а потом ответил: „По-моему, он склонялся к…“, но громкий взрыв хохота не дал ему докончить ничего. <…>

На днях я сдаю географию и дарвинизм. Сейчас усиленно готовлюсь…»

«11 мая 1948 г., Ленинград

Дорогая мама!

Я вчера сдал „дарвинизм“, это мой первый экзамен на аттестат зрелости, и по нему я получил 4. По остальным предметам так:

алгебру (зачет) — сдал,
геометрию (зачет) — сдаю в субботу,
тригонометрию (зачет) — сдаю в субботу,
физику (зачет) — сдал,
химию (зачет) — сдал наполовину,
историю (зачет) — сдал,
литературу (зачет) — сдал,
дарвинизм (экзамен) — сдал,
географию (экзамен) — сдаю в субботу,
английский (зачет) — сдаю в четверг.

Так что у меня осталось 4 предмета, которые я буду сдавать. Из которых самый страшный — это география.

Отношения с преподавателями у меня самые лучшие. Единственно кто, это физик возмущается, что я сын… и должен знать физику лучше, чем он сам, и т. д. Но он старичок добрый и ко мне хорошо относится.

Заниматься сейчас приходится по 25 часов в сутки (поэтому я встаю на час раньше). Я даже не успеваю писать письма и читать газеты».

«17 мая 1948 г., Ленинград

Дорогие мои родители!

Я сейчас, как и Леонид, невменяем, но все-таки письма писать могу.

Дарвинизм, как я уже писал, я сдал на 4, а географию — на 5. Вывезло только мое нахальство. Когда после опроса экзаменатор неуверенно сказал: „Ну что ж, я думаю, я вам поставлю… четверку“. Я сделал кислую физиономию, как только уловил неуверенность в его голосе, и грустно сказал: „Ну, ничего не поделаешь“. Тогда он быстро спросил: „А на что вы рассчитывали?“ — „Я думал, мне удастся ответить на 5“. Он подумал и сказал: „Если ответите на один вопрос, поставлю пять“. Я согласился. „Что такое страны народной демократии, история их образования и роль в сегодняшней политике“.

Это очень трудный вопрос, но я был на лекции о странах новой демократии и так ловко ему отбарабанил, что он остался доволен и поставил мне 5.

Педсовет допускает меня к экзаменам как ученика своей школы. Это очень много значит. Здесь будут играть роль процентики! А я являюсь 4 %[147]. Это не фунт изюму!

Ну, вот и всё. Поцелуй крепко папу. Он, наверное, очень

устает, и постарайся, чтоб он меньше волновался за меня.

В четверг литература письменная, страшновато, но иду смело, буду драться за 3, легко мне не поставить, трудно будет комиссии.

Ну, целую крепко папу и тебя, моя дорогая мама. Большое спасибо за слова, утешающие за будущий провал. Но я постараюсь сделать все, чтобы выдержать экзамены.

Ваш сын *Андрей*».

«30 мая 1948 г., Ленинград

Дорогая мама!

Ну, вот, я уже сдал 4 экзамена. Когда я сдавал литературу, я так разволновался, что от нервного напряжения случилось что-то с глазами. Я сходил к врачу, он посмотрел и дал мне темные очки, в которых я и сдавал устную литературу. На экзамене я блеснул своими знаниями, и представитель из университета был очень доволен моими нешкольными, нестандартными знаниями. Разумеется, я отвечал, как учила меня Наталья Михайловна. <…>

Теперь я приступаю к самому неприятному (для меня) в этом письме. Я взял у учителя по математике много уроков, но т. к. я занимаюсь не только с ним, а и с физиком и химиком, то денег на продолжение [занятий], Евгения Николаевна говорит, не осталось. Я поговорил на эту тему с Нат. Мих., и она посоветовала послать тебе письмо. Когда ты решишь, как делать, попроси Сергея, и он мне позвонит.

Ну, вот и всё. Поцелуй крепко папу и передай, что аттестат у меня будет. Целую крепко.

Ваш сын *Андрей*».

«31 мая 1948 г., Николина Гора

Дорогой Андрюша,

Мы очень за Тебя рады, что Ты так удачно сдаешь экзамены. От всей души желаем Тебе дальнейших успехов.

У нас все хорошо. Сережа на днях сдает последний экзамен. Он должен был приехать сегодня к нам на дачу, да шофер не знал, что за ним надо было заехать. <…>

Папа сделал чудный стол. Вчера приходил столяр, который его отполировал, и он получился очень красивый. Еще надо сделать скамьи такого же типа. Приезжал приятель Ольги Алексеевны Петро [Петровский] и расписал печку около камина в буйном украинском стиле. Стало очень в комнате весело. Для Тебя остается очень забавная работа — радиофицировать пугало на огороде, чтобы оно могло людей пугать и бранить. Папа

телефон провел в лабораторию.

У нас стоит чудное лето, и только знаешь, что весна, потому что поют птицы. А так все буйно-зеленое, как среди лета.

Как Тебе нравится Ленинград при белых ночах? Напиши, очень ли страшно сдавать экзамены. Я думаю, что Ты вполне реабилитировал свою тройку по письменному — пятеркой за устный. Это получилось, конечно, очень удачно.

Скажи Женечке, что Воен. Изд. уже послало договор ей в Ленинград, так что пусть она уж этим ведает. Я позвонила Штрайху, и он мне это заявил[148]. Так как он не очень любезный гражданин, то я с ним не вела длинных разговоров.

Ты посылай телеграммы насчет Твоих успехов, это очень ведь нам хочется знать. Уж писем от Тебя сейчас трудно ждать.

У меня сейчас есть ассистент Катя (ей 45 лет), она простая крестьянка, что мне очень подходяще. Огород у нас в полном разгаре, картошка уже окучена, огурцы дают третий лист. И даже посажены дыни, которые тоже вышли.

У Милочки [Семеновой] родился сын Митя. Нат. Ник. — бабушка, а Ник. Ник. — дедушка!

Целуем очень крепко и желаем дальнейших успехов.

Твоя *Мама».*

«1 шюня 1948 г., Ленинград

Дорогие мама и папа!

Я сдал алгебру письменную и устную, правда неважно, но сдал на 3 (обе). Я готовлюсь к письменной геометрии. Экзамен страшноватый, но более безопасный, нежели другие. Все-таки 7 экзаменов из 13 — это не шутка, ведь в них входят 2 письменных. Ну ладно, расхвалился…

Я очень устал. Это все дается с большим трудом, но зато как приятно после сданного экзамена.

В Ленинграде вовсю белые ночи. Это, конечно, одно из самых красивых явлений природы. Да, совершенно забыл: я английский сдал на 4. Не знаю даже почему.

В Ленинграде стоит жуткая жара, мозги размягчаются окончательно. Все ходят чуть не в трусиках, а милиционеры в белых кителях с красными погонами и кантами страшно похожи на мухоморов. Так их в Ленинграде и зовут. <…>

Как папа, что он сейчас делает, что делается в лаборатории и как у тебя, мама, подвигается хозяйство? Ну, целую крепко, крепко.

Ваш сын *Андрей».*

«7 шюня 1948 г., Ленинград

Дорогая Мама и Папа!

Я вчера сдал геометрию устную, а в прошлый четверг — письменную. Отметок я еще не знаю, но знаю, что сдал. В среду у меня тригонометрия, это не так страшно, как следующие три экзамена: химия, физика и история.

Поздравь, пожалуйста, Сережку и поцелуй его от моего имени.

В Ленинграде сейчас свирепствуют белые ночи, которые совсем не дают заниматься. Особенно красиво было на набережной в воскресенье около 12 часов. Кто-то в лодке, на середине Невы, пел. У него был очень хороший тенор. Сначала он пел „Выхожу один я на дорогу“, „Средь шумного бала“ и „Я помню чудное мгновенье“. И еще одну, по-видимому, на итальянском или французском языке. Когда он кончил, обе набережные взорвались аплодисментами. <…>

В Ленинграде ходят всякие сплетни, но я все их рушу и разбиваю[149].

Как папа? Нарисуй, какой стол он сделал и где он будет стоять.

Остался один экзамен по математике, и тот не страшный, так что он за мою математику может быть спокоен. Как вы решили с лодкой? Ведь на даче хоть байдарку, а нужно иметь.

Целую всех крепко, крепко. Поцелуй Тетю Наташу!»

«9 июня 1948 г., Николина Гора

Дорогой Андрей,

мы очень рады, что у Тебя пока все успешно идет. Желаем Тебе и впредь успеха. Ты очень этим нас радуешь.

Тетя Наташа должна была послать еще 2. 000 руб. Пожалуйста, бери столько уроков, сколько нужно, деньги для этого всегда будут, об этом не беспокойся. И Женечке не вели.

У нас все хорошо, но жарища несусветная, все сидят весь день в реке. Ждут Тебя, чтобы ловить рыбу. Сережа сдал последний экзамен и теперь — дипломант. У Милочки родился сын — Митя. Леня пыхтит над проектом и находится в ужасном трансе. Конечно, мало времени. Папа много думает и работает в лаборатории, столярничает. Я вожусь с хозяйством. Скоро будет клубника, она в этом году ужасно рано поспевает.

Мы очень соскучились по Тебе и хотим Тебя видеть. Ведь Ты уже довольно давно там живешь. Как Твои глаза? Как хорошо, что [по] литературе 5, это приятно всем и особенно Нат[алье] Мих[айловне]. <…>

Целую Тебя, и папа тоже просит поцеловать. Привет Женечке.

Твоя *Мама».*

Телеграмма

«10 июня 1948 г., Ленинград

Москва Калужское шоссе 32 ИФП Капица = Математику сдал = *Андрей»*

«16 июня 1948 г., Ленинград

Дорогая Мама и Папа!

Вчера я сдал историю. Так как полагается две отметки (одна по „Истории СССР“, а другая — по „Новой истории“, т. е. по истории мира), то у меня стоят две оценки:

„История СССР“ — 4,

„Новая история“ — 4. <…>

В субботу у меня химия. Занимаюсь вовсю, боюсь ее ужасно.

В Ленинграде сейчас самая учебная погода — 10–15° и часто идет дождик.

Как вы собираетесь праздновать день рождения[150]. Папе я подарок уже придумал и скоро его достану.

Поцелуй Сережу и передай ему мои поздравления, ведь он уже фактически окончил М. А. И. <…>

Ну, вот и всё: через 2 недели я уже буду дома. Здорово! Целую крепко, крепко.

Ваш сын *Андрей.*

Как папа решил поступать с маленькой лодкой?

Андрей».

Телеграмма

«20 июня 1948 г., Ленинград

Москва Калужское шоссе 32 Капица = Химию сдал = *Андрей»*

Из дневников Анны Алексеевны. 1958 *(Публикация П. Е. Рубинина.)*

1 января. Друзья и наши на Николиной Горе. Возвращение из Антарктики и Спутник. Андрей готовит новую экспедицию в Ант[арктику]. Леня все еще в Пекине, куда мы собираемся уже второй год. <…>

Сергей все думает об аквалангах и делает чертежи. Хочет брать патент. Он, конечно, приборостроитель, что несколько огорчает Петю (недостаточно страстно относится к эксперименту). У Андрея много воображения и темперамента, зато все знания, энциклопедичность — у Сережи. Им надо работать вдвоем — будет хорошо. Надо найти ту дорогу, по которой хочется идти и не насиловать [себя]. Правильно ли было с ЦАГИ[151]?

Федю (сын С. П. Капицы. — *П. Р.*) спрашивают: «Когда разбили тебе нос, ты жаловался?» — «Нет. Учитель не нашего класса повел меня к доктору, я учителю не сказал. Но доктор спросил, я сказал, кто разбил мне нос! Я пожаловался?»

Трудный вопрос. Доктор не учитель, но взрослый. Можно или нельзя? Лена [Дамир] рассказывала, что им часто бандиты говорят о драках и ножевых ранах, но они никогда не говорят милиции!

Меня беспокоят Наташа и Евгения Николаевна. Что делать?

2 января. Были Борис и Валя [Маршаки], археологи, энтузиасты. Едут в Ленинград, затем к себе в Таджикистан, страну еще совсем дикую, где культура пробивает первые ростки и поэтому часто очень уродлива. У Бориса прекрасное будущее.

Людмила [Толстая] в расстройстве — большой банкет, вечер, всех надо приглашать, слишком много юбилеев, все помешались. Вероятно, надо отменить этот дурацкий обычай. Или обычай не отменяют, а, вероятно, стараются забыть.

Наконец начинается зима, сегодня — 10°. Берем Федю на дачу — пусть выпустит сколько можно энергии. Там сейчас Аня и Алена (внуки. — *П. Р.*).

Рокоссовский прилетел в Москву с Кавказа. Война все-таки еще висит над Малой Азией. Мы уж очень быстро там забираем влияние. Не отдадут они своих позиций без боя, а там всегда есть кому подраться. <…>

10 января. Был вечер А. Н. Толстого. Накануне по телевизору

Ираклий [Андроников], Чуковский и Людмила. Первый раз была настоящая телепередача, т. е. то, что может только телевизор дать, и ничто другое. Руководил Ираклий. Молодец. Кабинет был страшно интересен. Ираклий брал в руки или книги, или рукописи, вещи Толстого, и тут же о них рассказывал. Чуковский читал воспоминания. Людмила, видно, волновалась, но выступила очень хорошо, скромно и просто. Почти час, и было все время интересно. Вероятно, в этом же роде будет передача о Горьком на 90-летие, через несколько месяцев.

Вечером были все (7! Капиц 7!), кроме П. Л., который углублен в работу и ничего не видит и не слышит — работает на даче. Эренбург хорошо назвал Толстого: «мост от классической русской литературы к советской» и вскользь сказал об окрестностях литературы, где и интриги, и не очень хорошие мысли и поступки, но это только окрестности.

Уланова была удивительна, шарм непревзойденный, и очень красива на сцене, а в жизни маленькая замухрышка. Я раньше не видела Моисеевского ансамбля, очень много выдумки. Вечер очень удался. Зал Чайковского был полон до отказа.

11 января. Сегодня передали по радио, что американская трансконтинентальная ракета наконец полетела. Это для них будет козырь, чтобы опять грозиться и не заводить переговоров. Мы слишком активны, они — в хвосте, не знают, как ответить, и поэтому одно — нет. И всё.

Активность наших восхищает, такой внешней политики не было не только давно — никогда.

24 июня. Звонила адмиралу Исакову о надписи на бюстах А. Н. Крылова. Он страшно серьезно отнесся — исторически захмурил мне голову и просил неделю отсрочки. Беда!

Надпись на бюсте в парке культуры. Что-то в этом роде:

Академик А. Н. Крылов. 1863–1945. Математик, механик, физик и кораблестроитель. Основоположник теории остойчивости и плавучести судна

Исаков хочет, чтобы еще была подчеркнута его военная деятельность, практическая, а не только теоретическая, научная. Одним словом, позвонила ему — и заварилась каша. Приседала и всячески ему была благодарна. Позвоню через неделю.

«Очень без Вас скучно…» *(Публикация Е. Капицы.)*

Переписка с Валентиной Михайловной Ходасевич

В последние годы жизни Анна Алексеевна составляла своеобразную картотеку на корреспондентов и «персонажей» их общего с Петром Леонидовичем архива. На маленьких карточках, буквально в двух словах, она записывала свое отношение к тому или иному человеку, отмечала его место в их жизни. Вот что написано про Валентину Михайловну Ходасевич: «Художница. Большой наш друг, часто у нас жила на даче, замечательный человек — талантливая художница, острого ума рассказчица с поразительной художественной памятью. П. Л. очень ее ценил и любил. Очень своеобразный и темпераментный характер. Исключительный человек».

В. М. Ходасевич родилась в Москве в 1894 году. Ее отец был известным юристом и собирателем картин и других произведений искусства, преимущественно старинных. В начале 1900-х его дочь стала посещать воскресные классы в Строгановском училище и студию Ф. И. Рерберга. В 1910–1911 годах учится в Мюнхене в студии Г. Хаберманна, в 1911–1912 годах посещает частные студии в Париже.

В 1912 году В. М. Ходасевич работает совместно с группой молодых художников в студии на Остоженке в Москве и начинает участвовать в различных художественных выставках в Петербурге и Москве. В 1913 году она выходит замуж за художника А. Дидерихса и переезжает в Петербург. В 1916 году знакомится с Максимом Горьким, которому очень понравилось одно ее полотно на выставке и он хотел приобрести эту картину.

Валентина Михайловна участвует в оформлении кафе «Питтореск» в Москве. Пишет портрет А. М. Горького (ныне в Пушкинском доме в Петербурге). Дебютирует в театре — оформляет спектакль «Дерево превращений» по пьесе Н. Гумилева в петроградском Театре-студии. Начинает работать с режиссером С. Радловым в Театре народной комедии. В 1920 году оформляет массовое театрализованное зрелище «Блокада России».

В 1922 году по приглашению Горького Валентина Михайловна полгода живет и работает в Германии, под Берлином. В 1924-м вместе с мужем едет по командировке Внешторга в Лондон и Париж, затем до осени 1925-го живет у Горького в Сорренто. Во время пребывания в Италии оформляет

спектакли в Милане и в Риме.

Она становится театральным художником, оформляет декорации к большому количеству спектаклей, а в 1932-м становится и главным художником Мариинском театра. В 1934 году в Ленинграде в Доме театральных работников проходит персональная выставка В. М. Ходасевич…

Война, эвакуация. Сначала она вместе с Мариинским театром работает в Перми, затем в Ташкенте. В 1943–1945 гг. Валентина Михайловна работает в Москве, потом несколько лет в Ленинграде, а затем снова в Москве. За время работы в театре с 1919 по 1957 год Валентина Михайловна оформила около 150 спектаклей.

Они познакомились в последние годы опалы Капицы. «[Я] дружила с семьей Вс. Иванова, у них и гостила, жила в Барвихе на даче Екатерины Павловны Пешковой, — рассказывает Валентина Михайловна в своей книге „Портреты словами“[152]. — И тут, и там бывали Петр Леонидович и Анна Алексеевна Капицы. Мы долго присматривались друг к другу, очевидно, обоюдно понравились, я их очень полюбила, и вот с того времени и до сих пор они стала главными в моей жизни (я дважды, а может быть, и гораздо больше, обязана им тем, что все еще жива)».

После смерти В. М. Ходасевич остался ее большой художественный и литературный архив, и Анна Алексеевна положила много сил, чтобы привести его в порядок. Особенно важным она считала организацию посмертной выставки Валентины Михайловны и издание книги ее воспоминаний, над которой та работала долгие годы. При разборе архива Валентины Михайловны Анна Алексеевна обнаружила и свои письма, и, как истинный архивист (она много десятилетий разбирала, приводила в порядок архив Петра Леонидовича), она забрала пачку своих писем.

Прочитанные вместе с письмами Ходасевич, адресованными Анне Алексеевне, они воссоздают достаточно объемно их дружбу за многие годы. Эти письма, лучше всяких других слов, доносят до нас ту нежную привязанность, большое взаимное уважение и любовь, которые питали другу к другу эти две замечательные женщины.

Анна Алексеевна — Валентине Михайловне

«8 декабря 1952 г., Москва.
Милая Валентина Михайловна,

Посылаю Вам обещанную книгу Герасимова[153]. Почитайте ее, это очень занимательная штука — восстановление лица по

черепу.

Привет,

А. Капица»

«19 апреля 1957 г., Москва

Дорогая Валентина Михайловна,

Поправляйтесь скорее, право, без Вас очень ску-у-учно, и мы так давно Вас не видали. Спасибо за красивейший кофейник — это нечто совсем невиданное и теперь будет воздвигаться на наш стол после обеда.

У нас наконец вернулся Андрей[154], в очень хорошем виде, масса впечатлений и, мне кажется, воспоминаний о какой-то совсем неземной жизни. Их дразнят, что они все в „пингвинячьем состоянии“ и не могут привыкнуть к нашей сутолоке и суете. Да еще, вдобавок, больше года жили при полном коммунизме, не зная ни денег, ни забот, одни труды. Привез массу фотографий, которые сейчас проявляются, очень много материалов для диссертации, так что работы по горло. Мы их ездили встречать в Ригу, а П. Л. и Сережа даже вышли им навстречу на ледоколе, вот когда Андрей был удивлен.

Мы сейчас очень много бываем на даче, но очень обидно, что никакой весны, если бы не грачи и жаворонки, которые, не обращая внимания ни на что, заливаются вовсю, то вообще о весне не было бы разговоров.

Сейчас все помешались на балете на льду, но мы избежали этого поветрия, и я, кажется, не очень жалею. Лампочки под юбками наших москвичей свели с ума. Что-то будет с фестивалем[155], уже сейчас рассказывают всяческие небылицы, кого будут пускать, кого будут выдворять. Во что будет превращена Москва? Ничего, нашим москвичам полезно подтянуться, правда, мы больше всего любим потемкинские деревни, но все же надо будет всю молодежь накормить и уложить. Да к тому же молодежь бурная от природы, а тут еще молодежь всего мира…»

«5 мая 1958 г., Прага

…Как жаль, что Вы так далеко от нас, у нас так много разнообразных впечатлений, все было так интересно, необычно и так много готики, барокко, святых, замков, чего, чего только не было. От барокко у меня уже совершенно закружилась голова. Чехи в 17–18 веках покрыли всю страну ангелами и святыми, насажали их всюду. В одном городе ангелы сидят на заборе, свесив ноги на улицу. В соборе Св. Витта есть фреска 20–30 гг. 20 века — коленопреклоненные 4 господина в костюмах с

галстуками — это сыновья какого-то фабриканта устроили часовню в честь отца! В том же соборе (в центре Старой Праги) витражи из современного стекла — правда, изумительного стекла, как драгоценные камни. Поражаешься на каждом шагу — вся старина в Праге живая, везде живут, все соборы, дворцы, дома продолжают свою обычную жизнь, и поэтому, начиная с готики, собор или дома могут в себя впитывать все последующие стили. Масса скульптуры и хорошей, и дурной, и всякой. Богатство Праги и оглушает, и восхищает. Мы только жалели, что весна опоздала на месяц и мы не видали ее в цвету, что уже совсем невиданно прекрасно. Но памятник Сталину… Нет слов описать — это только можно рассказать.

Впечатлений масса от поездки еще и потому, что мы пользовались машиной и наездили 3 500 километров по северу Чехии, по пограничной области с Германией. Очень интересно. Вся история прошла перед глазами — от средневековых замков на вершинах холмов до пустых домов на дороге, оставленных выселенными немцами. Рассказов очень много, жаль, что не умею, как Вы, выражать свои мысли на бумаге. А нужно было бы все описать. Мы все же научились видеть за последние 40 лет, наблюдать. Может быть, и с ошибками, но в то же время со своими собственными выводами.

Какая там резная готическая скульптура и живопись! У чехов она сильно отличается от германской приблизительно до 15 века, когда начинает чувствоваться уже влияние Севера. <…>

Ивановы укатили „кругом Европы“. Была масса волнений, одна за другой страны отказывали нашим туристам в визах — Турция, Греция и, наконец, Италия. Тут все пришли в уныние, и вдруг — о радость! — они получили разрешение в Египет! Всеволод Вячеславович в восторге (это, вероятно, почти Индия). Тамара Владимировна в недоумении, но жалеет об Италии. Кроме того, много дней в Париже и Брюсселе. <…>

Я очень жалею, что пропустила выставку Рериха. Москва бегала и восторгалась. Ну, „необъятного не объять“.

Когда Вы вернетесь? Очень скучно, хочется знать Ваше мнение о всем, что видели и слышали. Я рада, что Вы начали воспоминания, ой, как это интересно.

Целую Вас крепко и радуюсь, что Вы на юге. Здесь весна еще даже не предвидится…»

«14 мая 1958 г., Москва

Дорогой спутник по выставкам, до чего же мне Вас не хватает!

Я вчера была на выставке Рериха. Она не закрывается —

слишком большой интерес. Много молодежи. Много стариков. Но если бы я могла Вам найти слова, чтобы рассказать свои впечатления. Надо совсем забыть, каким был Рерих, которого мы все хорошо знаем. Это совсем другой художник. Вероятно, больше всех ему созвучен Кент. Но какие у Рериха горы! Гималаи так портретно переданы, что у меня впечатление, что я их видела своими глазами. Ой, как он хорошо знает, что в пейзаже лишнее, чего не надо писать, что необходимо. Но если бы можно было Вам рассказать о красках. Есть некоторая плакатность (как у Кента), потому что предельно лаконично. Краски настолько смело лежат, прямо такие ярчайшие. Ярко-желтый хром рядом с лиловым, фиолетовым. Так сияет вся живопись, что просто не поймешь, что произошло. И просто — до предела. Серия маленьких портретов Гималаев; большие полотна, одно такое сияющее, что вы его видите первым, а потом все время возвращаетесь к нему. Одна картина с фигурой какого-то „снежного человека“, сидящего на первом плане в созерцательной позе, кругом снег, а на заднем плане уходящие бесчисленные хребты Гималаев, все синее, пока последний не исчезает в тумане. Это одна из самых впечатляющих картин. Ну, да всего не перечтешь. Огни на Ганге, необыкновенно поэтично, в темноте фигуры склоняются к воде, а по реке плывут зажженные плошки! Закаты в горах. Ярко-оранжевая гора. Ярко-желтое, зеленое небо. Какое-то фиолетово-серое, и если он хочет, то горят звезды. Но самое удивительное — это предельная лаконичность и простота. Мне ужасно Вас не хватало. Вы бы увидали во столько больше меня. Ой, как жаль. Но, кажется, это все останется у нас.

Конечно, Рерих знал что-то такое о горах, что никто не знает. Там надо быть, вероятно, буддистом и впитать в себя все величие Гималаев. Конечно, есть люди, которые кричат, что это цветная фотография, что это плакат. Но до чего же это хорошо, и как бы хотелось иметь у себя дома. Как надо хорошо знать горы, чтобы их так чудесно видеть и уметь передать. Там висит портрет Рериха (написан сыном), он красивый старик, благообразный в старости, с бородой, [в] каком-то строгом халате, на фоне окна и гор. Вот Вам и пейзажист! Что тут скажешь.

Ну, все равно не умею Вам рассказать. Может быть, мы с Вами сумеем увидеть эти вещи, ведь будут же они где-то лежать.

Сейчас идет у архитекторов дискуссия о Дворце Советов. Старику Коненкову заказали (отдельно) памятник Ленину. Я не видала, но мне говорили, что Ленин стоит на вертящемся (золотом?) шаре. Старик считает, что Ленин должен быть всегда лицом к солнцу. Большая парадная лестница ведет к памятнику, и она украшена всеми великими сынами России. Есть и старик — в

лучших традициях старой живописи. Но все довольно страшновато. Фигур очень много, несколько десятков. Старик ведь может быть совершенно заумным.

Я была так поражена Вашим звонком из Ялты, что не смогла даже Вам толком сказать, как это нас с П. Л. тронуло. П. Л. сразу сказал, услышав слово „Ялта“, что это Вы!

Отдыхайте хорошенько. У нас все еще холод, ветер, весна никак не утвердится, хотя уже появляются листочки, но что же им делать? Птицы в недоумении, садиться на яйца или еще ждать. Соловей только начинает петь, все очень запоздало…»

Валентина Михайловна — Анне Алексеевне

«7 июня 1958 г., Никитский сад (Эдем)

Дорогая Анна Алексеевна, Вы перестали мне писать, и мне стало неуютно. Мы остались здесь еще до 12–14 июня. Сведения о московской погоде нас не прельщают. К сожалению, и здесь вот уже третий день похолодание (15–17 гр.), туман с моря заволакивает все (никакой видимости!), сыро, тускло, и я бы сказала, что во мне начал зарождаться легкий пессимизм. Правда, поспевает клубника и черешня, и можно отыгрываться на чревоугодии. Езжу в Ялту на рынок и проедаю беззастенчиво свои нетрудовые гроши…

Конечно, завидую тем, кто слышал концерт Ван Клиберна, услышит Стоковского и увидит французский балет. Балет, может, и я еще успею посмотреть. Волнуюсь за наших в Париже. Там такие ужасные события![156] <…>

Сейчас здесь происходит какая-то розовая вакханалия всех цветов (уточняю: розы всех цветов). Есть кусты, на которых по несколько сот штук, и одновременно разного цвета и формы (привиты). Я бы сказала, что это даже уже [и] не красиво. Embarras de richesse[157] всегда плохо!

Как убедительно говорят стихи Пабло Неруды о том, как жалок и убог абстракционизм:

Я знал художника из Никарагуа.
Там стремительны деревья и цветы свои
Выбрасывают как зеленые вулканы.
Потоки топят встречные потоки,
Несущие лавину мотыльков.
А тюрьмы стонами и ранами полны.
Художник тот в Париж приехал
И точки цвета бледной охры написал

На белом, белом, белом полотне
И в раму осторожно вставил.

И мне принес. И стало мне так грустно.
Ведь за спиною человека с точкой
Льет слезы Никарагуа, но никто не слышит.
И боль, и кровь, и мертвых Никарагуа
В тропическом лесу без слов хоронит…

Думаю, что это не очень хороший перевод, но все же здорово. Как-то просто, честно и откровенно. Мне бы хотелось сейчас вновь начать учиться, но уже нет времени до чего-либо верного добраться, да и стыдно как-то…

Но только не передвижничество!!!

Только сейчас начинается съезд курортников. Ежедневно все больше экскурсий в Никитском саду. А было так дивно тихо!

Так как к морю от меня спускаться 30–35 минут, а подыматься час, да и задыхаюсь очень, то я часто спускаюсь, сажусь внизу на катер и плыву в Ялту (35 мин.), а оттуда на автобусе обратно домой (38 мин.).

Вот какие можно себе позволить развлечения, когда ни черта не делаешь и от тебя ничего не зависит.

И все же в этом есть что-то противное…»

Анна Алексеевна — Валентине Михайловне

«8 июня 1958 г., Москва

…У нас на даче Ефанов пишет портрет П. Л. Мне ужасно хочется знать Ваше мнение. При ближайшем знакомстве он очень милый и скромный человек. Влюблен в свою работу и работает как только может много. П. Л. так тронут его отношением к искусству, что он ему много позирует. Портрет очень своеобразный и живописный — с собачкой. Вы писали, что хотели бы снова учиться. Вот я то же самое слышала и от Ефанова, который говорит, что с портретом Курилки он многое понял, пережил для себя. Мне кажется, что портрет выйдет…»

«14 мая 1959 г., Высокие Татры

Дорогая Валентина Михайловна, как тут хорошо! Чудный воздух, горы, лес, простор и мало людей — не сезон. П. Л. хорошо отдыхает, и пока я еще не стучу, но это где-то маячит, он обещал что-то написать для Праги. Прага сейчас обаятельна, вся в цвету. Если Вы эту открытку повернете боком, то горы превратятся в профиль — вот надо же придумать. П. Л. шлет привет, он все меня попрекал, что Вам не пишу (!). Целуем.

Ваши *Капицы»*

Валентина Михайловна — Анне Алексеевне

«26 июня 1959 г., Сигулда

Дорогая Анна Алексеевна,

Мне тут хорошо, хотя пока для обозревания „красот“ нет сил. Уехала из Москвы с давлением 220 и отвратным самочувствием. В Ленинграде никого не хотелось видеть. Здесь лежала и спала. Сейчас мне много лучше. Хорошая комната. На днях приедет из Ленинграда моя давнишняя знакомая и будет жить со мной, чему я рада. Друзья, с которыми я приехала сюда, трогательно внимательны ко мне. Все хорошо!

Крепко Вас целую, приветствую Петра Леонидовича сердечно…»

Анна Алексеевна — Валентине Михайловне

«13 июля 1959 г., Москва

…Получила Ваших два письма, до сих пор не отвечала по двум причинам, сначала была в Свердловске[158], потом болела воспалением легких! Да, да именно вроде Вас, но Вы это делаете зимой, а я вздумала летом. Кругом виновата сама, в Свердловск поехала кашляя, а там, как дура, на 2 часа залезла в Кунгурскую ледяную пещеру, тут-то микробы и улучили минуту, когда я зазевалась. Мы поэтому не справляли 9-го [июля] семейный праздник, только всем послали привет. <…> Мы из Свердловска привезли Всеволоду [Иванову] камни, нам там подарили вместе с кусочками малахита. Мы с Всеволодом как маленькие ссорились из-за кусочков, а Тамара (жена В. Иванова — *Е. К.*) басом увещевала Всеволода: „Отдай сейчас же Анне Алексеевне кусок малахита“. Всеволод кричал: „Не подумаю, это мой кусок“, а я требовала „свой“ кусочек. Всё уладилось, и мы все поделили.

Я окончательно обескультурилась, никуда не хожу, болею и жду, когда отпустят на волю.

Да, когда мы были у Ек. П. [Пешковой], то туда пришли каторжане — в пижамах из Барвихи — Маршак и Чуковский. Ивановы привезли Ираклия [Андроникова]. Все были „добры“ с Фединым. Приехал очень почтительный министр с министершей. Ираклий гениально приветствовал Федина от имени Суркова — просто феерически. Было очень жаль, что не было Вас».

«27 июля 1959 г., Москва

… Были мы на американской выставке и очень огорчились — совсем не интересно и все то же самое, что на чешской, немецкой

или какой другой. Выставляют фирмы, которые сумели обойти свое правительство и получить сюда доступ. Очень много фотографий, что всегда утомительно и скучно. Павильоны очень милы, но и только. Много книг, но их тоже не прочтешь за 1 час. В общем, смесь частных интересов и фирм с государственной пропагандой, и это получается плохо. Но интерес к ней большой, правда, у многих то же чувство, что у меня.

Вот чешское стекло будет, вероятно, великолепно, но не знаю, увижу ли я его. Мы числа 15 августа собираемся в Чехословакию с Сережей и Таней на нашей машине. <…>

Когда же я Вас увижу. Без Вас скучно и, главное, интеллект засыпает и все чувства притупляются…»

Валентина Михайловна — Анне Алексеевне

«22 июля 1959 г., Сигулда

Анна Алексеевна, дорогая!

Не успела я вернуться домой с почты, куда носила мое письмо к Вам, как приехала на велосипеде миленькая почтальонша и привезла мне Ваше письмо. Мои сомнения рассеялись, Вы ко мне „относитесь“[159] (так говорил один мой знакомый), но я огорчилась, что Вы, наша краса и гордость (и мороз Вас не брал зимой!), не устояли перед воспалением легких. Бедняжка! С непривычки к болезням Вам, наверное, особенно тяжело было. Я помню, как Вы в зимние вьюги прикрывали меня и Ваш „Гоголь женский“ противостоял ветру. Кто же будет теперь прикрывать нас обеих в зимнюю непогоду, когда мы будем совершать наши культурно-просветительные экскурсии? Тут уж на двоих нужен хотя бы один „Гоголь мужской“!

Сейчас хозяйка наша позвала меня смотреть по телевизору „Судьбу человека“, картина Бондарчука. Я поглядела немного, но сбежала. Что-то последнее время я стала чувствительной не в меру, и мне трудно смотреть человеческие страдания, да еще так выпукло показанные. Все же, конечно, долой натурализм! А ночью все эти ужасы снятся в увеличенных размерах.

Начинаю привыкать к жизни в Сигулде и даже открываю все больше радостей тихих и прелестей в здешнем пейзаже и жизни. Боюсь только, как бы меня окончательно не закабалили лень созерцания и ничегонеделания.

Читаю довольно много. В журнале „Театр“ с 5-го номера 1958 г. печатаются воспоминания Игоря Ильинского — интересно.

Скоро в Манеже откроется выставка чешского стекла, и я уже заранее ревную Вас к тому, с кем Вы пойдете. Интересно, сколько

и чего Вы там „купите“.

Тамара пишет, что, по ее соображениям, Тимоша [Н. А. Пешкова] опять объединилась с В. Ф. Если это так, то у меня не найдется аргументов, чтобы ее оправдать и мне трудно будет общаться с ней даже без В. Ф. Так постепенно обрываются нити, связывающие меня с „семьей Горького“. Недаром мне было так грустно, когда я перед отъездом пошла на Никитской в комнаты Алексея Максимовича и просидела там час, вспоминая все прошедшее, связанное с А. М. <…>

Когда Вы думаете ехать в Чехословакию?..»

Анна Алексеевна — Валентине Михайловне

«25 августа 1959 г., Татранска Ломница

Мы добрались до обожаемых Татр! Ехали через Варшаву, это странный город, еще весь с остатками разрушений, восстановлено главным образом все старое: Старое Място, Университет, и сделано это совсем поразительно, мастера удивительные. Теперь решено строить больше жилых домов, а то варшавянам просто негде жить. Парки прелестны, но весь город оставляет какое-то грустное впечатление. Потом попали в Ченстохова, вот это совсем необыкновенно. Хотя был самый простой будний день — масса народу, все ходят и молятся, а перед собором громадная площадь, где, как на ярмарке, продается всякая святая всячина, я купила лубочную картинку и свистульку. Вот это предприятие громадное, монахи, ксендзы, всюду надписи, где мыть руки, где ноги! Кругом монастыря и собора чудесная терраса со „Страстями Господними“, где все преклоняют колени и молятся. Мы просто остолбенели, после Италии и Франции я нигде такого не видела.

А Польша вся единоличная, с нашей восточной стороны довольно бедная, а дальше на запад и юг около Кракова богатые хутора, каменные домики и всюду полоски, полоски и люди пашут на лошадях. <…> Следующей нашей остановкой был Освенцим. Это такая страшная картина, о которой даже нельзя написать. Все, что мы знаем об ужасах немецких лагерей, не дает даже отдаленного представления — это организованное методическое убийство, когда уже ничего человеческого не остается в людях. Все самые страшные людские пороки освобождены и поощряются. П. Л. не смог все это видеть и ушел нас ждать в машину.

Вечером мы были в Кракове, чудесный цветущий, целехонький великолепный город, масса энергичных женщин, магазины переполнены прекрасными вещами, но цены!! Наутро мы нашли одного знакомого поляка-физика[160], директора

физического института. Он нас сначала водил по своему институту, а потом по старому Университету, где все так, как было 300 лет тому назад, все традиции сохраняются, все убранство тоже. Под конец пришли в лабораторию алхимика, где работал Фауст. Над камином висят всякие чудища, вроде мумии кошки, черепахи, какие-то реторты, колбы, изображение алхимических формул и не поймешь что. В эту лабораторию к Фаусту приходил Мефистофель и, уходя, притворил за собой дверь, и рука его прожгла дерево, и до сих пор видна вся ладонь. Вот видите, какие мы места посещаем. К сожалению, Вавельский замок был закрыт, и мы были только в соборе, на могилах королей, у Пилсудского лежат цветы. Правда, мы несколько успокоились, увидав, что и у Мицкевича и Словацкого тоже цветы. Скажу Вам по секрету, что алтарь в Кракове мне понравился меньше, чем в словацком городе Левоче, где он сделан учеником мастера Вита Ствоши и где весь собор чистейшей готики, без барокко, которое мне порядком приелось. Но весь Краков обаятелен, до того там много маленьких трогательных деталей, и ворота, и наличники, какие-то зверушки на домах, своды окон. В довершение всего, нам сказали, что в Кракове 40 действующих монастырей, семинарий и пр., и пр.

От Кракова до Татр совсем близко, по дороге заехали к нашим польским друзьям, оказалось, что они только что построили крошечный горный домик около Закопане, на той дороге, по которой мы ехали. Сейчас уже думаем о том, как поехать дальше в Прагу, это дней через 10, а пока отдыхаем от машины. Сейчас здесь всё полно туристами и все ходят в коротеньких трусиках — все, всё равно [какой] пол, возраст, седые или черные волосы. Мы в юбках и брюках прямо белые вороны. Это очень занимательно и весело, как-то просто и быстро привыкаешь, и кажется, что так и нужно. Очень хочется Вас видеть и жаль, что Вас нет, чтобы вместе посмотреть на диковинки и посмеяться. Как Вы там живете?..»

«19 сентября 1959 г., Прага

…Вчера приехали в Прагу и 23-го едем домой. Так что числа 28. IX будем в Москве. <…> Как и где Вы? Очень соскучилась без наших веселых встреч. Хочется просвещаться вместе. Мы объехали всю страну, видали уйму людей и вещей. Я Вам писала письмо на Москву, получили его? Все шлют привет, особенно П. Л…»

«27 апреля 1960 г., Москва

…Я совсем не повышаю свой культурный уровень, хотя читаю

американские романы. Один очень длинный, очень интересный, но с анатомическими подробностями sex'а, вполне натуралистическими. Это серьезный автор и серьезный роман, психологический к тому же. Придется Вам его почитать, я его получила от одной знакомой американки.

На выставке не была, я не хочу расстраиваться одна, это очень скучно и грустно. Лучше поеду посмотрю в Бухаресте Ван Эйка и Эль Греко! Мы будем проезжать церкви в Сев. Румынии, все расписанные фресками снаружи. Очень хочется все это видеть. Жаль, что без Вас, а так бы было интересно вместе. Я обложилась путеводителями, картами, словарями и пр., и пр. И мне кажется, я уже всюду была. В Болгарии очень хочется увидеть живопись 9 в. до Р.Х. в могильниках около Казанлыка[161]. Но туда пускают только избранных, я очень надеюсь, что мы попадем в их число. Живопись так деликатна, что боится воздуха и людей…»

«10 мая 1960 г., Румыния, г. Синая

… Вот мы доехали почти до Бухареста, а через 2 дня будем в Болгарии. Едем очень интересно, страна необыкновенно живописная, народ приветливый и непосредственный, говорит только по-румынски, поэтому много смешного. Разговариваем с разговорником. Вот только погода нас не балует. В Карпатах, куда мы забрались по серпантину, был дождь, а потом пошел снег. Наконец здесь, в Синае, светит солнце и, кажется, будет тепло. Ехать очень интересно. Мы были в таких местах, куда немногие приезжают, даже лошади пугаются! А их здесь несчетное количество. Очень живописны деревни, многие в нац. костюмах, на воротах чудесная резьба, очень красочно. В Молдавии — избы всех цветов.

Все шлют привет. Целую…»

«14 мая 1960 г., София

Дорогая Валентина Михайловна,

Мы в Болгарии. Сейчас уже в Софии. Но видели этот чудесный город, тот, который посылаю Вам. (На обороте открытки фото Тырнова с р. Янтра. — *Е. К.*). Видала в Казанлыке древнюю гробницу с росписью — очень красиво и вполне изумительно! Были на Шипке, где все усеяно русскими костями. Куда только русских не заносило…»

Валентина Михайловна — Анне Алексеевне

«3 июля 1960 г., Ленинград

Анна Алексеевна, дорогая!

Каждый день помню о Вас, потому что давно я ни к кому не питала таких хороших чувств, как к Вам, да и всей Вашей семье… Пусть это Вас не тяготит и не связывает. Может, я и не должна была бы быть столь откровенной, но не надо воспринимать это как назойливость.

Ленинград красив несказанно вечерами и ночью. Днем или слишком жарко, или льет дождь. Занимаюсь альтруизмом и устала, но не без пользы. Воскресить мертвых я, конечно, не пыталась, но живым помогла успокоиться.

В музеях внутри не была (ведь весь город — музей), почему-то не хочется. Стыдно, конечно, может, пойду еще. Была в Пушкине у Тани [Вечесловой] несколько раз. Ходили в парк и в Екатерининский дворец, в нем восстановлено несколько зал (или залов?) и весь фасад со стороны парка. Как-то и приятно, и грустно. <…> Мечтаю 9-го попасть к Вам[162] — но как? Я „безлошадная крестьянка“. Может, Вы меня кому-нибудь подсунете?

Крепко Вас целую в фаюмский портретик[163]…»

Анна Алексеевна — Валентине Михайловне

«12 декабря 1960 г., Москва

…Очень без вас скучно, когда вы опять будете с нами? Тут в продолжение 10 дней мы были в окружении американцев с Пагуошской конференции. П. Л. с ними заседал и беседовал. А я развлекала дам и кормила делегатов обедами, ужинами и т. д., так как П. Л. постоянно их приводил домой. Я до того доамериканилась, что мой английский стал с американским акцентом.

Дамы были очень забавные, некоторые хорошо говорили по-русски, потому что родились здесь. Другие рассказывали мне, как все знакомые и незнакомые в Америке, узнавая, что они едут в Москву, приходили в ужас, считая, что это безумно опасно для жизни, что надо думать о детях и не ездить в такие опасные места! Другие говорили, как в первое время они думали, что у нас на улице с ними могут быть грубы, узнав, что они американцы могут быть неприятности, и как постепенно с каждым днем они все больше и больше удивлялись, что ничего не происходит и, очевидно, это все выдумки.

Один вечер в Академии был не совсем обычный. Все началось чопорно и торжественно, но понемногу народ веселел, оказалось, что один из американских делегатов привез с собой аккордеон, который он принес в Академию. На удивление чопорных

академиков, этот американец снял пиджак и начал играть. Все развеселились, начались песни, танцы, даже китайцы начали водить хоровод с американцами! Но все же это все показалось неприличным, и около 11 часов начали тушить свет. Если бы нас всех не вытурили, то веселье продолжалось бы до утра. П. Л. заметил, что, вероятно, со времени Ломоносова ничего подобного в Академии не было…»

«18 апреля 1961 г., Высокие Татры

…Вот мы опять гуляем по нашей милой Чехословакии, солнечно, как-то не жарко, хорошо ходить ногами по горам. Мы, конечно, страшно радовались и удивлялись полету Гагарина, теперь уже Луна совсем доступна. Но тут же начались неприятности на Кубе. Для чего людям драться, когда можно так хорошо занять свое время и свою энергию.

Перед поездкой сюда я получила письмо из Ленинграда о Кижах. Это все возможно, и даже очень просто. Пароход отходит из Ленинграда в понедельник и возвращается в субботу. Он довольно комфортабельный и останавливается в разных интересных местах, в Кижах и на Валааме. Так что готовьтесь. <…> Привет от П. Л. Целую Вас…»

Валентина Михайловна — Анне Алексеевне

«1 апреля 1962 г., Москва

Дорогой Фаюмчик!

Очень без Вас пустынно в Москве (вернее, в моей душе, т. к. Москву я так еще и не видела, да и не хочу) и как-то ненадежно. Вот видите, как Вы меня развратили и избаловали Вашим вниманием!

…Последние дни мело снег, и он на ходу таял, туманы, тьма и гадость. Вот сегодня проглянуло солнце, и я вылезла на улицу. Запах воздуха — понравился, хоть он и попахивал бензином. Голубей что-то осталось мало — их, говорят, ликвидируют из-за заразы какой-то, которую они распространяют.

Вот Грэм Грин в романе „Суть дела“ говорит: „Истина никогда, по существу, не приносит добра человеку — это идеал, к которому стремятся математики и философы. В человеческих отношениях доброта и ложь дороже тысячи истин“.

Читаю сейчас Стефана Цвейга — „Бальзак“. Не нравится, т. к. Цвейг вскрывает истины, о которых я бы не хотела знать. Может, он завидует Бальзаку? Правда, я прочла еще только 1/3 книги.

В „Известиях“ прочла (к вопросу о хорошем вкусе): „В одном уральском городе в ходу аспидно-черная шаль с золотым

полумесяцем и надписью — „уж полночь близится, а Германна все нет““. Это страшнее голубых кошек! И вот еще прелесть из „Лит. Газеты“: „В. Кондратов написал книгу, тираж 25 000 экз. Костромское изд. Книга называется „Грамматические загадки““. И вот из нее:

Радиус:
Возьми синоним слову весел,
прибавь к нему союз
и то, что вниз гусар повесил,
когда случился с ним конфуз.
Тогда размером стану я.
Найдешь в окружности меня.

Прелесть! Правда?

Позавчера, 28-го, в 9 утра мне позвонила Ек. Павл. [Пешкова]. И трагическим голосом, задыхаясь, сказала, что ей никак не удается *склеить свой дом.* Оказалось, что она говорила о дне рождения (28-го) Ал. Макс. и что ей не удалось устроить встречу даже самых близких — Тимоша на даче (В. Ф. довел ее до спазм мозга), дети „в каникулах“ в Барвихе, а Марфа и Дарья — как всегда, плевать хотели на дедушку, тем более что доходы с него кончились. Ек. Павл. все же поехала за цветами и к Кремл[евской] стене — их возложить. Бедняжка очень расстроена. (А мне опять стало противно писать воспоминания!)

Может, к Вашему возвращению буду уже „завлякательной“, и Вы меня позовете в гости и смотреть уточек, которые, наверное, уже тоже вернутся на Ваш прудик.

На веточках вишни (Ваших) расцвели 4 цветочка, очень чахлых, а потом все зелененькие завязи начали осыпаться — пришлось выбросить, хоть и грустно было.

„Спартак“ все еще не шел. У меня все же время от времени начинают прорезаться желания…»

«2 апреля 1962 г., Москва

… Вот уже 10 дней, как Вы улетели, и надеюсь, что уже освоили павлинов и много других красот. А здесь у нас?

— Ежедневно дождь и туман. Я, делая пхе! на все это, зажигаю электричество и не смотрю в окна — единственный способ, чтобы не прийти в окончательное уныние или вновь не заболеть. Все знакомые болеют, даже самые здоровенные. Все же за последние 2 дня были радости: 1. Статья в „Известия“ от 31 марта — „Мужество таланта“, подписанная ленинградскими народными балеринами из Кировского театра. Это разоблачение

в очень вежливой форме всех гадостей Сергеева и Дудинской. Очень было приятно читать.

Сейчас звонила Галя Уланова и пригласила на 4-е на „Спартака“. Очень жалею, что пойду не с Вами. Напишу Вам после спектакля…»

«7 апреля 1962 г., Москва

Дорогая Фаюмчик, Вы, вероятно, уже загорели и по цвету приблизились к золотистым фаюмским портретам. Да благословит Вас вечная природа, а я целую и скучаю без Вас очень, и нет у меня защиты и сочувствия от Тамариных „нет“!

Нехорошо, конечно, но я Вам изменила — обольстила меня Галя Уланова и ее чванный супруг, пригласив на премьеру „Спартака“, которая состоялась 4-го апреля в Большом. Все умучены Якобсоном, но все равно в спектакле много интересного, но ленинградский лучше и по исполнителям, и потому, что здесь внесли некоторые перетасовки, которые многое запутали, и спектакль окончательно стал не „Спартак“, а пир Красса. Плисецкая танцует Фригию, трагическую подругу Спартака, и это ей совсем не подходит, не получается, и она очень противная. Даже Лиля Юрьевна [Брик] это видит.

По-настоящему поражает танцем Васильев — он раб.

Публика замирает от эротики, но многие возмущаются, что нет танцев (не на пуантах!) и нет пачек. Эротика освещена во всю силу электроэнергии, отпущенной Большому. И даже мне иногда было неловко.

Оркестр перегромыхал, но все равно музыка хороша, и многое у Якобсона тоже. Глупо выглядел Н. Д. Волков, выходивший первым раскланиваться за чужое (Якобсона) либретто. Какой позор!

Очень хочу еще раз увидеть с Вами вместе этот спектакль. Якобсон при встрече изобразил небывалую любовь ко мне!?! В зал теперь напускают со всех сторон (дует! откуда, не понять) такой холод, что даже мужчины поднимают воротники. Думала, что простужусь, но, кажется, „пронесло“.

Сегодня по телевизору давали концерт Г. Вишневской, аккомпанировал на рояле ее супруг Ростропович. Это было феноменально прекрасно!..»

Анна Алексеевна — Валентине Михайловне

«10 апреля 1962 г., Крым, санаторий „Н. Ореанда“

Дорогой друг,

Спасибо за память, очень было приятно получить от Вас

письмо. Мы здесь ведем очень подвижную жизнь, шныряем то туда, то сюда. Уже были в Севастополе, там обегали весь город и даже забежали в Херсонес, где все надо себе вообразить, тогда интересно. Прелестное положение города на мысу около глубокой гавани. Ходят греки, мавры, скифы. Или, может быть, мавров и скифов в город не пускали, и они располагались под стенами Херсонеса. Но зато весь залив в цветных парусах.

Севастополь очень веселый южный городок, если бы не типовые дома 5-этажные, как везде в Москве, было бы совсем хорошо. Центр новый классический, а все склоны в маленьких беленьких домиках, все в садах. Диорама — дрянь, панорама — классическая.

Вчера мы были за Бахчисараем в Астрофизической обсерватории, смотрели гигантский телескоп (зеркало 2 м 60 см). Все место необыкновенно живописно, в самом центре Крымского плато — с одной стороны Чатырдаг, с другой — бухта Севастополя и, наконец, степи Симферополя. Все видно кругом, как на море. Стоят в зелени купола Обсерватории. Когда вошли туда, где большой телескоп, и нам показали, как все движется, а движется все, кроме пола, — стены, купол, сам телескоп, то казалось, что все стоит, а сама вертишься чуть ли не вверх ногами (вроде Гагарина!).

Когда вернемся, то обязательно пойдем на Спартака, очень хочется электроэротики. Здесь живут главным образом инвалиды, больные и пенсионеры, так что эротика очень сомнительного свойства. Хорошеньких девушек нет, только среди обслуживающего персонала.

Надо заметить, что Крым все же очень украинизировался. <…> Страшно подумать, как мы расправились с населением, нет ни одного татарина. Как это страшно… Бр-р-р.

Я очень рада, что увижу Вас на будущей неделе, а то уж очень давно мы нигде не были вместе и Вы не были у нас…»

«5 апреля 1963 г.[164]

Дорогая Валентина Михайловна!

Чудный друг мой, спасибо за ласковые слова. Вы знаете какие-то особенные комбинации слов, которые очень трогают.

Велите Тане за Вами заехать и приезжайте меня навестить, мне это не только можно, но очень нужно. Правда, в больницу приходить как-то не очень уютно, но меня обещают достаточно подлечить, чтобы мы могли с П. Л. поехать в Ореанду числа 29-го апреля. Все равно, где хромать и прыгать на одной ноге. А П. Л. надо отдохнуть. <…> В Крыму будет уже совсем хорошо в это время, и Вы еще будете в Ялте, так что это большое удовольствие,

которое маячит впереди. Я Вам, кажется, рассказывала о нашем одном английском друге, который, когда мы первый раз ехали с ним из Лондона в Ленинград на нашем пароходике, болел морской болезнью. А на мои сочувствия и сетования, что ему плохо, отвечал, что это первый раз с ним и он с интересом следит за новыми ощущениями. Я это запомнила на всю жизнь и стараюсь применять, когда нужно. Так вот, я первый раз в больнице, и все очень интересно. Я лежу в общей палате, так время скорее проходит, и оказывается, что так много разных вещей надо сделать и научиться лежа в постели, что у меня нет минуты свободной и о портретной живописи я еще не успела подумать. Целую очень, очень крепко, дорогой друг. П. Л. бывает каждый день!..»

«7 апреля 1963 г., Москва

Дорогая Валентина Михайловна, друг чудесный и так хорошо умеющий писать. Я, говоря стилем или словами Ираклия, готова сломать вторую ногу, чтобы продолжать получать от Вас письма! Очень надеюсь (и это вроде миража, который меня манит вперед и вперед за здоровую ногу), что в конце мая мы все же поедем в Ореанду! Так что пишите „больше и лучше“, чтобы можно было Вас умолить почитать[165]…

Сегодня я получила в подарок от английского приятеля антологию русской поэзии от „Слова о Полку…“ до Пастернака и других современных поэтов. Эта книга по-русски, с подстрочным английским. Очень интересная, там есть и Ваш дядя[166]. Почему наши писатели так самоуверенны, что считают возможным говорить о том, что их книги будут нас вести и воспитывать. Это все-таки нам лучше судить. Скромность не присуща Союзу Писателей, если от его лица на эту тему выступает Михалков…

Не заболели ли Вы? Я забеспокоилась, когда пришла сестра и передала Ваше поручение. Вы знаете, как я Вас люблю? И как мне необходимо повышать культурный уровень…»

«12 апреля 1963 г., Москва

Дорогая Валентина Михайловна,

Забыла спросить Ваш адрес в Ялте и пишу наобум. Ужасно хочется, чтобы у Вас была комната с балконом, на юг, было бы близко ходить даже до 18 этажа, одним словом, все было бы хорошо.

Дорогой мой друг, мне показалось, что у Вас был не очень спокойный взгляд, озабоченный вид. Но в Крыму все это должно пройти и все должно быть очень хорошо. Хорошо писаться, отдыхаться и все вообще, главное, дышаться свободно…

Нога ведет себя прилично. Во вторник будет ясно, как и что происходит в ней. Как только я научусь прыгать на одной ноге, мы поедем в Крым. После Вас пришли еще два физика! Чтобы теоретики были так внимательны — это просто поразительно. П. Л. немного простужен, поэтому не бывает у меня сейчас. В нашу палату положили еще молодую женщину на операцию аппендицита — она научный работник, и мы с ней занимаемся английским языком. Так что дел полно.

Отдыхайте всласть и набирайтесь сил…»

«17 апреля 1963 г., Москва

Дорогая Валентина Михайловна, вот вы и в Крыму!

Кончились все хлопоты, все волнения и неувязки. Вы должны сейчас уже дышать легко, пусть там будет очень хорошо дорогому литератору Ходасевич!

Я уже прыгаю на одной ноге, т. е. на трех, как хромой пес, но не с такой скоростью. Вчера прошла с костылями до двери и обратно и была мокрая, как мышь! Сегодня выхожу в свет — т. е. в коридор. Как только сменят гипс, так станет более ясно, что будет дальше. Если все хорошо, то не долго и допрыгать до Ореанды. Я предвкушаю, как хорошо лежать на балконе на солнце, смотреть на море и слушать веселые занимательные разговоры. <…> Так что впереди райское блаженство.

Сергей вернулся из Еревана, он там был на конференции. На первый день Пасхи он отправился в Эчмиадзин на службу с Католикосом. Говорит, что зрелище необычайное, смесь языческих обычаев с роскошью Византии. У порога храма наткнулся на старика, который резал белую курицу! В храме бурная толпа, шум, пенис, служба — всё вместе. Католикос в роскошных одеждах, с митрой, как у Папы Римского. Сергей с „чистыми“ попал из храма во дворец, где опять мрамор, ковры, роскошь восточная, на троне восседал Католикос. И тут он увидел Сарьяна и вместе с ним подошел под благословение! Кругом была шикарная, разодетая толпа, Сергей сейчас же приметил красивых девушек, которые разносили угощение на подносах! Он обожает такие этнографические показы! Вот вам и вторая половина 20 века в Советской Армении. Весь Ереван толпится у громадных шахматных досок. Волнение все возрастает с каждой победой Петросяна. Армянское радио говорит: на дороге к мировому господству у армян стоит один еврей!»

«23 апреля 1963 г., Москва

Дорогая Валентина Михайловна,

Ну вот, Вы уже и на месте! У нас +20 и солнце, а у Вас?

Сегодня воскресенье, и все мои на даче, вероятно, там уже прошел лед. Я очень люблю это время года. Мне кажется, когда начинает идти река, что это самое чудесное явление природы у нас. Как лед ломается, начинается движение, сначала гигантские льдины чуть трогаются. Через несколько часов льдины начинают крутиться и становятся как блюдца, совсем круглые, и вот тут они изумительно шуршат все время и без перерыва, только иногда что-то еще глухо трещит и лезет на берег. Обязательно на будущий год поедем в это время на дачу. Я обязуюсь ног не ломать. <…>

Сегодня объявили Ленинские премии. Корин, Маршак, Гамзатов — других не знаю. Векуа — это математик-грузин в Новосибирске, и Понтекорво — это итальянец, работающий в Дубне. Он очень симпатичный.

Будьте благополучны, ведите себя прилично. Я вдруг сообразила, что Вам можно писать как Тете Хо (вроде дяди Хо-Ши-Мина)…»

«27 апреля 1963 г., Москва.

…Завтра я выписываюсь — вот! Но этот ужасный тип П. Л. вчера заявил, что он не может покинуть Москву раньше 15-го! О, ужас! Это из-за общего собрания АН. Я в огорчении, но вряд ли смогу его уговорить. Всегда-то это собрание некстати, и всегда-то что-нибудь важнейшее на них решается. Вот беда, мне так хотелось вместе с Вами побыть в Крыму…

Почему Ваши писатели капризничают? Может быть, это модно и так полагается писателю, и пока Вы не научитесь так же себя вести, Вы не будете „литератором Хо“, а всего художником.

Здесь я провела 25 дней, полных наблюдений и в совсем новой обстановке, соседи были очень милые и не тяжело больные. Но пора домой, там совсем П. Л. загрустил, а я вернусь полная энергии и с костылями, тут со мной не поспорить.

Говорят, что Евтушенко поехал в Сибирь, это умно, подальше от начальства. Что-то еще будет на идеологическом пленуме? Ходят слухи, что Серов на Ленинском комитете получил 6 голосов „за“ из 100!

П. Л. был на Турандот и очень веселился, я пойду уже осенью, сейчас хромых не пускают.

А как писание, сколько страниц, что обдумано и что написано? П. Л. шлет Вам привет, он Вас очень любит.

…Дорогой друг, сейчас выяснилось, что меня хирурги наотрез отказались пустить в Крым. На Николину Гору — да, но не в Крым. Так что увидимся в Москве».

Валентина Михайловна — Анне Алексеевне

«29 апреля 1963 г., Ялта

Анна Алексеевна, друг мой!

Вы, наверное, уже дома и все самое неприятное с ногой уже позади. Говорила с Петром Леонидовичем по телефону и надеялась услышать и Ваш голос, но Вы еще были в больнице. Приятно было услышать бодро очень говорящего Magicien'a[167]. Он только что вернулся от Вас.

Очень, очень грустно, что Вы не приедете сюда. Узнав это, я сразу же решила закончить здесь путевку и ехать восвояси. Билет уже заказан. Поеду со Шкловскими и Кавериным. <…> Мы были с Кавериными у Ивановых в Ореанде. Был теплый солнечный день. Я там так „загулялась", вернее там меня загуляли, что 2 дня после чувствовала себя ужасно в смысле сердца. Вчера Ивановы приезжали сюда к нам. Тамара держалась „царицей". Всеволоду не давала рта раскрыть. Я ловила переглядывания и усмешки у Паустовских, Каверина, Шкловских, Степанова и Оксмана (мы все вместе пили чай). Мне было даже грустно это видеть. Ощущение у меня, что у нас с Тамарой обрываются последние ниточки, которые когда-то были канатами, крепко нас привязывающими друг к другу. И это грустно. А Всеволод, отчужденный от всего. По-моему, он очень неважно выглядит. Да, павлинов не видели, куда-то спрятались. Зато видели лебедей черных на пруду и двух белых около пруда. Они лежали в позах умирающих лебедей — Уланова и Плисецкая.

Приехали, взамен частично уехавших (это не значит, что части уехали), новые люди. Среди них опять же есть знакомые. Прелестная женщина — художница, сестра Луговского. Знаю ее еще с Ташкента, но „утеряли" друг друга. Доктор-гомеопат Тамара Абашидзе — с палочкой и очень, очень постаревшая. Басов ее называл Ашибадзе.

Паустовский мне вчера рассказал, что Рихтер построил себе около Тарусы дом в виде четырехэтажной башни — в каждом этаже 1 комната, вроде башен Сванетии или Сан-Джиминьано[168]. Будет здорово, если Дорлиак построит себе тоже башню — рядом!

Вот анекдот для Петра Леонидовича: сидят двое пьяных, один из них, плача, повторяет: „е… твою м…", второй тоже начинает плакать и говорит: „До чего же трогательно! Запиши слова!" <… >

Писатели пьют и не пишут (за исключением Паустовского и Каверина). Я не пью, но тоже не пишу».

Анна Алексеевна — Валентине Михайловне

«8 июня 1963 г., Николина Гора

Дорогая Валентина Михайловна, как у Вас? где Вы? Если в Поречье, то как там? Холодно? Комары? Или все более или менее хорошо?

Не знаю, знаете ли Вы, что Всеволоду было очень плохо и он опять в Кунцевской больнице. Говорят, что это был инсульт, у него дома не было движения в левой руке, но подробностей не знаю. Я звоню каждый день Тамаре. Она, конечно, проводит все дни с ним. Когда она бывает дома, то один из ребят — у Всеволода. <…> Очень это все печально, и очень их всех жаль. Все-таки, эта семья как-то очень нам близка.

Мне хотелось Вам все это написать, хотя и расстроит это Вас, но нельзя не знать, что с Ивановыми…»

Валентина Михайловна — Анне Алексеевне

«12 июня 1963 г., дом отдыха „Поречье“

Дорогая и друг мой! Жила я как-то неуютно и „себе в тягость“, хотя и в „Благодати“. Блага никакого пока не ощутила. Очень было холодно до сегодняшнего дня, доходило до 4-х градусов, да с ветрами и дождем. Конечно, „все равно красиво“, куда ни глянь, все березы да сочная зелень. <…> Может, когда станет тепло, то и сил появится больше. 20 раз в день твержу себе, что все очень полезно, и красота, и воздух, но пока чувствую себя все время усталой и какой-то раздраженной. Плохо сплю. Начала писать (почему-то о Шкловском), но без всякого пока увлечения. <…>

Как хорошо, что пришло от Вас письмо сегодня. Сразу уютнее мне стало на душе. <…>

Анна Алексеевна, миленькая, не пропадайте, а то я пропаду…»

Анна Алексеевна — Валентине Михайловне

«10 июля 1963 г., Николина Гора

Дорогая Валентина Михайловна,

Каждый раз, когда идет гроза, а грозы у нас идут только со стороны Звенигорода, я представляю Вас в „заячьем тулупчике“ за столом со свечой (!), пишущей воспоминания. Мне кажется, я даже вижу Вашу комнату и тень на стене.

Я была вчера в клинике, они очень довольны состоянием ноги, снимали гипс — но положили новый, более легкий, и

сказали, что, как только он высохнет, можно бросать костыли и ходить „как турист с тросточкой“, так что теперь я усиленно сушу ногу.

Вчера звонила очень грустная Тамара, поздравляла. Надежда тает с каждым днем. Мучительно жаль Всеволода, как-то совсем не вяжется с ним ни его болезнь, ни его муки, ни, тем более, его смерть. И надо же, чтобы все это напало именно на него.

На будущей неделе, как только освоюсь с ходьбой, поеду к Тамаре. Мне уже давно хочется ее видеть — она опять вся опухла. <…>

Пришлите план, как к Вам ехать, прошлогодний у меня где-то в городе.

Все шлют привет, а П. Л. спрашивает, когда Вы опять решитесь приехать…»

Валентина Михайловна — Анне Алексеевне

«22 июля 1963 г., дом отдыха „Поречье“

Дорогая! Друг мой! Анна Алексеевна!

Мало того, что я впала в окончательную бездарность (неделю уже и не пытаюсь писать), но впала уже и в ничтожество — от жары, духоты, комаров и… людей. Все раздражает. <…> Я очень противная для себя. Ненавижу!

Грустные были дни: 70 лет Маяковскому! Вспомнилось, как его обижали и дообижали! (Интересно, где Евтушенко, который писал, что поэту нужно хоть немного нежности.) Умер Асеев — тоже „Могикандр“! И С. Васильев и Корн. Зелинский „пристроились“ с воспоминаниями и крокодиловыми слезами к посмертным ламентациям в газетах!

Дубы совершенно изъедены червями (разглядываем их в „мелкоскоп“) и сбрасывают желтые листья. В лесу уже осень и так много всяческих вредителей, что я никогда такого не видела!

Летают самолеты и „верто“ и чем-то опыляют дустовонючим, а природа чего-то мстит.

Были грозы и „ленивы“ дожди — легче не делалось.

Телефон исправили сегодня, и телевизор тоже. Может, и я „исправлюсь“ — сегодня дует западный сильный ветер, очень холодный почему-то. Жить легче.

Вот и пишу Вам письмо, потому что, несмотря ни на что, — всегда Вас очень люблю.

И Вы, и все семейство.

Чудные!

И те, которые с черными глазками, и те, которые с незабудочными…»

Анна Алексеевна — Валентине Михайловне

«22 июля 1963 г., Николина Гора

Что-то нет от Вас вестей. Как писатель Ходасевич: трудится или все еще откладывает воспоминания? Когда, наконец, воспоминания уложатся на бумагу?

Мы собираемся Вас навестить, но еще не знаем когда. Что-то Вы по телефону говорили какие-то непонятные слова о Вашем пребывании в Поречье. Мы живем помаленьку, я расхаживаю мою ногу, она сопротивляется, но все же поддается воспитанию. Как Вы пережили жарищу? Дома у нас было жарковато. Зато сегодня просто холодно +15° — +20°. Это уже кажется совсем холодно.

Вчера заходила Рина Зеленая с Конст. Симоновым и Людмилой. Рина все такая же, только она понемногу высыхает все больше и больше. Вот два рассказа, оба из цирковой жизни. Звонят по телефону директору эстрады, предлагают свои услуги. Что вы умеете делать? Говорить. Что говорить? Рассказы? Стихи? Скетчи? Нет, просто говорить. Директор вешает трубку, в сердцах отвечает, что этого мало, и то уже множество артистов этого жанра у него есть. Через минуту опять звонок, и тот же голос говорит: „Простите, я забыла сказать, что я лошадь!“ К тому же директору нанимается гражданин, говорит, что подражает птицам. Директор ворчит, что у него в программе есть художественный свист, подражание соловью и пр. Больше не надо. Ах, простите, говорит гражданин, вылетая в окошко! Третью, такую же историю, я забыла. Это все серия абстрактных анекдотов. <…> Следили за кинофестивалем, одним словом, вели исключительно культурную жизнь! Просветились до основания, больше нельзя.

У Ивановых все очень грустно. Всеволод в том же виде. Иногда выпадают дни, когда он говорит, оживляется, но больше спит. <…> Очень жалею Асеева, мы с ним были друзьями по телефону, иногда он звонил и мы долго разговаривали. У меня есть очень хорошая его книжка о поэзии: „Зачем нужна поэзия“.

Вот так мы и живем. Все шлют приветы. П. Л. отдельно и очень горячий.

Целую…»

«6 августа 1963 г., Николина Гора

Дорогая Валентина Михайловна!

Давно нет ни звонков, ни писем, очень скучно. Я собираюсь в Ленинград 14 августа, беру с собой Анюту, Федя раньше едет с Татьяной Дмитриевной [Дамир]. Нога уже ходит в „лонгетке“ и

старается расхаживаться, что постепенно удается делать. Вообще я довольно счастливо из этого дела выхожу. Нога имеет вид вполне нормальный, но пока еще не так подвижна, как другая. <…>

Нат. Конст. [Капица] тоже поехала в Жаворонки опекать Алену и пожить с Леней. Она тоже поедет в Ленинград, ей хочется туда поехать с Аленой. Так что нас там будет целая толпа. <…>

Мажисьен раза два в неделю носится в город, но больше сидит на своем гамаке и трудится над своими вещами. Ему хочется куда-нибудь поехать. Может быть, мы поедем недели на две просто так, куда глаза (или фары) глядят. <…>

Я сейчас уже переехала наверх и хожу по лестнице, а это очень хорошая гимнастика.

П. Л. шлет привет, он скучает без Вас, и я тоже. Подумайте об этом, и, может быть, можно будет как-нибудь увидаться? Мы можем приехать и увезти Вас к нам? А потом, через некоторое время, отвезти обратно…»

Валентина Михайловна — Анне Алексеевне

«8 августа 1963 г., санаторий „Поречье“

…Для меня грустно, что Вас долго не видела, а выехать отсюда не так просто. Автобус до жел[езной] дор[оги] из санатория то ходит, то нет, да и не всегда берет посторонних пассажиров. Вот я и сидела.

Что-то написала, но, по-моему, плохо. Вот почитаю Вам, и Вы покритикуете. Надеюсь, что Вы будете „критиком и крытиком“, но не „крутиком“. Жажду Ваших советов.

Как радует меня Ваша душка-ножка, как она себя хорошо ведет! Hoch! Hoch! Hoch![169] <…>

Я написала письмо Тамаре, пока писала, поливалась слезами.

Очень радует, что Вы поедете в Ленинград, и какая Вы умница, что берете с собой внуков.

Как бы Вас увидать до отъезда. Может, все же Вы заедете? Я забыла бы сразу все горести. Обрадуйте!

Угощу чешским шоколадом — ей Богу!..»

Анна Алексеевна — Валентине Михайловне

«24 сентября 1964 г., Москва

Дорогой, очень благожелательный друг. Спасибо за письмо, Вы меня избаловали, и я всегда жду писем, как только Вы уезжаете. Как Ленинград? Светит ли Вам солнце так, как оно

делает у нас. Тепло днем, красиво неописуемо. Деревья в саду ярко-красные, оранжевые, золотые, лиловые и вообще всех цветов. Вчера вечер был удивительный, можно только пожалеть, что нет Моне. Все было в дымке лиловой, голубоватой, все шевелилось и менялось, казалось, что только можно быть или Моне, или пуантилистом. Наша ТЭЦ была великолепна, не оторвать глаз. Трубы парили в воздухе совсем невесомые. Бывает же такое! <… >

Мы, вероятно, поедем с П. Л. в середине октября в Крым, в Ореанду, чтобы П. Л. немного отвлекся от лаборатории и отдохнул. Он совершенно погружен в опыты, мало что замечает, но все же мы были на Севильском цирюльнике в Большом. Женщины намного лучше поют мужчин, постановка обыкновенная, но приятно, что артисты когда поют арию, то прямо становятся лицом в зал — никакой „системы Станиславского“. Это очень хорошо действует. Выставка громадная. Есть костюмы и эскизы Гуттузо — очень живописные, еще некоторые интересные. Из старинных — во всех видах Бибиэно, который оставил неизгладимый след в итальянском театре, до сих пор многие декорации в его духе. Все-таки интересно и поучительно — наши девушки не так уж плохи! Встретили Вишневскую с Ростроповичем, я никак не ожидала, что она такого небольшого роста и такая рыжая! А он важно круглый…

Приложение

Коктебель, 1917 год

Постоянно у Волошиных в доме Анна Дмитриевна Байкова и ее сестра, молоденькая фельдшерица, приехавшая с фронта и застрявшая на юге. Из Петрограда приехал муж А. Д. — профессор Байков. Он обладал феноменальной памятью и очень любил литературу. У Волошиных была привычка проверять знакомых — достаточно ли понимают шутки, стоит ли с ними иметь дело.

На стене висела картина, как говорит А. Дм., почти абстрактная. Квадраты, углы, не поймешь что. К ней подводили тех, которых хотели проверить. Стоит Байков и спрашивает у Волошина: „Это что?“ — „Мой портрет, отвечает Волошин. — Похоже?“ — „Нет, что-то я ничего не пойму“. Но на этом разговор не кончился, говорили и спорили еще долго.

Через несколько дней все опять у Волошиных. Входит его мать, говорит, что приехала дама, у нее неполадки с насморком. Она просит, нельзя ли ей остановиться. Как думает Макс. Все принимают участие. Конечно, пригласить. Входит дама в большой

шляпе, вуали, оригинальное платье, все необычно и странно. Все знакомятся. Она начинает осматриваться, подходит к картине, той, у которой был разговор с Байковым. Дама садится напротив А. Дм., и та вдруг замечает у дамы мужские ноги. Ан. Дм. была страшная хохотушка, она падает на диван, хохочет до слез.

Выясняется, что это Ходасевич!

Вы знали такой эпизод из жизни Вашего дяди?

Байковы очень сдружились с Волошиным, у нее до сих пор есть его стихи и этюды.

Это правда был Ходасевич? Или Ан. Дм. что-нибудь перепутала?

Вот Вам „история“ из „истории“ Вашей семьи…»

Валентина Михайловна — Анне Алексеевне

«8 ноября 1964 г., Москва

Дорогие Южане!

Вы не представляете себе, до чего мне было архиерейски приятно, что Анна Алексеевна мне позвонила по телефону! Я это прочувствовала „фибрами души“ и крохами моего интеллекта — остальное бренное тело не участвовало, ибо оно эгоист и чувствует только, что ему плохо.

Завтра будет врач, и я попрошу сделать мне всяческие анализы. Что-то разладилось в организме. Чувство, что нарушено какое-то равновесие в тех веществах, из которых мы все сделаны. Посмотрим, что выяснится.

Выпал снежок, но еще немного. Сегодня 7 гр. мороза. Достала из целлофанового мешка, с отвращением, шубу.

Красиво. Но я не выхожу, хотя бронхи и легкие давно прочистились.

Получила гостинцы из Ташкента — рис, курагу, изюм и целый ящик винограда.

Вдруг меня полюбили!?!

Хорошо ли это?

Я вас целую и еще благодарю за память.

Ваш преданнейший друг Валентина Ходасевич (из Антиквариата), с нетерпением ждущая Вас в Москве…»

Анна Алексеевна — Валентине Михайловне

[Январь — февраль 1965 г., Москва][170]

«Дорогая Валентина Михайловна!

Все, и особенно Петр Леонидович, настаивают, чтобы Вы

согласились на дежурство около Вас ночью сестры. Согласитесь!»

«Дорогая Валентина Михайловна,

Нам всем так беспокойно, как Вы лежите в такой очень барачной обстановке, что П. Л. настоял, чтобы около Вас был ночью человек! Чем Вас кормить? Курицей? Икрой? Кефиром? Пирожками? Напишите, что Вам хочется, а то на больничном харче Вы совсем истощаете, а сейчас, вероятно, надо начинать есть. Конечно, в такой палате, как у Вас, лежать несладко, уж очень много народу. Ну, может быть, когда подправитесь, что-нибудь можно придумать. Может быть, Алим Матвеевич [Дамир] возьмет Вас к себе.

Все Ваши просьбы Манилов[171] будет стараться изо всех сил выполнять…»

«3 февраля 1965 г.

Дорогая Валентина Михайловна, сейчас говорила с Алимом Матвеевичем, после того как он Вас видел. Он остался доволен, говорит, что уже хорошо, что Вам не хуже!

Посылаю Вам кисель, чтобы пить, и всякую муру, которую Вы просили, конечно, что-нибудь и позабыто.

Все очень обеспокоены Вашим поведением. <…> Я сегодня была у Вас в комнате и привела ее в некоторый вид, убрала и покрыла газетами, чтобы все не так пылилось. <…>

Посылаю Вам 5 рублей, рублями, — это очень нужные деньги».

«8 февраля 1965 г.

Дорогой друг, как я сегодня обрадовалась — у Вас появились желания, и наконец, Вы решаетесь что-то есть. Я считаю дни, так же как и Вы, когда Вы из Вашего „кур де Миракля“[172] сможете выйти. Алим говорит, что, как только станет лучше, они не будут Вас задерживать. Но тут я буду Вас просить хоть некоторое время пожить у нас внизу, пока Вы окрепнете, чтобы не быть одной в Вашей комнате. Я обещаю торжественно (!), что буду исполнять все, что Вы считаете нужным. Не буду „давить“ на Вашу психику, но только согласитесь, что это очень нужно. Успокойтесь, это П. Л. сам, до моего вмешательства, сказал: „что если В. М. поживет у нас внизу, как ты думаешь?“ Теперь уже можно начать думать, как Вам начать по-настоящему поправляться. Напишите мне, что Вы думаете на этот счет. Я все время мучаюсь, что Вы находитесь в таких „Мираклях“. Я хорошо знаю, что это такое, но ведь для Вас это все, как художника, во много раз страшнее. Но теперь только одно — скорее выбираться, поэтому давайте

придумаем, как это лучше сделать — что есть, что пить, что нужно из дома принести. Не думайте, что это беспокойство, беспокойство в душе все время о Вас, дорогой, бесценный друг, и когда Вы начинаете желать опять жить — это все, что мне надо. Я думаю о Вас беспрерывно, все напоминает Вас: сегодня в Кунцеве — дом красный с белыми арками кругом окон, с Вами ехали и увидели вместе. Много мысленно написано томов к Вам писем, но они только в душе, на бумагу не могут вылиться. Хоть бы скорее Вы выбрались из больницы, только выходите, а там, как говорит наш Сережа, „что-нибудь придумаем“.

Как ужасно трудно заставить себя опять есть, но Вы уж как-нибудь постарайтесь. Вы ведь все можете, и даже очень страшные вещи можете пережить, Вы такая удивительная.

П. Л. все время спрашивает о Вашем состоянии, его, видно, это очень волнует. Он как всегда сидит и занимается, вполне отвлеченный вид, глаза где-то далеко — но о Вас помнит, вот ведь как!

Екат. Павл. требует, чтобы я к ней приехала. Завтра поеду, нужно уважить старуху.

Дорогой мой, как Вам помочь, как сделать, чтобы Вам было легче?..

Я Вас целую очень нежно и крепко, как люблю. Напишите, какое Вам завтра устроить меню!»

«[Без даты]

Дорогой друг, как хорошо: Вы попросили есть! Это уже огромный шаг вперед — скоро Вы из своих „Мираклей“ выберетесь. Вероятно, нам с Вами можно пользоваться только мысленным телефоном. Рано утром меня мучительно мучили (вот хорошее выражение) мысли, что бы такое придумать Вам, чтобы Вы ели с удовольствием, глотали и глодали. Кроме цыпленка, ничего в голову не лезло. <…>

Посылаю книгу П. Л.[173] Не обращайте внимания на опечатки и небрежности. Напечатали скорее, как было, даже не проверив, главное, чтоб было напечатано <…>.

Дорогая, ужасно любимая, как больно, что Вам так плохо. Я чувствую себя вроде медведя из басни „Пустынник и медведь“. Но теперь мне хочется скорее Вас извлечь и как-то Вам помочь, но как?

Говорите каждый день, что хочется есть, а то вдруг будем присылать не то.

[*Приписано*] 6 рублей рублями».

Валентина Михайловна — Анне Алексеевне

«[Без даты]

Дорогой мой, добрейший мой друг. Спасибо за все — за вкуснейший пирог с яблоками, и за бесконечные куриные ножки, и за пищу духовную тоже и особенно. Благодарю и Марию Сергеевну (домработницу Капиц. — *Е. К.*).

Надо вам сказать, что плохо ликвидируется моя болезнь и температура все не нормальная. Уже два раза переменился контингент моей палаты, а я все здесь. Сейчас состав хоть не злой. Каждую ночь, как в печь крематорскую, сгружают больных. Сегодня ночь тяжелая, и мест не хватало, устраивали в коридоре. Всех почти рвет, и t° больше 40. Стонут. Все это очень тяжело.

А я злюсь на себя, что не могу сдвинуться. <…>

Сообщаю, что я могла бы есть: рыба жареная (навага, судак). Икру — только красную. Оладьи или пирог с яблоками и вареное мясо.

Клюквенный морс или жидкий кисель.

Пишу разнос на всякий случай — что легче достать.

За конфеты и рубли спасибо. Конфеты легче берут, но и то с ужимками…»

Анна Алексеевна — Валентине Михайловне

«11 февраля 1965 г., Москва

Дорогой, родной бедный друг, мы никак не можем договориться. Курица жареная, а надо вареную. Будет та, которую нужно. Мы с Вами плохо договариваемся по мысленному телефону, вероятно, плохо слышно! Пусть звонят от Вас и по-городскому тоже. Сегодня пойдет к Вам Тамара Влад. Вера Николаевна [Трауберг], вероятно, завтра. Вот так и получается по очереди. Всем хочется Вам помочь, лишь бы Вы скорее поправлялись, главное — набирайтесь сил и хоть иногда что-то ешьте. Конечно, это все ужасно трудно, но Вы умеете делать именно все самое трудное. Я мечтаю, что получу Вас в Вашу комнату внизу, там спокойно, рядом парк, Вы сможете дышать свежим и чистым воздухом, а так важно отдышаться после больницы.

На днях пойду в Манеж на выставку РСФСР, только без Вас грустно, и еще ведь есть Коненков, все же нужно его посмотреть сразу всего, это, вероятно, очень страшно, уж очень всякого много.

Но все же я озабочена больше всего: чем Вас кормить? Обязательно просите по утрам, я буду передавать Ваши желания той, которая поедет в больницу. Так хочется, чтобы Вам было хоть

капельку легче, чтобы Вы могли противостоять всему окружению. П. Л. шлет привет. Ждем Вас у себя…»

«15 февраля 1965 г., Москва

Дорогой, любимый друг, кажется, скоро Вас выпишут. Алим сказал вчера, что Вас можно к нам домой, если все более или менее хорошо. Что это значит, я не знаю, но меня окрыляет мысль, что на этих днях я смогу Вас извлечь из Ваших „Мираклей“. Как это будет хорошо, когда Вы будете у нас, даже поверить трудно, ведь 2 недели Вы варитесь в котлах ада, сколько же можно? Дорогой, очень драгоценный друг, еще несколько дней, а может быть, даже не дней, а меньше, и Вас можно увидеть, с Вами говорить, это совсем чудесно! Я чувствую, что часто что-то делаю как медведь, но люблю Вас очень, и тут уж не медвежьей любовью. П. Л. все время спрашивает, когда же Вас выпишут, говорила ли я с Алимом, что он сказал, и очень много о Вас думает. Так что в нашем доме Вы будете окружены любовью. Ну, может быть, не все будет хорошо остальное, но любовь, во всяком случае, будет…»

Валентина Михайловна — Анне Алексеевне

«18 февраля 1965 г.

Пишу Вам „клочками“, когда есть силы или мысли, так что, вероятно, пишу в странном „стиле“. Простите. И, наверное, повторяюсь.

В.В.В.Х.»

«Четверг, 18 февраля 1965 г.

Дайте человеку прийти в состояние человека и с честью и достоинством пережить то счастье, которое ему решили доставить щедрые друзья. А так я рискую умереть как моя мать — от радости. Я хочу еще пожить. Все, что могу с собой сделать — нарушить то, во что верила всю жизнь: понедельник плохой день, чтобы начинать что-либо.

Я согласна уйти отсюда в понедельник и утонуть в блаженстве.

Не сердитесь, драгоценная, на меня, и пусть турок Дамир не обижается. Я его очень ценю, уважаю и благодарна на весь остаток жизни. Что-то есть общее у нас в характерах. Решайте: может, вам удобнее во вторник, может, в понедельник Вы будете на Николиной.

Может, можно утром позвонить сюда и сказать ваш приговор.

Я совершенно растеряна — нервный ком в горле…

Клянусь, это не каприз, и возраст не позволяет капризничать».

Анна Алексеевна — Валентине Михайловне

«19 февраля 1965 г.

Дорогой, любимый друг! Сегодня можно Вас выписать. Когда лучше всего? Сейчас еду за Вашими вещами, возьму костюм, кофточку, белье, туфли домашние черные, ночную рубашку, чулки. Привезу большой шарф, чтобы Вас закутать. Мы так рады, что Вы можете покинуть этот „странноприимный“ дом.

Дорогой, очень дорогой друг, мы с П. Л. ждем Вас сегодня у нас. Не надо откладывать Вашу выписку, довольно Вы были в Мираклях. Алим Матв[еевич] мне вчера сказал, что Вас вполне можно и нужно забирать из больницы. Но некоторое время, он говорит, Вы будете себя вести тихо и спокойно, полеживать у нас. Ведь Вы знаете, что у нас удобно и что уж никому не сможете мешать. Лежать и набираться сил у нас лучше, чем в больнице, и довольно уже Вам быть с 10 другими больными в палате. На счет дачи не волнуйтесь (!) — П. Л. поедет туда, как всегда, там сейчас живет Андрей, в субботу приедет Женечка с детьми. А я на этот раз взяла отпуск, чтобы побыть с Вами. Как Вы думаете, можно мне хоть когда-нибудь это сделать? П. Л. все сам так придумал, он очень хорошо к Вам относится, так что не противьтесь нашим планам, я умоляю Вас очень и очень.

Я привезла Вашу одежду, которую нашла, потом мы все обдумаем и сделаем как надо. Так что не стоит сейчас об этом беспокоиться. Как хорошо, что Вас отпускают, а Вы еще некоторое время будете очень слабенькой, но тут уж ничего не поделаешь. Так что собирайтесь с силами, и давайте поедем.

Машина стоит у самого корпуса, так что идти никуда не надо. Жду Вас с нетерпением. Еще одно усилие с Вашей стороны, а их сделано уже так много, и Вы будете вне стен Мираклей. П. Л. шлет привет и ждет.

Целую очень крепко и очень люблю…»

«11 сентября 1965, Прага

…Мы ведем предосудительный образ жизни — не успели доехать до Татр, как сейчас же улетели в Прагу. За нами прислали авиатакси! Это чудесный способ передвижения. Кроме нас с П. Л. и пилота был еще молодой физик, присланный нас сопровождать. Летели среди гор — было восхитительно — потом, вся страна совсем близко под нами. Пролетели мимо селения, где жила семья летчика, по традиции облетели вокруг и помахали

крыльями. В Праге П. Л., Ник. Ник. Семенов и еще один американец получали докторов Honoris causa[174]. Они все были тут же одеты в мантии и шапочки — вид прелестный, Ник. Ник. особенно был величественно хорошенький. П. Л. велели произнести клятву по-латыни, что он и произнес! Вероятно, первое, что пришло в голову. Провели два дня в Праге, видели друзей, было хорошо, дождь удержался и не шел. Опять летели в Татры, но уже рейсовым самолетом. А через два дня приехали Семеновы и прожили с нами 5 дней. Погода стояла, на удивление всем, прекрасная, и мы показали им Словакию во всей красе — и Спишский град, это развалины гигантской крепости, и пещеры с розовыми сталактитами. Были на горном озере и прошли по туристским тропам. Повезли их посмотреть на деревенские костюмы и выяснили, что за эти 6 лет все меньше и меньше их носят. Правда, толпа молодежи у церкви яркости невероятной — химической, и старухи в красивых головных платках, но красочность и вышивки прошли. <…> П. Л. начинает работать, надо прочитать лекцию в Дрездене и открыть конференцию. Как-то странно ехать в Германию, правда, тут так много немцев, иногда полон отель, и они мурлычат, встречаясь, как-то очень низко говорят гут морген, получается мурген.

Читали ли Вы в Новом Мире статью о Бунине Твардовского? Хорошо написано, правда, иногда чувствуешь горечь не только о Бунине, а рассуждения о смерти читаешь, жалея Твардовского.

Как-то дела в Москве? Прочли статью Румянцева в защиту интеллигенции[175]. Хорошо, если это слово перестанет быть ругательством. Но там есть среди довольно большого количества тривиальных мыслей и проблески нового. Для редактора „Правды“ это очень хорошо. Но Вы ведь знаете, что мы всегда стараемся быть оптимистами, даже если и хорошо информированы!

Мы здесь живем в заповеднике и познакомились с главным лесничим. Он веселый словак, хочет обязательно, чтобы П. Л. поехал в какие-то угодья ловить форель. П. Л. ловит рыбу только в Словакии, у нас он это презирает. Посмотрим, что-то они поймают.

Время тут идет очень быстро, Delacroix лежит почти не читанный[176], но он так хорошо напоминает Вас, я рада, что он со мной. Беспокоят меня Ваши дела. Как-то движется работа над книгой? <…> Я боюсь, что Вы очень устали с Вашей книгой, ведь Вы не вставая пишете уже который месяц. Когда мы как-то ездили, чтобы повидать наших французских друзей, то я записала всю дорогу, т. е. все, что видела в окно машины. Очень хорошо передают эти несколько слов то, что видела и чувствовала. Когда

приеду, то мне интересно, если я прочту Вам, Вы тоже сможете представить всю поездку. Оказалось, что нужно быть лаконичным до предела и без всяких прилагательных. Вы мне это посоветовали, а, как уж старый писатель, Вы умудрены опытом, и поэтому я немедленно послушалась.

Вот, дорогой друг — художник — писатель — мыслитель — философ — кулинар и юморист, П. Л. шлет привет, я целую очень крепко, и часто думаю. Но писатель, т. е. писатель писем, из меня еще не вышел, я все же еще хороший, настоящий председатель безграмотных. Иногда вспоминайте нас, очень приятно знать, что о тебе кто-то думает».

Валентина Михайловна — Анне Алексеевне

«11 ноября 1965 г., Москва

Дорогой друг Манилов — вертушечка — загадка!

Вы уехали, я осиротела, а к тому же еще и мороз грянул, и плохо мне, хотя вчера была моя дорогая врач и нашла во мне улучшения. Я этого не чувствую и на всякий случай отсиживаюсь дома.

Вчера с Випперами должна была пойти к Мясникову — смотреть его коллекцию, но одумалась и не пошла. Сегодня Випперы передо мной „отчитывались“, и я очень пожалела, что не пошла — коллекция изумительная. М[ясников] очень жалел, что я не пришла (это очень мило с его стороны), и мы пойдем, как только Вы приедете, — вместе…

Узнайте у Тани, где она себе покупает красивые туалеты, и, пожалуйста! наберитесь желания и пойдите — может, шубку *не* приталенную найдете! Или платьице, или „кустюмчик“ какой ни на есть…»

Анна Алексеевна — Валентине Михайловне

«9 марта 1966 г., Москва

Дорогой друг, вот опять Вы лежите[177] в cour des Miracles, а мы с П. Л. отправляемся куда-то на юг, и это очень грустно, потому что когда Вы в больнице, то мне хочется приходить с передачей, получать от Вас записочки, делать все не то и некстати. А теперь все это будут делать милая Вера Николаевна и бурная Тамара. Но П. Л. устал и мечтает уехать, это редко с ним бывает, и, вероятно, он правда очень устал.

Мы никогда не были в Сочах и не знаем, что это такое — советский beau monde[178], только боюсь разочароваться, ведь сейчас не сезон и бомонда не будет. Вот беда. Андрей приехал в

полном восторге от своей поездки. Он делал доклад по-английски (вот нахал!) в Полярном институте им. Скотта в Кембридже. Было много народа, и доклад сошел хорошо. Все наши старые друзья были чрезвычайно внимательны к нему, и он был очень этим тронут. Тут он понял, что такое был молодой П. Л. в Кембридже! Мы все-таки, может быть, поедем в мае в Англию, во всяком случае, ходят такие слухи.

Как Вы думаете, Вы сможете опять нас вынести после Вашей болезни? Ваша комната Вас ждет, а мы вернемся в самом начале апреля. Целую Вас очень нежно и крепко, не сердитесь на меня, я знаю, что глупая да еще Манилов, но люблю Вас очень, что Вы должны хоть немного чувствовать».

«14 марта 1966 г., Сочи

Дорогая Валентина Михайловна,

Здесь просто рай, погода — хорошее московское лето. Море плещется под окнами. Все начинает цвести. Дом построен прямо над пляжем, в современном стиле, все очень просто и красиво получилось. Самое хорошее, что комнаты совсем звуконепроницаемы, что почти никогда не бывает. Народу — полчище, но среди них ни одного знакомого. Служащие, рабочие, колхозники. Все лечатся. Мы живем тихо, П. Л. уже трудится.

Часто вспоминаем Вас и беспокоимся о Вашем здоровье. Как-то Вы в больнице живете…»

«17 марта 1966 г., Сочи

…Вчера позвонили из Москвы и сказали, что Вам чуть лучше. Как-то спокойнее стало на душе. Все время думаешь: как-то Вам там? У нас чудо как хорошо, тепло, даже когда нет солнца. И так хотелось бы часть этого тепла передать Вам. П. Л. нет, нет-да скажет: как-то там В. М. Видно, его это волнует. А он все сидит и работает. Здесь тихо, никто не тормошит, работать хорошо».

«22 марта 1966 г., Сочи

Дорогая Валентина Михайловна,

Мы с П. Л. поздравляем Вас и шлем свои самые теплые и самые сердечные пожелания скорее увидеть Вас у нас в парке. Подправляйтесь к нашему приезду, т. е. к 5–6 апреля. Как сжимается сердце, думая о вас опять в больнице. Опять и опять все пережитые уже раз ужасы. Здесь хорошо, погода нас балует, бывает прохладно, даже иногда дождь, но все-таки как хорошо из зимы попасть в этот благословенный край. Нам звонят по телефону, и я знаю о всех Ваших бедах, и часто думаем о Вас. Еще раз привет от П. Л. Целую крепко…»

Валентина Михайловна — Анне Алексеевне

«23 марта 1966 г., из больницы

Моя драгоценная — вчера так умучили лечением (без передыха от 6 до 10 вечера), что разрыдалась и захотела в покой вечный. Ночью не спала. 6 раз меняла взмокшие рубашки.

Сегодня утром спустила все 4 шины. Наконец дали камфору, и я пришла в себя.

Опять верю, что увижу вас. Спасибо за открытку. Тамара методична, как часовой, — ежедневно бывает у меня от 1½ — 2 часов. Привозит питье и еду. Герой! Вера Ник. больна гриппом, Терновский тоже. <…> 2 раза был у меня Василенко, 1 раз специально удостоена была, 2 раз — в общем обходе. Он из „великолепных“ Magnifico[179]. <…>

Всё путают. И врачи делают ложные выводы „в медицину“, и защищают ученые степени не быстро, но верно…»

«26 марта 1966 г., Москва, из больницы

Дорогой, драгоценный друг мой любимый, Анна Алексеевна и с неповторимым образом мышления (так, кажется, о нем выразился Сноу) Мажисьен — Миозотис[180]

— Петр Леонидович. Мне не только лучше, но, как видите, в день своего и Ан[ны] Ал[ексеевны] дня рождения позволяю себе некие вольности, а может, и непочтительности.

Я оживаю.

Спасибо за телеграмму.

Меня сегодня с утра навестил В. Н. Терновский с дарами — цветы и книжка стихов Бажана „Итальянские встречи“. Дальше: Тамара в ярко-сиренево-голубых волосах (таких еще не бывало!) с цветами и *½ жареной!* (все разрешили есть) курицей. Дальше: Вера Никол. с навагой, цветной капустой, морсом, рисунком 3-летней внучки и 4-мя рассказами Честертона, которые перевела Наташа [Н. Л. Трауберг] для сборника Честертона, котор[ого] она составительница и редактор. Рассказы — дивные, сохраню для вас.

Как много надо поговорить с Вами и почесать за ушком (если Madame разрешит!).

Я еще не совсем уверена, как болезнь подействовала на мой организм и на мою всегда неуравновешенную голову.

Тут обнаружилось, что я говорю на каком-то особом языке: никто не понимает, и думали, что я брежу.

Плохо было очень, очень. Елена Константиновна [Березовская] почти ежедневно забегает ко мне — говорит, что вы

ей это завещали.

Они с Евг[ением] Мих[айловичем Лифшицем] неожиданно едут 8-го апреля в туристическую поездку в Западную Африку, Грецию и Италию на месяц.

Много разного и интересного произошло в последнее время, и если это перемешать с больничными впечатлениями, то хочется „приблизиться“ к Честертону.

Хочу шашлык, поджаренный у вас в „Grille“ под красным светом. Хочу видеть Антарктическое семейство во всей красе и всех вместе.

Неужели это все возможно и будет в моей жизни тутошней (земной!)?

Спас меня все же Василенко. Оказывается, в эту клинику со всего Союза ждут места месяцами. Но, в конце концов, все же все очень смешно. Но до чего бывает обидно, противно!

Вот вам мои „глупости“…»

«Всё правда, хоть и 1 апр. 1966 г.

Моя драгоценная, дорогая!

2 письма от Вас получила (одно через Вер. Ник.), и второе сегодня почтой. Раз — два благодарю.

Надеялась (в уголке души) встретить Вас в дверях Вашего дома, но… увы!

Сегодня сказали, что и не видно, когда меня выпишут. (А тут клиника серьезная — всё для науки! И много, слишком много уколов, лекарств и процедур — больному.) К вечеру изнемогаю от усталости. Пока об этом нет речи.

У меня маленькая еще тлеет надежда, что „Дамир все же ошибся!“ Просто мой организм плохо справляется, а антибиотики (вкалывают самые разнообразные 4 раза в сутки по распоряжению Василенко) мало действуют.

Раньше, до антибиотиков, давали при воспалении легких на 6 недель бюллетень.

Вот я думаю, что, может, в эти сроки уложусь.

А вообще-то, конечно, никто ничего не знает, а я утеряла большую часть юмора и злости, что в болезни необходимо.

Скоро, скоро Вы будете в Москве, но… приедете Вы, вероятно, 6-го, а в четверг (вчера, сняли карантин) пускают посетителей от 4–6 вечера, а Вы уже поедете на дачу. <…>

Вот и гадаю: когда же увижу Вас, Вас — добрую, свежую, красивую, разумную и очень привязавшую мое сердце к себе. <…>

Я очень, очень хочу жить и увидеть „активно прекрасный видик“ — Вас и Мажисьена на фоне „активно некрасивого

пейзажа“ (в плохую погоду из окон столовой на Николиной Горе) …»

Анна Алексеевна — Валентине Михайловне

«30 апреля 1966 г., Кембридж

…Дорогая Валентина Михайловна, как-то Вы, хорошо ли Вам у нас? Мы долетели очень хорошо, надо сказать, что четыре часа полета прошли очень скоро. Погода была во многих местах очень ясная, в Балтийском морс еще был у берегов лед! Прилетели в Лондон, самолет облетает город кругом. Чудная погода, все как на ладони, город громадный, во многих местах стоят башни — дома, Темза вьется. Вообще, сверху очень интересно, как-то все охватываешь сразу. Абсолютно непонятно, как можно бомбить города, полное ощущение громадной жизни. Интересно, летчики когда-нибудь задумывались над такими вопросами или тогда приходится бросаться самому вместо бомб?

Нас встретили и наши из посольства, и друзья из Кембриджа, и представители Академии английской, и куча фотографов, которые снимали П. Л. со всех сторон. На следующий день в городах появились его громадные портреты — человек, которого Сталин не выпустил и пр. Но все очень тепло и трогательно. Дом у Кокрофтов осаждается прессой, но разговоры с журналистами отложены напоследок. Зато снимают его со всех сторон и со всеми, кто рядом. Кембридж прелестен сейчас, весь в цвету, розовые, белые, пурпурные стоят деревья. Солнце и тепло. Не изменилось ничего — как будто и не прожили жизнь, а уехали на несколько дней. Все друзья необычайно милы и приветливы, чувствуем себя здесь как дома. У Кокрофтов все очень просто и симпатично. Вчера были приглашены на обед в St. John’s College, это один из старейших — вот тут произошло некоторое изменение. Женщины обедают по приглашению в рефектории[181], т. е. в том месте, куда нас, Божьих созданий, раньше не пускали. А тут даже студенты могут приглашать своих девушек. Это бывает 2 раза в семестр. Вы не можете прийти со своей женой, но с любой другой гостьей. Я была с Дираком. Он такой же душечка, как и был всегда. Мы чувствуем себя здесь прекрасно, английский приходит назад совсем хорошо. Колледж, где мы живем, очень современный, все открыто, студенты более свободны, чем в других местах, и какая-то очень хорошая обстановка и отношения. У нас масса приглашений, хочется всех повидать. Будем в Лондоне несколько дней, там тоже посмотрим. Самое неприятное — это громадное количество автомобилей, в узких улицах нечем дышать. Никто не ходит пешком. Что-то

будет в Лондоне? Это, пожалуй, то, что поражает больше всего. Дороги стали лучше и всё продолжают строиться. Англичане живут богато, страна, конечно, процветает, но она этого стоит. Жизнь недорога, вещи просто дешевы, и какое внимание в магазинах! Такие пустяки бросаются в глаза. Молодежь одета очень странно, много бородатых, волосатых, в белых брюках в обтяжку. Но все это как всегда, сейчас так, завтра эдак — по моде. Я сначала удивлялась ценам, они втрое больше тех, которые были раньше, но, переведя на наши рубли, — сразу успокоилась! П. Л. уже был в лабораториях и сейчас там. На будущей неделе будут очень занятые дни в Лондоне. Я, конечно, позабыла мою адресную книжку, но все звонят или пишут. Марии Игнатьевне [Будберг] буду звонить в понедельник, надо ее повидать, когда будем в Лондоне.

Вот какие дела. Оказывается, возвращаться в страну, которую хорошо знаешь, очень легко и просто. Жизнь человека — такой короткий срок. Больше всего меня поразили деревья, которые мы сажали у нашего дома. Вот они уже старые, а мы?..»

«1 мая 1967 г., Высокие Татры

…Мы получили оба письма и очень порадовались: очевидно, если Вы помогаете поклонникам, то чувствуете себя не так уж гадко? Очень интересно, какую Вы нам устроите выставку. Я не знаю, сколько лет надо ходить и смотреть картины, чтобы понять, насколько разновидны художники. Наши институтские все еще большие примитивы. Интересно, как-то пройдет его выставка[182]. Очень хочется, чтобы хорошо посмотрели, потолковали. Ну, ну.

О [А. Н.] Волкове Вы хорошо написали, но меня погубила психология — стало так страшно, когда видишь чудесное начало, и потом происходит какая-то ломка (вдобавок недоломленная), потому что то, что у него выставлено в залах, когда Вы входите налево, все хотелось бы видеть на стенах — как у мексиканцев. Мучительно смотреть на втиснутую стенную живопись, втиснутую в рамки картин. Его первый период очень красив, и там есть несколько вещей, которые хотелось бы иметь, может быть не навсегда, но надолго. Что-то мне хотелось бы переменить все картины у нас (кроме Шевченко и Сарьяна у окна), но Мажисьен — консерватор, и все должно быть, как всегда было…»

«23 апреля 1968 г., Ялта

Дорогой художник — литератор — величайший специалист-практик по легким воспалениям!

Как хорошо, что Вы позвонили, приятно все же слышать Ваш бодрый голос, который доносится до нас, бедных и сирых, в

Крыму. Не писалось потому, что хотелось написать, что все хорошо, а было все так себе. До чего чудесен Крым при тихой погоде (персонажам можно перефразировать автора). Как сейчас все начинает цвести: глициния гроздями неправдоподобными вьется по стенам, деревья, из стволов которых лезут фиолетовые цветы. Какие-то громадные желтые кусты, розовые помпоны на деревьях — все неправдоподобно. Смотришь в окно, а тут синее море, необъятные просторы. Просто вредна такая природа, уж очень она не соответствует северному представлению о красоте и покою. Тут еще на скале перед самым окном лазают мухи-человечки: тренируются скалолазы! Все как во сне, и все ни к чему, потому что драгоценный Мажисьен лежит больной. Если ему прописали антибиотики, то „помни, Вал. Мих. говорит, что надо есть витамины, а то плохо будет со ртом“, и витамины тут как тут. Ночью мокрый, как мышь. „Помни, Вал. Мих. говорит, что меняет рубашки по 4 раза в ночь“. Ваш опыт необычайно кстати, на все вопросы есть ответ. Спасибо, дорогая, это очень помогает…»

«11 мая 1968 г., Ялта

Дорогая Вал. Мих.,

Вот открытка, но не очень голубая. Как здоровье? П. Л. все еще не совсем. T° не хочет быть нормальной. 15/V будем в Москве. Очень хочется домой. Говорят, и стены дома помогают выздоравливать. Тут на днях в „Правде“ была чудесная фраза: „… Она поднялась и ушла за перегородку и долго там ласкала тихим стеклянным перезвоном праздничную посуду…“ — А Вы так не умеете! Мы оба Вас обнимаем и очень хотим видеть.

Целую. Ваша *Дурова-Собакевич».*

«6 шюня 1968 г., Москва

Дорогая Валмихо!

Очень скучно, что Вы с П. Л. вздумали соревноваться, кто больше будет болеть в это лето.

А как же дача?

Как Переделкино, есть ли надежда?

Звоните мне, а то я уже и не знаю, какой я гоголевский герой.

Собакевич? Коробочка? Манилов?

Целую».

«10 сентября 1968 г., Париж

Дорогой друг, Валентина Михайловна, хочу написать Вам первые впечатления. Париж — тот же чудесный в дымке город, и еще прекраснее со светлыми зданиями. Они все чуть разные —

желтоватые, розоватые, охристые, но светлые. Вся архитектура подчеркнута, и когда видишь старый темный дом, то понимаешь, как хорошо, что Париж во многих местах светлый и не такой белый, как Sacré-Coeur, а светлый, живой. Кругом, куда мы прилетели, стоят наши Черемушки. Не отличить от Москвы, и даже пятиэтажные дома такая же дрянь, и уже полинявшая. Но старый Париж встречает, как будто я была здесь вчера. Те же бистро, те же кафе, все на улице, но есть одно *но:* всюду на улице вдоль тротуаров и на тротуарах стоят машины — вереницами, без промежутков. Это делает улицу очень странной. Вероятно, современный вид немного шокирует, но это всюду. Найти место стоянки — одна из основных задач каждого парижанина. Нас встретила Нинетт [Паршина] и на своей машине провезла по всему городу. Мы пообедали в крошечном ресторанчике, сразу накинулись на артишоки и салат и, конечно, сыр. В шесть часов были в Ницце (в Париж прилетели в 11 и улетели в 4.30 по парижскому времени). Здесь жара, пальмы, море, говор итало-французский. Довольно много народу, но не толпы. Город, где все для туристов, для „отдыхающих“. Завтра начинается конференция, будут споры, разговоры, но все же без крика. Французам это все до лампочки, своих дел много. На днях поедем к Леже и Пикассо. Живем в старой гостинице, вроде нашего Метрополя, даже мебель плюшевая. Здесь стараются Черемушки не строить на виду, и они более живописные и как-то расположены на горе вразброд, так что не так плохо. Море в дымке, но чудно прозрачное и тихое до зеркальности. Хотим пойти в порт поесть буйабез[183] и всякой морской всячины.

Много фруктов и зелени, и очень живописно на улицах. Девки — прямо прелесть, мальчики с длинными волосами и все прочее…»

«15 сентября 1968 г.

…Как бы мы с Вами здесь походили! Вспоминаю Вас на каждом шагу. До чего же здесь хорошо знаменитым художникам. Сейчас выставка Шагала в Ментоне, Miro в Fondation Maeght, Musée Matisse, фаенс Пикассо, да разве перечислить все. Мне было очень красиво у Leger, это так хорошо сделано, но мне казалось, что он стоит где-то на просторе, а на самом деле окружен виллами, домами, садами, только сам просто от всего отгорожен соснами и кипарисами. Вдали крошечные городки на вершинах холмов, всюду маслины, еще дальше горы. Было сырое лето, и все еще ярко-зеленое. До чего хороши мозаики Leger и великолепны его керамики. Музей небольшой, но очень ярко характеризует Leger. Когда входишь, то против входа один из его

витражей, а в дальних залах ковры и tapisseries[184]. Наверху (только два этажа) картины разных времен, рисунки. Очень хорошо висят на светло-серых стенах. Сейчас это все подарено Франции Musée National.

Пока самый поразительный музей — это Fondation Maeght, в маленьком городе St. Paul около Vance. Это торговец картинами, который решил, и очень правильно, зачем все деньги после смерти отдавать государству пошлинами. Лучше их сейчас истратить на то, на чем они были нажиты. Среди леса, чудесных пиний и южных сосен построен великолепный музей, современное здание до предела. Тут и влияние Японии, и даже Южной Америки, но все объединено лестницами, переходами, садом с прудиками, где на дне мозаика. Сейчас там выставка Miro, но в прошлом году была выставка Monticelli. Я Вам посылаю открытку. Еще несколько [работ] стоят в саду среди сосен, они великолепны. Мы первый раз были ночью, с подсветкой. В саду громадные белые массы или тощие Monticelli или какие-то железки, в стенах керамические чудища, в часовне витражи Braque'a и удивительная, из черного пятнистого мрамора статуя, невероятно страдающая, мне было даже надо ее погладить, так жалко. Под витражом распятие, дерево 15 века. Что-то висит еще на стенках, но что-то маленькое. В залах Миро, когда его много и он везде, начинаешь понимать, что именно надо много. Какие-то круги красные, зеленые, черные большие змеи, запятые. Иногда просто по громадному полотну во всю стену с угла на угол идет тонкая проволока, но после всей яркости, беспокойства это хорошо. Но в следующем зале висит громадный Шагал, вот тот, которого я Вам посылаю (к сожалению, краски не получились). Он такой веселый, такой весь из веселого сна, что не хочется уходить. Тут же в зале превосходный Кандинский, изумительной красоты, вписанный в круг. Это музей, откуда не хочется уходить, он ведет вас из зала в зал, в переходы, в зимний сад, на крышу, где стоит страшный шатер, не то женщина, не то сферы одна на другой, красные, зеленые, желтые. Можно войти и посидеть. Но как-то не хочется, неуютно, в этом есть что-то страшное, как будто вас сейчас проглотит. Лабиринт лесенок неожиданных на каждом шагу. Скульптура Monticelli привлекательна до предела, ночью особенно, силуэты этих тощеньких очень красивы. Тут куда ни посмотришь, все наполнено искусством. Какой чудесный Матисс. Я очень жалею, что не видела его часовни, видела только макет. Внутри на белом фоне черный рисунок, все на изразцах. Во всю стену св. Доменик, на другой стене Мария с Младенцем, на третьей — Крестный путь, распятие, снятие со креста. Доменик великолепен, а на алтаре распятие (у меня есть репродукция).

Витражи синие с желтым. Колокольня тонкая нарисована Матиссом одной линией. Очень жаль, что не видала, но что поделаешь, вспоминаю Козьму Пруткова — необъятного не объять.

До чего хорошо тут моются глаза, сказать не могу. В маленьком музее Матисса был такой Матисс, что глаза вымылись надолго. Там были его коллажи и очень много рисунков самых разных лет. Я предвкушаю Париж и Голландию. Но мне сказали, что Рембрандт вымыт, что же это будет — вымытый „Ночной дозор“. Они всё моют, и если зданиям это хорошо, то хорошо ли Рембрандту? <…>

Целую крепко и очень скучаю. Ах, если бы походить вместе!»

Валентина Михайловна — Анне Алексеевне

«10 сентября 1969 г., Москва

Дорогие и любимые друзья, Анна Алексеевна и Петр Леонидович, без Вас скучно и грустно. Надеюсь, Вы привезете массу интересных впечатлений. Холодно, дождь, я кое-как справляюсь с кашлем и работой.

Обнимаю и целую Вас.

Обязательно будьте здоровенькими.

Ваша *Валентина Ходасевич».*

Анна Алексеевна — Валентине Михайловне

«24 февраля 1970 г., Москва

Дорогая В. М.

Сейчас посылаю, чтобы Вы могли есть и поддержать свое бренное тело. Постараюсь приехать около 5-ти или даже раньше.

Привет.

АК.

Кур нигде не встретила».

«17 апреля 1970 г., Москва

Дорогая Валентина Михайловна!

Я просила Толю отвезти Вам бумагу. Конверты только г-в-нные. Так что присылать не стоит.

Мы летим сегодня и, вероятно, днем будем на месте.

Пришлю Вам красоты Кисловодска.

Как книга? Уехала в Ленинград или еще нет?

П. Л. шлет привет.

Целую,

АК.

Ура! Ура!
Павлуша появился с конвертами. Где-то оторвал.
Целую,
АК».

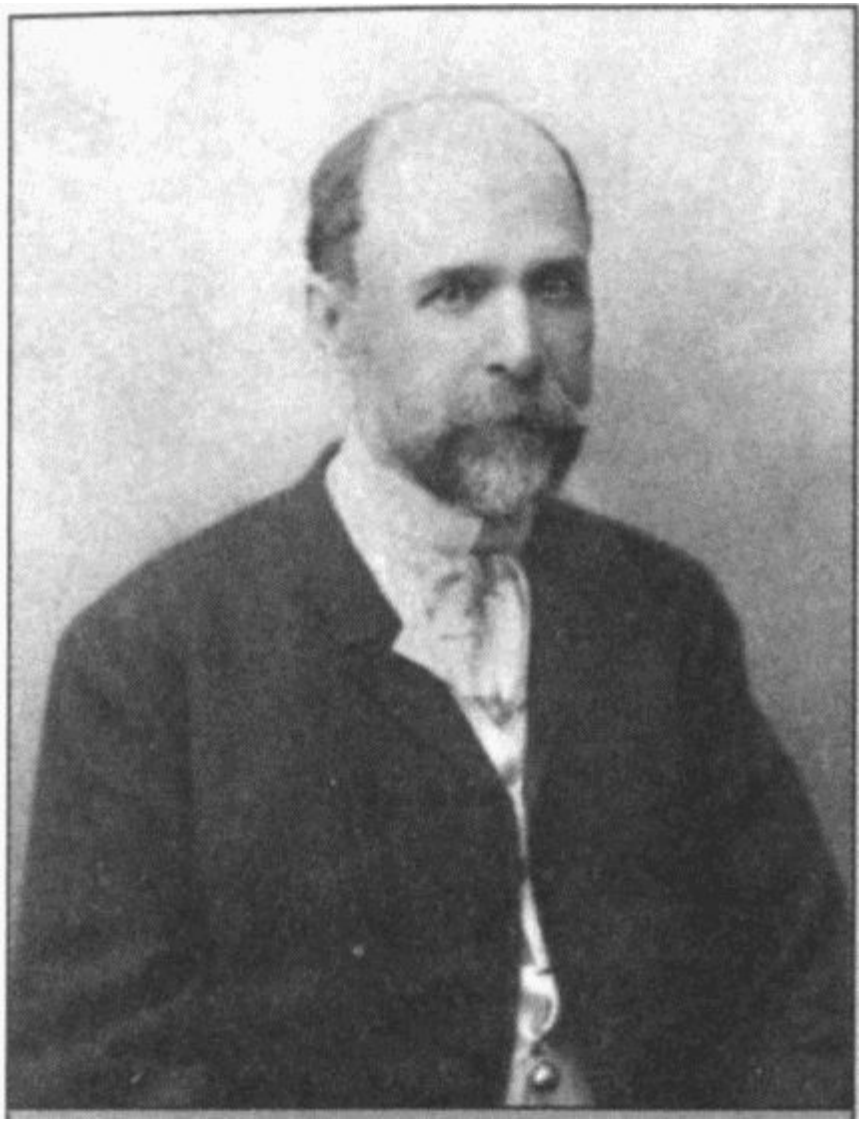
Прошли всего месяц и неделя после этого последнего письма Анны Алексеевны, и человека, которым она так восхищалась и которого так любила, не стало — 25 мая 1970 года Валентина Михайловна Ходасевич скончалась в Москве.

В письме от 2 июля 1974 года, которое Анна Алексеевна получила из Петербурга от близкого друга Валентины Михайловны, балерины Мариинского театра Татьяны Михайловы Вечесловой, есть такие слова:

«…Валя (Валюша, как я ее называла) была для меня и другом, и советчиком, и авторитетом, и художником, и учителем.

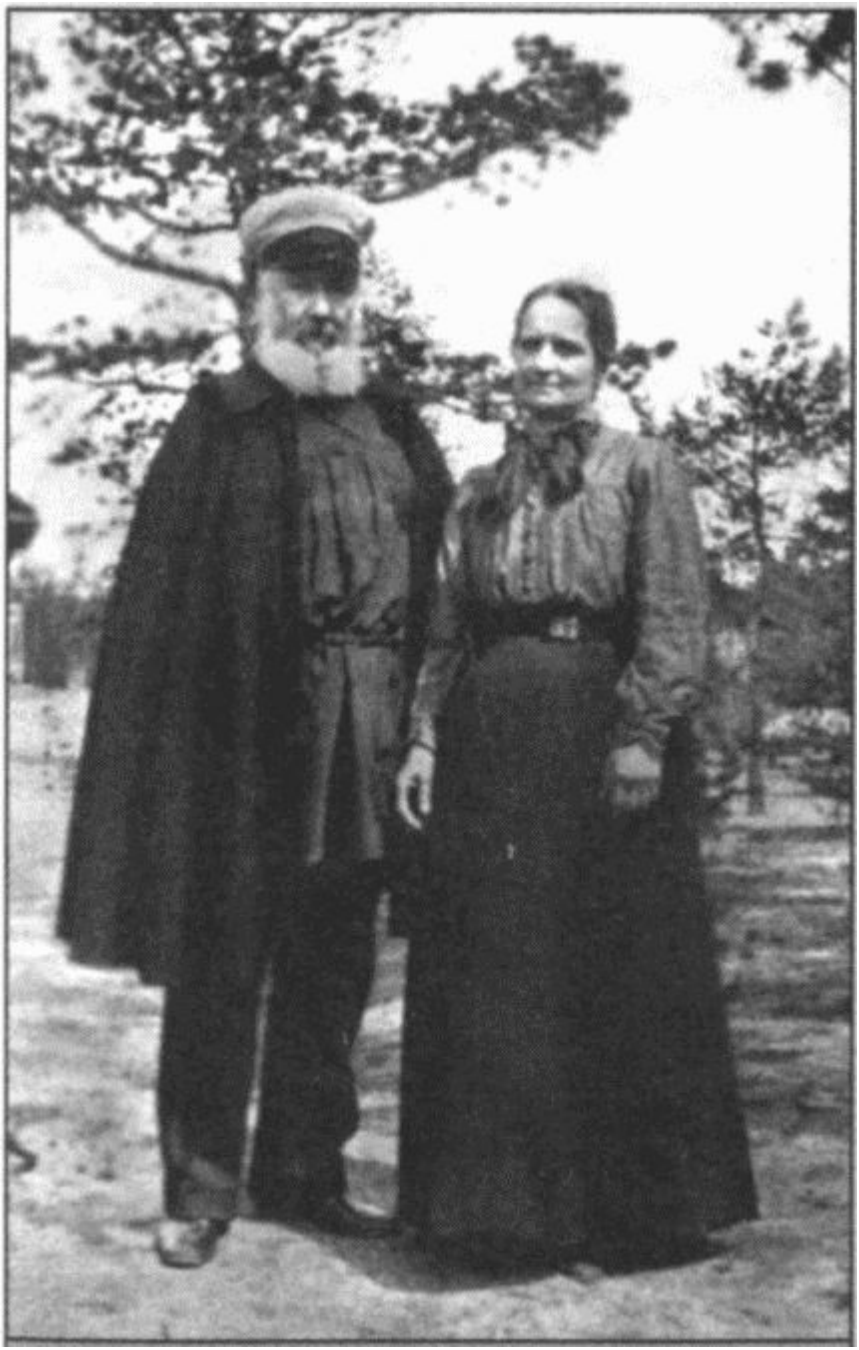
Но… ее нет. И я уже старенькая, но нежно храню память о ней. Как она говорила о Вас!!! Как ей было хорошо с Вами! Вы это знаете лучше меня…»

Иллюстрации



Дмитрий Иванович Драницын, дедушка Анны Алексеевны со стороны матери

Анна Ипполитовна Тюбукина-Филатова, сестра матери, 1877

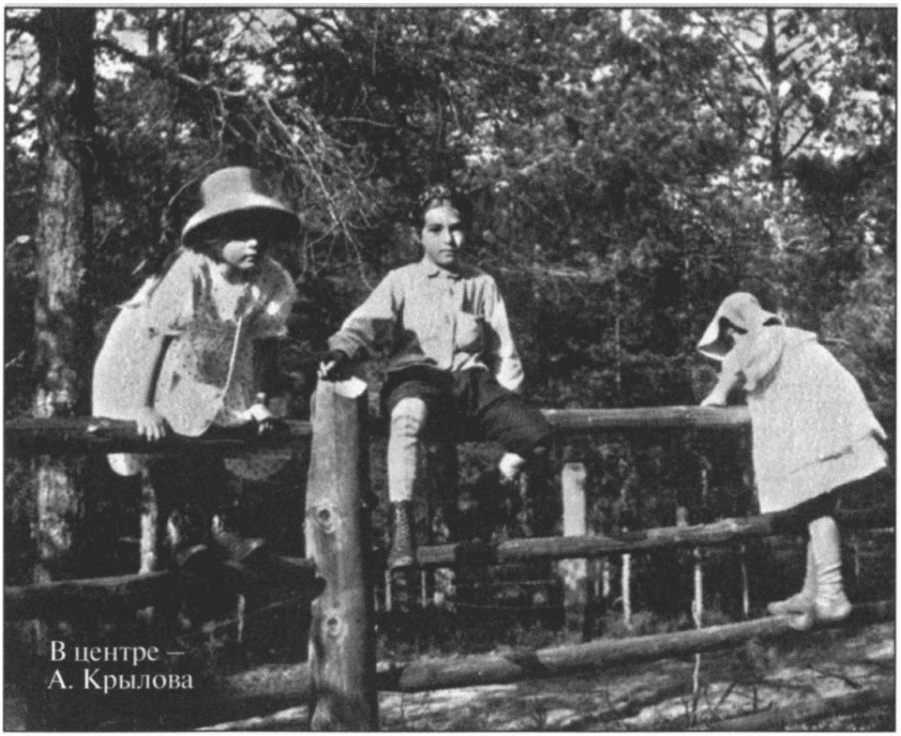


Софья Викторовна и Николай Александрович Крыловы, дедушка и бабушка со стороны отца

Алексей Николаевич и Елизавета Дмитриевна Крыловы, отец и мать, после свадьбы

Аня Крылова с мамой…

…и с папой



В центре — А. Крылова

Дача в Финляндии

А. Н. Крылов на даче в Финляндии

Теннис у Боткиных

Семья Крыловых.

Сидят: Николай Александрович и Софья Викторовна; *стоят:* Елизавета Дмитриевна, Коля, Аня, Алексей Николаевич, Алеша

Подруги.

Слева направо: Таня Минич, Наташа Бурцева, Аня Крылова, Юля Скорикова

С Ирой Глаголевой

Возвращение на пароходе из заграничной поездки, 1914
В центре — Рэймонд, брат Айседоры Дункан

Три поколения медицинских сестер

Анна Ипполитовна Тюбукина-Филатова

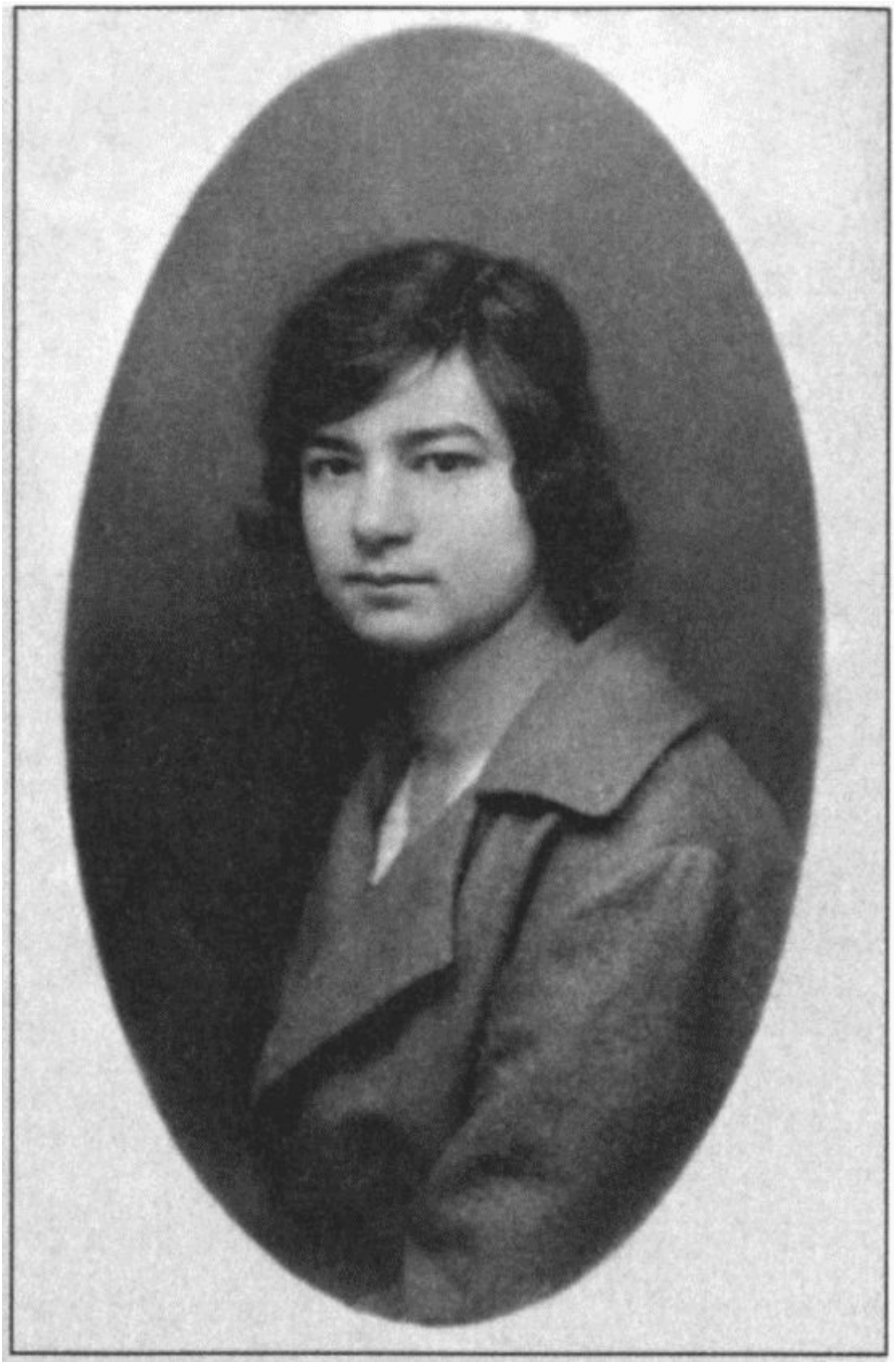
Елизавета Дмитриевна Крылова, 1914-е гг.

Анна Алексеевна Капица. Казань, 1941–42 гг.

Николай Крылов, 1914

Алексей Крылов, 1917

С мамой в военном Петрограде, 1914-е гг.



Анна Крылова. Женева, 1921

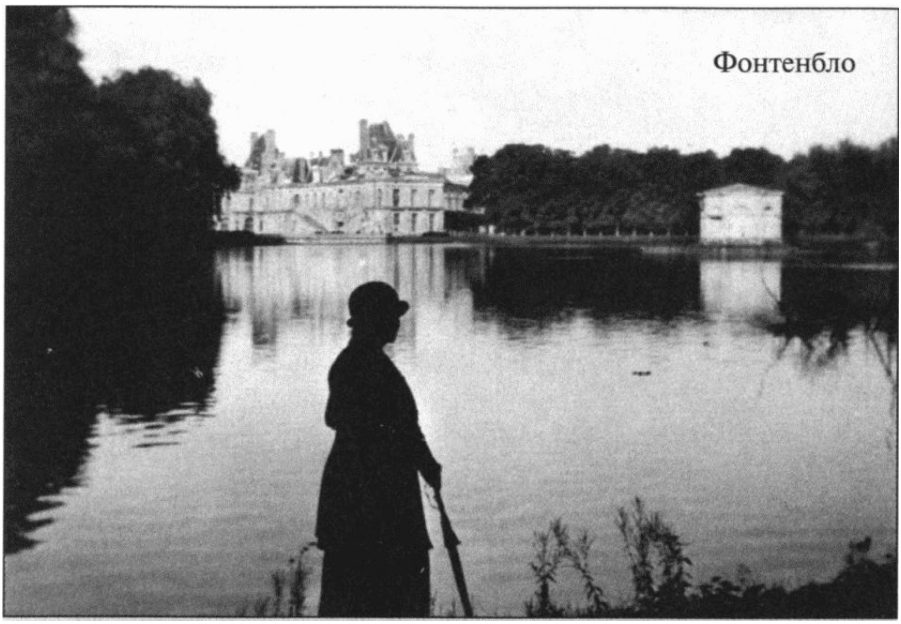
На фото надпись: «Не забывай, что мы Русские, это великое слово Россия. Мы России все, всё, всегда должны отдать».

Юрий и Ирина Зандроки, Анна Крылова, Борис Проскуряков

Велосипедные прогулки в окрестностях Парижа с Б. Проскуряковым

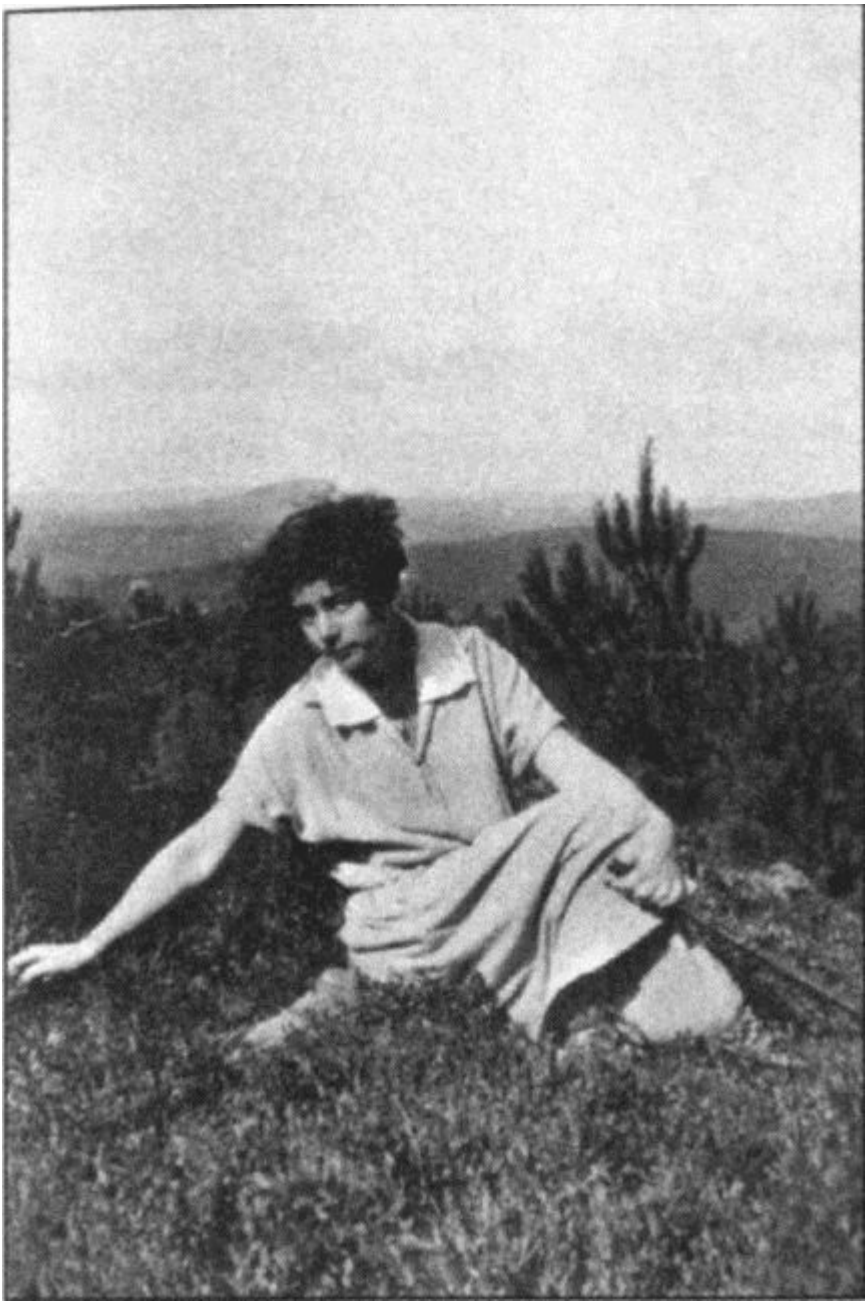
У костра

В Сан-Ремо у Боткиных



Фонтенбло

Рим
Фото А. Крыловой



Отдых в Нормандии

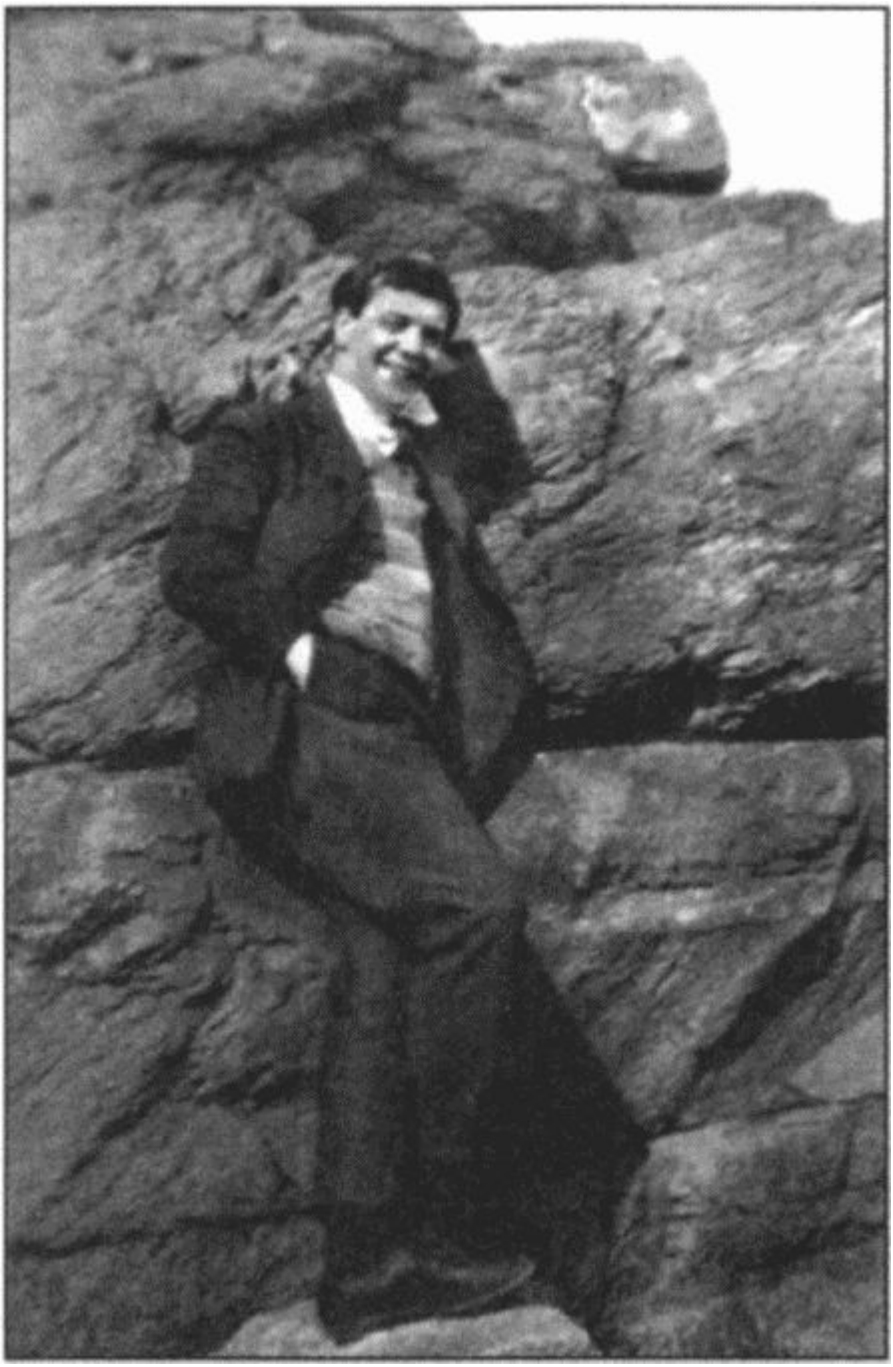
На вершине Монблана

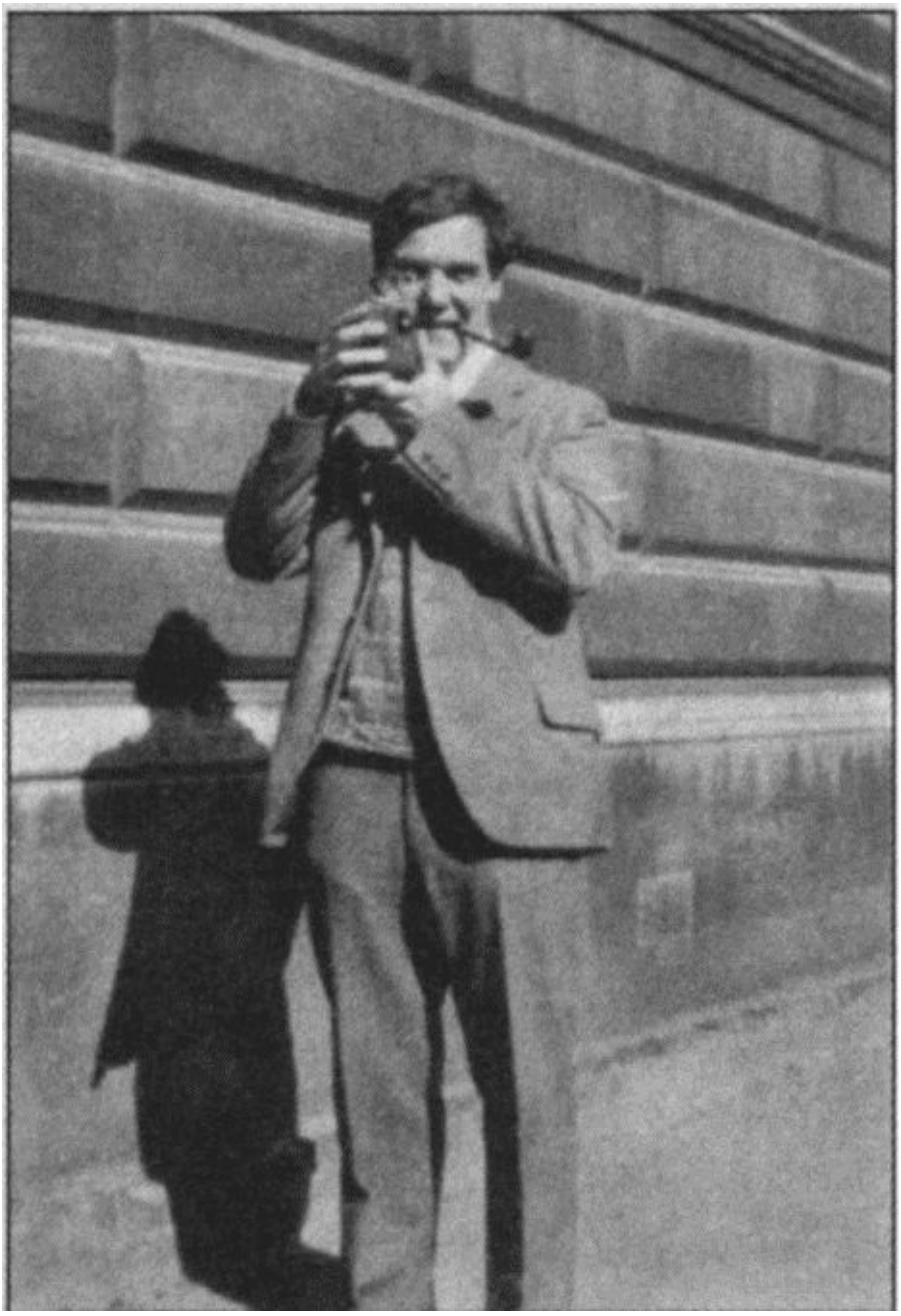
В Альпах с Рудольфом Раном, 1926

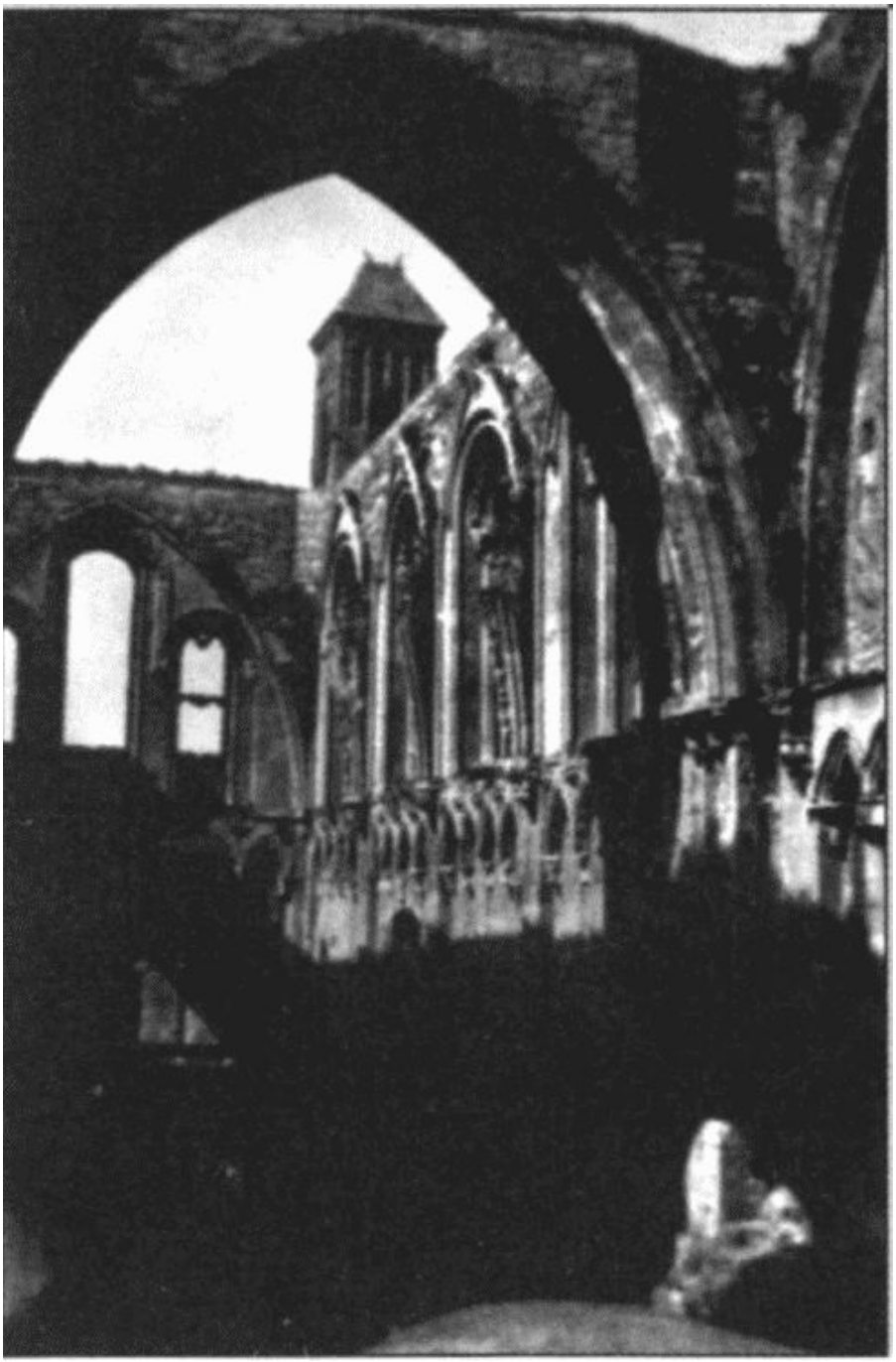
С мамой в парижской квартире

С отцом. Париж, 1927

Перед портретом мамы, Париж

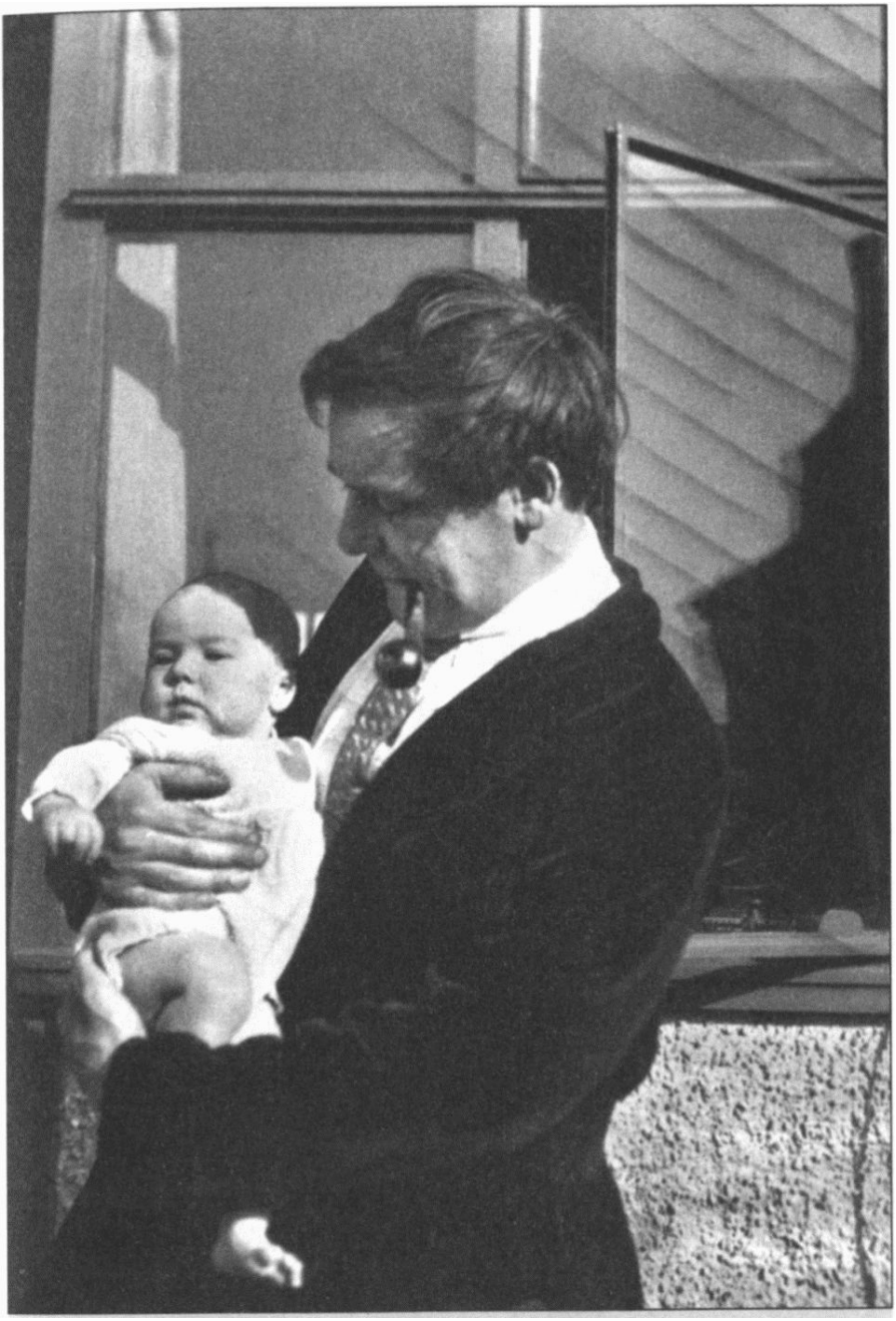






Поездка по Англии с П. Капицей, 1927

Анна Алексеевна и Петр Леонидович Капицы. Свадебная фотография, 1927



Петр Леонидович Капица с сыном Сергеем, 1928

Анна Алексеевна с новорожденным сыном Сергеем, 1928

Петр Леонидович и Анна Алексеевна с сыном Сергеем, 1928

Анна Алексеевна с Ольгой Иеронимовной Капицей и Сергеем, 1928

Елена Дмитриевна Крылова с внуком Сергеем

Сергей с младшим братом Андреем, 1931

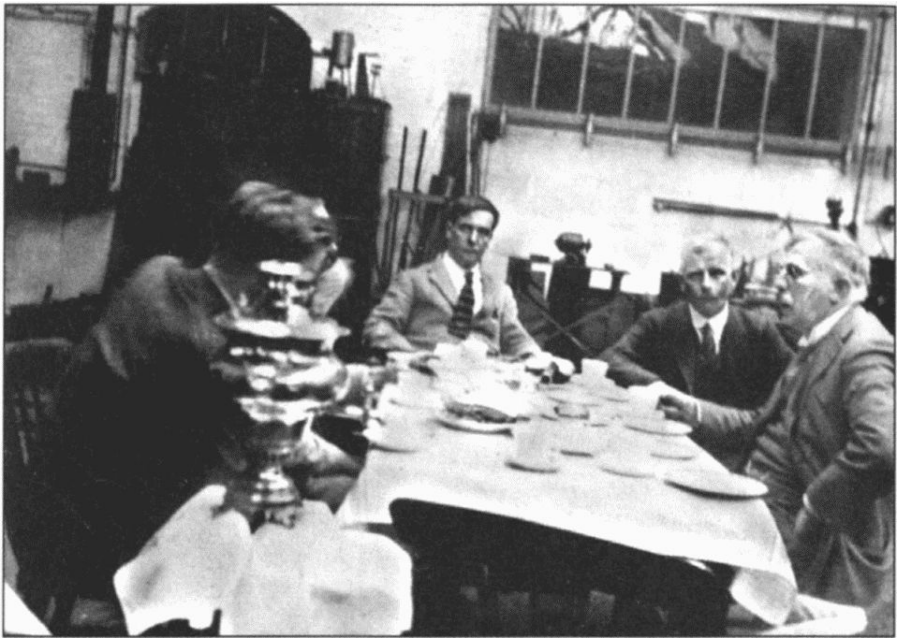
Анна Алексеевна с новорожденным Андреем и старшим сыном Сергеем, 1931

С сыновьями, 1934

В доме Капиц в Кембридже, 1927

Петр Леонидович и Анна Алексеевна, 1930

Ольга Иеронимовна Капица



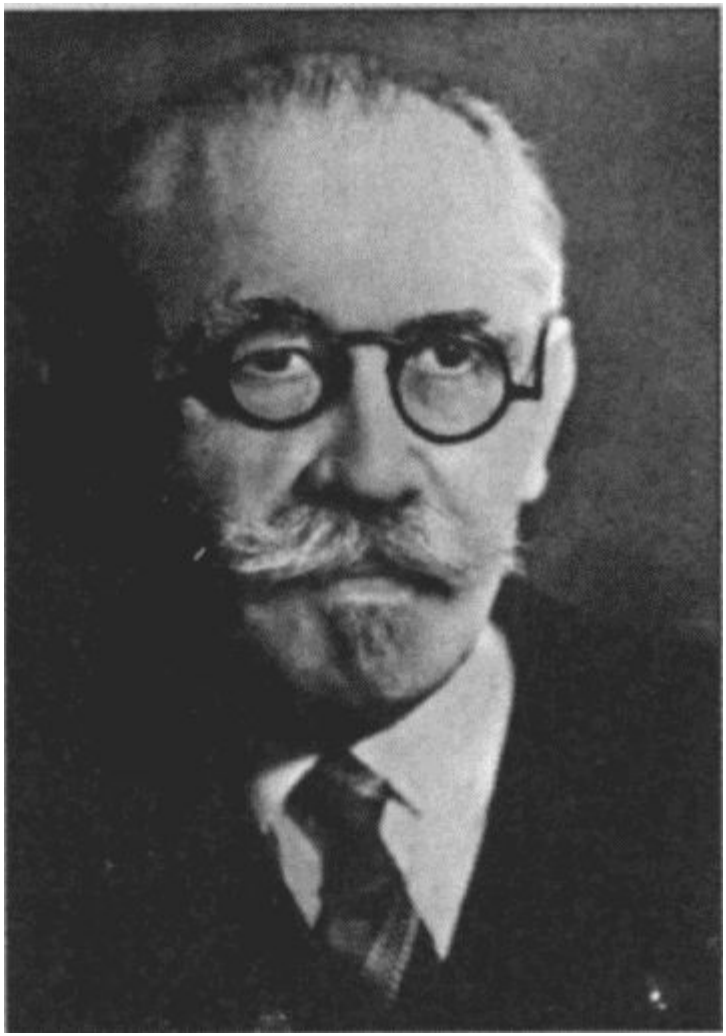
Чай в Кавендишской лаборатории

Справа налево: Э. Резерфорд, Ф. У. Астон, П. Капица, Дж. Д. Кокрофт

Фото А. Капицы

Э. Резерфорд
Фото П. Капицы

А. Н. Крылов



П. Ланжевен

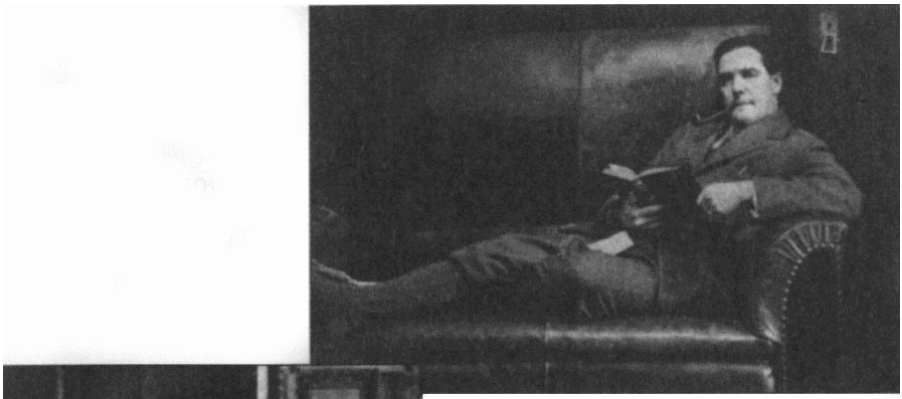
В. Анри

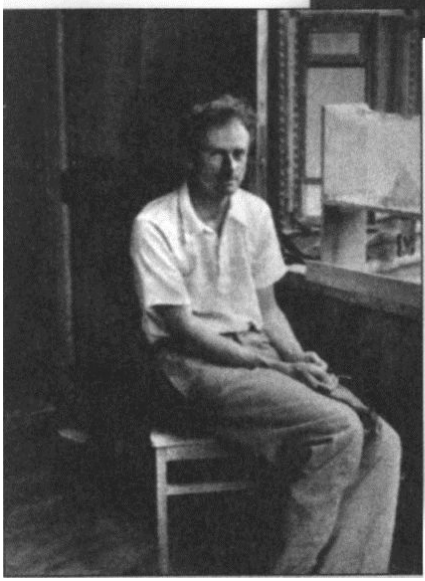
Строительство Института физических проблем в Москве, 1936

О. А. Стецкая, неизвестный, О. И. Писаржевский. Москва, 1936

Слева направо:

Ф. Я. Рабинович, его жена, Н. К. Вовк-Росохо, П. Л. Капица, А. Н. Крылов. Москва, 1936





Петр Леонидович. Москва 1936 (вверху)
П. Дирак в гостях у Капиц в Жуковке, 1936 (внизу)

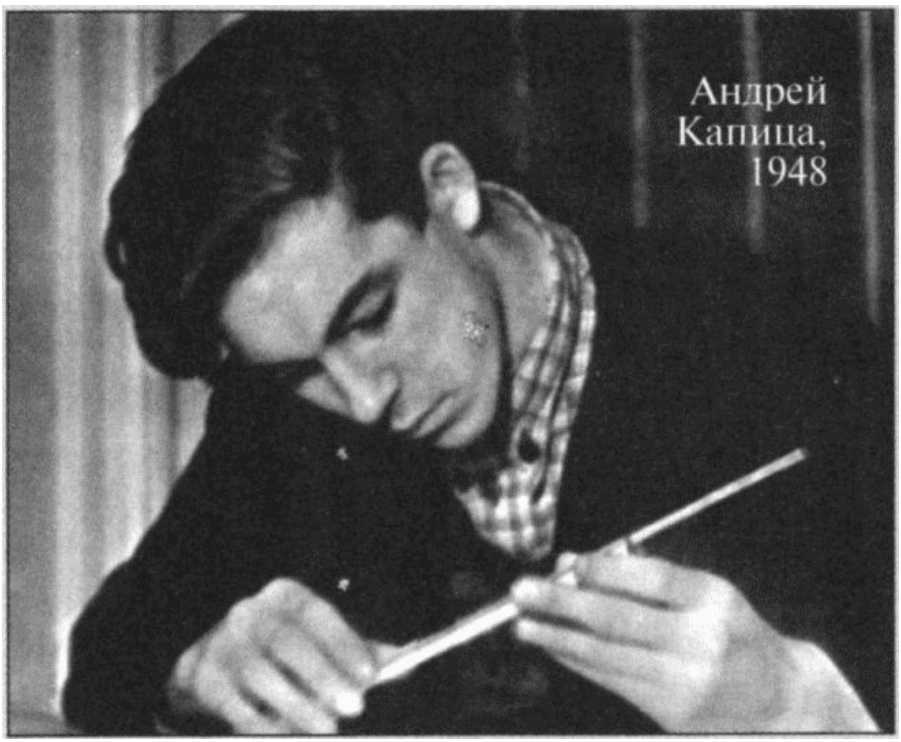
П.Л. и А.А. Капицы
с Нильсом Бором,
его женой Маргарет
и сыном Хансом.
ИФП, 1937

П. Л. и А. А. Капицы с Нильсом Бором, его женой Маргарет и сыном Хансом. ИФП, 1937

В Большево, 1936

Анна Алексеевна, 1936

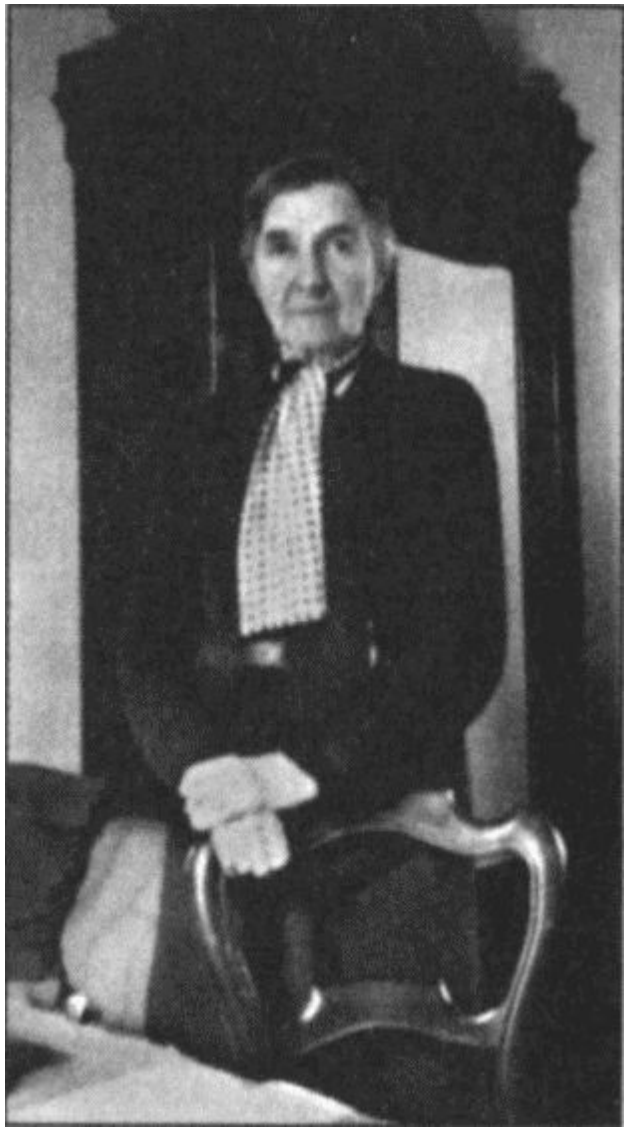
С сыном Андреем, 1945



Андрей Капица, 1948

Надпись на обороте: «Маме от умного сына Андрея в день его приезда из Ленинграда»

Е. Д. Крылова и М. И. Сабинина, 1942



Е. Д. Крылова. Париж, 1945

А. А. Капица (с М. И. Сабининой) на могиле матери на Русском кладбище в Париже, 1968

А. А. и П. Л. Капицы с М. М. и В. Д. Пришвиными. Николина Гора, начало 1950-х гг.

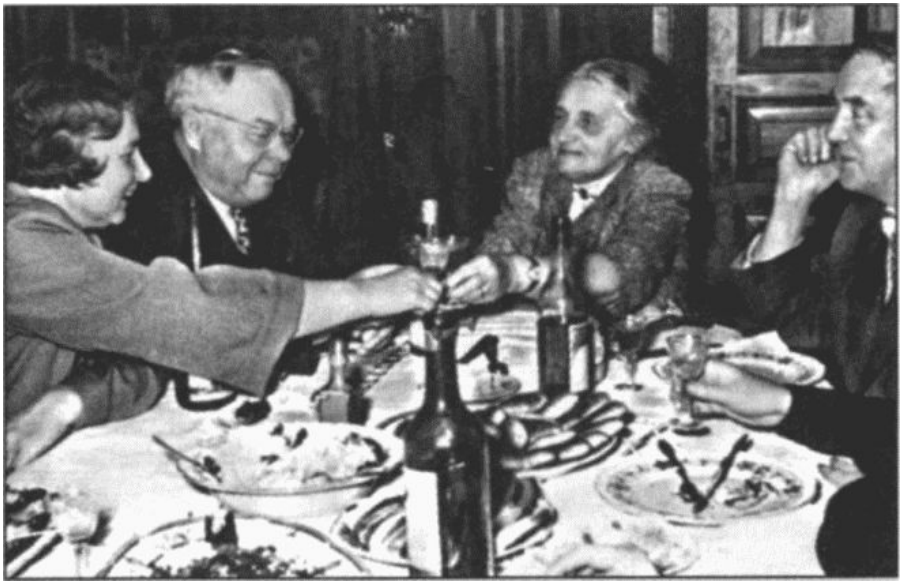
Н. К. Черносвитова-Капица (вверху)

А. А. и П. Л. Капицы на берегу Москвы-реки, 1952 (внизу)

А. А. Капица с Б. Н. и Е. К. Ливановыми. Николина Гора, начало 1950-х гг.

Разлив на Москве-реке, начало 1950-х гг.

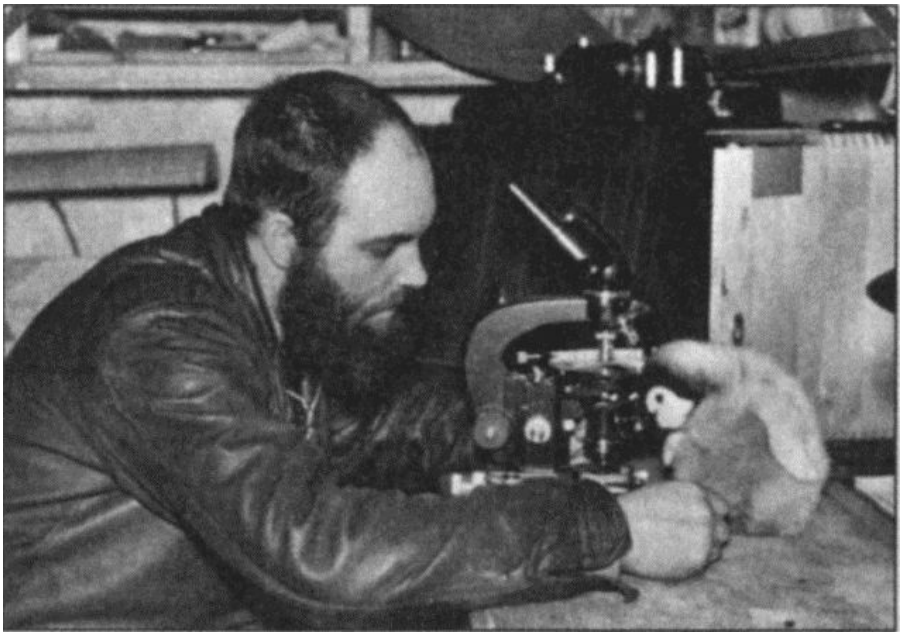
Всегда вместе



А. А. Капица, В. В. Иванов, Е. П. Пешкова, П. Л. Капица, начало 1950-х гг.

Николина Гора, начало 1950-х гг.

С гостем — П. Дираком. Николина Гора, 1956



Андрей Капица в Первой Антарктической экспедиции, 1955–1956 гг.

А. А. и П. Л. Капицы с Мартиросом Сарьяном по дороге в Гарни Гегарт, 1956

А. А. и П. Л. Капицы с Сергеем и его женой Татьяной. Татры, 1961

notes

Примечания

1

Петр Леонидович Капица. Воспоминания. Письма. Документы. М.: Наука, 1994 (сост. Е. Л. Капица, П. Е. Рубинин).

2

Крылов А. Н. Воспоминания и очерки. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1956.

3

Капица П. Л. Письма к матери. 1921–1926. // Новый мир. 1986. № 5. С. 192–216; № 6. С. 195–218 (сост. П. Е. Рубинин), *Капица П. Л.* /Из писем к матери (1930–1934)/ Публ. П. Е. Рубинина// Русская культура XX века на родине и в эмиграции. Вып. 2.М.,2002.

4

Капица П. Л. Письма о науке. 1930–1980. М.: Моск. рабочий, 1989 (сост. П. Е. Рубинин).

5

Неточная цитата из стихотворения Кондратия Рылеева «Иван Сусанин». У Рылеева:

> Предателя, мнили, во мне вы нашли:
> Их нет и не будет на Русской земли!
> В ней каждый отчизну с младенчества любит
> И душу изменой свою не погубит.

Крылов Николай Алексеевич, брат Анны Алексеевны.

7

Имение бабушки Анны Алексеевны — Анны Ипполитовны Тюбукиной.

8

Когда Петр Леонидович узнал, что Анна Алексеевна учится на археологическом отделении Луврской школы и много работает в архивах, он стал звать ее архивной крысой. Это прозвище привилось на всю их дальнейшую жизнь.

9

Ассоциация молодых христианок *(англ.)*.

10

Отдел виз Британского посольства в Париже.

11

Музей Гиме. Музей восточных культур, был основан в 1879 г. в Лионе французским промышленником, археологом и музыкантом Э. Гиме (1836–1918). В 1884 г. Музей был переведен в Париж, а в 1945 г. стал Отделом искусства Азии в Лувре.

12

Недавние археологические открытии на Дальнем Востоке *(фр.)*.

13

Курсивом — здесь и далее — даются примечания Анны Алексеевны. *Мой двоюродный брат Дм. Ник. Глаголев. Морской офицер, капитан дальнего плавания. Увлекался Christian Science. Сначала мы думали пожениться, но я, встретив П. Л., поняла, что моя жизнь — с П. Л. Митя был несколько огорчен, но в это время плавал и работал в Индонезии. Там встретил очень интересную русскую девушку, поэта, и они поженились. После жизни в Австралии, они были уже на пенсии, купили дом в Англии и там жили. Под конец жизни случилась трагедия, дом загорелся, Митя вынес жену, но она скоро умерла, и он тоже.*

14

Вероятно, дочка Хирьяковых (старый толстовец). Я была ее крестной матерью. Но в тот момент, как я спита женой П. Л. и советской гражданкой, они (жена) меня прокляла, вполне серьезно. Но это было позднее, а сейчас я им всячески помогала, потому что мы были большими друзьями.

15

«Ротонда» — очень известная кофейня, где встречались художники, писатели и др. В центре Montparnasse, где было много мастерских художников, где я часто рисовала в свободных мастерских с обнаженной натурой.

16

H[eur] — час *(фр.)*.

17

Музей декоративно-прикладного искусства, основанный в 1852. В 1899 г., когда королева Виктория заложила первый камень нового здания музея, он получил свое нынешнее название — в честь королевы и ее мужа. Был открыт в 1909 г. королем Эдуардом VII.

18

Королевская резиденция в юго-западном пригороде Лондона. Картинная галерея.

19

Тейт Галерея, художественный музей в Лондоне, основанный в 1897 г. промышленником Г. Тейтом (1819–1899). Представлены, в частности, произведения Тернера и импрессионистов.

20

Собор Святого Павла.

21

Тауэр (*англ.* — башня), с конца 11 в. замок-крепость в Лондоне, одна из королевских резиденций (до 17 в.); главная государственная тюрьма (до 1820 г.), затем музей.

«Синий вепрь» *(англ.)*.

Т.е. в Кавендишской лаборатории.

24

В этот день Капица рассказал Анне Алексеевне о своей первой семье, о ее гибели зимой 1919/1920 г. в Петрограде во время эпидемии гриппа.

25

Харитон Юлий Борисович (1904–1996), физик, ученик Н. Н. Семенова. В 1926–1928 гг., благодаря содействию П. Л. Капицы, проходил стажировку в Кембридже в Кавендишской лаборатории.

Семенова Наталия Николаевна.

Palestine Exploration Fund. (Фонд исследования Палестины).

28

Двоюродная сестра Анны Алексеевны.

29

Старинная церковь Челси *(англ.)*.

П. Л. Капица.

31

Один из лондонских парков.

32

Ботанический сад в Лондоне.

33

Состязание по гребле (*англ.*).

34

Стонхендж, крупнейшая мегалитическая культовая постройка 2-го тысячелетия до н. э. в Великобритании близ г. Солсбери. Земляные валы, огромные каменные плиты и столбы образуют концентрические круги.

35

Приходящая домработница *(фр.)*.

36

В мае 1927 г. правительство Великобритании разорвало дипломатические отношения с СССР. Осенью 1929 г. они были восстановлены.

37

Речь идет о Рудольфе Ране, немецком дипломате.

38

Прозвище, придуманное П. Л. Капицей для Резерфорда, которого он очень боялся в первые месяцы своей работы в Кембридже.

Лондонское королевское общество *(англ.)*.

Няня *(англ.)*.

41

Не удалось установить о ком идет речь.

42

30 октября 1929 г. С. Ф. Ольденбург постановлением Совнаркома был снят с поста Непременного секретаря АН СССР в связи с «делом Академии наук».

О ком идет речь, установить не удалось.

44

Лена-Гольдфильдс — английская компания, которой принадлежали до революции знаменитые золотые прииски на р. Лене. Во время НЭПа возобновила разработки.

45

6 мая 1932 г. президент Франции П. Думер был убит русским эмигрантом П. Т. Горгуловым.

Санаторий Академии наук.

47

Конструктор (игрушка).

Пушкинский музей, созданный в Париже А. Ф. Онегиным, был им подарен Пушкинскому дому в Ленинграде. Передачу коллекции организовали А. Н. Крылов и А. Б. Ферингер.

49

Кембриджская инструментальная компания *(англ.)*.

Я полагаю, что вы оба столь же по-детски неблагоразумны как и ваш ребенок *(англ.)*.

51

Красавица *(фр.)*.

52

Отчет Комитета, назначенного Министром торговли для рекомендаций по установлению грузовых ватерлиний торговых судов *(англ.)*.

В первую очередь — безопасность *(англ.)*.

Имеется в виду Кавендишская лаборатория Кембриджского университета.

55

Речь идет об Украинском физико-техническом институте.

Автомобильчик (от *англ.* the car).

Старший брат Петра Леонидовича.

Вовк-Росохо Надежда Константиновна, жена А. Н. Крылова. Моисеенко Евгения Николаевна, ее подруга.

59

Речь идет об аспирантах Капицы в Мондовской лаборатории Дэвиде Шёнберге и Кристофере Мильнере.

«Человек из Арана» *(англ.)*.

61

С Иваном Петровичем Павловым Капица познакомился в Англии в 1923 г. В 1928 г. Павлов даже присутствовал в доме Капиц в Кембридже на крестинах их старшего сына Сергея.

62

Хилл Арчибальд Вивьен (1886–1977), английский физиолог, лауреат Нобелевской премии (1922). Труды по термодинамике мышечного сокращения.

63

Речь идет о Ланжевене.

См. письмо П. Л. Капицы от 28 октября (№ 10).

65

Анна Алексеевна имеет в виду гибель первой семьи Петра Леонидовича зимой 1919/1920 гг. во время эпидемии гриппа в Петрограде. Об этом страшном времени вспомнил и П. Л., когда писал жене 8 апреля 1935 г.: «Мое положение сейчас напоминает то душевное состояние, в котором я был лет 16 назад, когда я потерял жену и двух детей. Мне было очень тяжело, та же апатия и то же отсутствие желания жить» («Капица. Воспоминания…». С. 386).

По всей видимости намек на то, что он получил секретное письмо, скрытое в мыльной пасте для бритья, которое Анна Алексеевна ему прислала (см.).

67

Клушина Александра Николаевна, редакционный работник, была редактором ряда научно-популярных технических журналов. Познакомилась с Капицами у Фрумкиных, которые жили в соседней квартире. Была женой В. В. Куйбышева. Брак распался. Член партии. Познакомила Капицу с широким кругом своих друзей и знакомых (О. А. Стецкая, Ф. Я. Рабинович, К. Л. Зелинский и др.).

«Бремя белого человека» *(англ.)*.

69

«Скажите ему, что у меня есть еще порох в пороховницах» *(англ.)*.

Вильям Вебстер.

71

Коттон Эме (1869–1951), французский физик-экспериментатор.

72

«Honni soit qui mal y pense» — «Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает» *(фр.)*. Девиз британского «Ордена Подвязки», учрежденного королем Эдуардом III.

Макс Борн.

Royal Society — Королевское общество *(англ.)*.

75

Т.е. кухарка Капиц. Речь идет о газете «Ньюс Кроникл».

На русском языке письмо Резерфорда было опубликовано в журнале «Природа» в выпуске, посвященном 100-летию со дня рождения П. Л. Капицы (1994. № 4. С. 118–119).

«Нуждается в обстановке полного душевного покоя» *(англ.)*.

78

«Научные работники во всем мире» — слова из письма Резерфорда в «Таймс».

79

Речь идет о писателе Герберте Уэллсе. Летом 1921 г. он устроил у себя дома прием в честь делегации советских ученых, приехавших в Англию во главе с академиками А. Ф. Иоффе и А. Н. Крыловым, отцом Анны Алексеевны. Приглашен был и П. Л. Капица. Из воспоминаний Анны Алексеевны: «Петр Леонидович никогда до этого с Уэллсом не встречался и не знал его в лицо. А у того было такое симпатичное простое лицо с усами. Когда Петр Леонидович и Алексей Николаевич (Крылов — *П. Р.*) поднялись к нему, отворилась дверь, и их встретили два человека во фраках — один был лакей, а другой — Уэллс. Петр Леонидович решительно не мог понять, кому надо отдать пальто. И дал, конечно, не тому, кому надо! Уэллс с милой улыбкой принял пальто и передал его лакею» (Петр Леонидович Капица: Воспоминания. Письма. Документы. М.: Наука. 1994. С. 65).

80

Имеется в виду Бернард Шоу, с которым Капица познакомился в поезде в 1931 г., когда тот вместе с лордом и леди Астор возвращался из поездки в СССР. Капица рассказал об этой встрече в письме матери (см.: Известия. 2001. 8 сент. № 165. С. 6).

«Общительной» *(англ.)*.

Имеется ввиду, что надо оставить их во Франции с бабушкой.

83

Ф. Э. Смит, секретарь Королевского общества. Капицы между собой звали его почему-то Федором Ивановичем.

84

С. Вебб. О нем и его жене см. примечание к письму Анны Алексеевны. № 1 (от 3–5 октября 1934 г.).

Т. е. не расстреляют.

Освежаешь в памяти свой английский… *(англ.)*

Это письмо Капицы обрадовало его жену. «Я только что вновь просмотрела его письмо и заметила, что он считает, что лучше послать побольше пленок. И я подумала, что тогда лучше, вместо 12-ти, послать 24, — пишет Анна Алексеевна немецкому другу П. Л. Капицы Росбауду 6 августа. — Тогда у него их хватит надолго. Я так рада, что он чего-то хочет. Это внушает мне надежду, что к нему снова вернется его поразительный интерес к жизни и способность радоваться вещам, его окружающим».

Речь идет о советнике полпредства С. Б. Кагане.

89

All Russian Cooperative Society Limited, с 1922 г. — Arcos Ltd., акционерное торговое общество. Учреждено в 1920 г. в Лондоне советской кооперативной делегацией.

Мотор-генератор, о котором идет речь, был построен в 1924 г. на заводе концерна «Виккерс» в Манчестере.

91

Невинный младенец *(англ.)*.

Трансформатор Уатсона и переключатели *(англ.)*.

93

Страховая компания.

94

Речь идет о письме Сталину от 1 декабря 1935 г. (См. Есаков В. Д., Рубинин П. Е., Капица П. Л. Кремль и наука. Т. 1. Создание Института физических проблем./ М.: Наука, 2003, С. 360–363.

95

Речь идет о мотор-генераторе, с помощью которого получали сильные магнитные поля. Он должен был прибыть в Москву с первой партией научного оборудования Мондовской лаборатории. В лаборатории его называли обычно «машиной» или «большой машиной».

Английская фирма-экспедитор.

«Mendeleev Cabinet». Cabinet в данном случае — шкафчик с выдвижными ящиками, в котором размещалась коллекция сверхчистых веществ, собранная П. Л. Капицей.

Комплекс неполноценности *(англ.)*.

99

Речь идет о палехской шкатулке, которую Анна Алексеевна привезла из Москвы в подарок Резерфорду.

100

В тексте письма рисунок — автомобиль, на рисунке помечено окно, о котором идет речь.

101

Разрешение *(англ.). Здесь*: водительские права.

Удостоверение личности *(англ.)*.

Капица был основателем и главным редактором (вместе с Р. Г. Фаулером) Международной серии монографий по физике, издаваемой Оксфордским университетским издательством.

104

Художественный музей Кембриджского университета, созданный на средства, завещанные университету потомком старинного дворянского рода Ричардом Фицвильямом (1745–1816).

105

Музей имени королевы Виктории и ее мужа Альберта в Лондоне.

106

Жена Э. Резерфорда.

107

Был членом Лондонского Королевского общества — Fellow of the Royal Society.

108

Речь идет о фотографиях известных физиков, к которым Капица обратился с просьбой прислать ему свои портреты, чтобы они украсили Мондовскую лабораторию. В настоящее время эта коллекция представлена в Мемориальном музее П. Л. Капицы.

109

8 июля 1944 г. П. Л. Капица был награжден орденом Ленина по случаю своего 50-летия.

110

Указом Президиума ВС СССР от 30 апреля 1943 г. большая группа сотрудников ИФП была награждена орденами и медалями «За успешную работу по разработке и внедрению нового метода получения жидкого воздуха и жидкого кислорода». П. Л. Капица получил орден Ленина, О. А. Стецкая орден «Трудового Красного Знамени».

111

Капица П. Л. Письма о науке. М.: Моск. рабочий, 1989. С. 197–198.

Имеется в виду Главкислород.

113

Приписано на левом поле рукой П. Л. Капицы.

Впервые Молотов принял Капицу 13 мая 1935 г.

115

Вдова старшего брата Петра Леонидовича и его племянник Леонид погибали от голода в блокадном Ленинграде и только благодаря усилиям Петра Леонидовича их удалось эвакуировать весной 1942 года.

116

Имеется в виду математик Алексей Андреевич Ляпунов и его семья.

117

Е. Н. Моисеенко, опекавшая А. Н. Крылова после смерти Н. К. Вовк-Росохо.

Н. А. Окул, племянница О. А. Стецкой.

119

По-видимому, речь идет о В. М. Молотове.

120

Медаль имени Фарадея Института инженеров-электриков (Великобритания).

121

Речь идет о книге А. Н. Крылова «Мои воспоминания», которую он писал в эвакуации в Казани. Она вышла в свет в 1942 г.

122

В архиве Анны Алексеевны был найден сложенный пополам листочек, на котором карандашом был написан приведенный ниже текст. По-видимому, начало его утеряно.

с проседью *(англ.)*.

«Жизнь термитов» *(фр.)*.

125

Чайковский П. И. Переписка с Н. Ф. фон Мекк. Изд. Academia. Т. 1–3. 1934–1936.

126

Речь идет о первом в мире беспосадочном перелете через Северный полюс Москва — Портленд (США), совершенном В. П. Чкаловым, Г. Ф. Байдуковым и А. В. Беляковым.

127

Всемирная выставка 1937 года в Париже.

Грабарь И. Моя жизнь. Автомонография. М.—Л. 1937.

129

Речь идет о М. М. Расковой, П. Д. Осипенко и В. С. Гризодубовой, совершивших беспосадочный перелет Москва — Дальний Восток.

130

Адрес Е. Д. Крыловой в Париже: 11, Rue Crespin du Gast XI.

Установить, кто это был, не удалось.

132

Имеется в виду повесть К. Симонова «Дни и ночи» (1943–1944).

133

Télégraphie sans fils — телеграф без проводов *(фр.),* радиоприемник.

134

Имеется в виду Парижская мирная конференция 1946 года, которая продолжалась с 29 июля по 15 октября.

135

Пьеса К. Симонова.

136

Архив П. Л. Капицы в Институте физических проблем РАН.

137

Моисеенко Евгения Николаевна.

138

Домашняя работница Капиц.

139

Наталья Михайловна Гердзей-Капица.

Валентина Осиповна, жена Леонида Михайловича Капицы, двоюродного брата П. Л. Капицы.

141

По-видимому, кто-то из московских учителей Андрея Капицы.

142

Михаил Леонидович Капица, сын двоюродного брата П. Л. Капицы.

143

Ильин М. (псевдоним, наст. имя и фамилия Илья Яковлевич Маршак), писатель. Брат С. Я. Маршака.

144

Из воспоминаний А. П. Капицы об отце: «Однажды, возвращаясь с охоты, отец подстрелил коршуна. Выстрел был очень дальний, и всего одна дробинка перешибла крыло хищнику. Некоторое время он жил у нас, и ему дали кличку „Паулюс“, в честь плененного под Сталинградом немецкого фельдмаршала. Прожил коршун недолго и умер от заражения крови, а его чучело до сих пор висит у нас на стене на даче» (Петр Леонидович Капица: Воспоминания. Письма, Документы. С. 302–303).

145

С сентября 1947 по январь 1950 г. П. Л. Капица заведовал кафедрой и читал курс общей физики на физико-техническом факультете МГУ.

Прострел луговой или сон-трава.

147

Неясно, о чем идет речь. Не мог вспомнить и Андрей Петрович Капица.

148

Речь идет о новом издании книги: А. Н. Крылова «Воспоминания и очерки» (М.: Воен. Издат., 1949). Вступительную статью к этой книге написал С. Я. Штрайх.

149

По-видимому, речь идет о разговорах, касающихся опального положения П. Л. Капицы.

150

9 июля — день рождения Петра Леонидовича и Андрея.

151

После окончания Московского авиационного института С. П. Капица стал работать в ЦАГИ.

Ходасевич В. Портреты словами. М.: Советский писатель. 1987.

Герасимов М. М. Основы восстановления лица по черепу. М.: «Советская наука», 1949.

154

А. П. Капица вернулся из первой своей антарктической экспедиции.

155

Речь идет о Международном фестивале молодежи, который в 1957 г. проходил в Москве.

156

Речь идет об обострении политической обстановки во Франции в связи с военными действиями в Алжире, который боролся за национальное освобождение.

157

Здесь: избыток богатств *(фр.)*.

158

В Свердловске проходило очередное Всесоюзное совещание по физике низких температур, председателем которого был П. Л. Капица. И Анна Алексеевна, как всегда, сопровождала его.

159

«Относиться к кому словесно, письменно: обращаться, говорить или писать кому» (Толковый словарь В. Даля. 1881. Том 11. С. 741. Факсимильное переиздание, 1955).

160

Речь идет о проф. Х. Неводничанском.

161

Казанлыкская гробница, античное подкурганное погребальное сооружение в Болгарии, у г. Казанлык. Выдающееся произведение греко-фракийского искусства конца 4 — начала. 3 вв. до н. э.

162

День рождения П. Л. Капицы.

163

В. М. Ходасевич находила, по-видимому, сходство Анны Алексеевны с одним из фаюмских портретов.

164

Это и следующие пять писем Анна Алексеевна написала из больницы, где лежала со сломанной ногой.

165

Речь идет о книге воспоминаний В. М. Ходасевич.

Владислав Ходасевич.

167

Чародей *(фр.)*. Прозвище, придуманное Валентиной Михайловной.

168

San Gimignano, город в Италии, в провинции Сьенна. Средневековый город, сохранивший свою крепостную ограду, 12 башен, дворцы, церкви.

169

Ура! Ура! Ура! *(нем.)*.

170

Записки и письма А. А. Капицы за январь-февраль 1965 г. адресованы в больницу, где в это время лечилась В. М. Ходасевич.

171

Такое прозвище придумала для А. А. Валентина Михайловна.

Cour des Miracles *(фр.)*. Двор чудес (квартал в средневековом Париже, где обитали профессиональные нищие).

173

Капица П. Л. Жизнь для науки.: Ломоносов. Франклин. Резерфорд. Ланжевен. М.: Знание, 1965.

Букв. «ради почета» *(лит.)*. Почетная ученая степень, присуждаемая за научные заслуги, без защиты диссертации.

175

Речь идет о статье главного редактора «Правды» А. М. Румянцева «О партийности творческого труда советской интеллигенции» (9 сентября 1965 г.).

176

Речь идет о книге Э. Делакруа «Мои дневники».

В. М. Ходасевич в это время лечилась в клинике проф. В. Х. Василенко в Первом Медицинский институте.

Бомонд *(фр.)*.

179

Великолепный *(ит.)*.

180

Myosotis — незабудка *(лат.)*. Намек на цвет глаз.

181

Refectory *(англ.),* столовая в университете, школе.

182

Речь идет о выставке Михаила Кулакова в ИФП.

183

Bouillabaisse — рыбная похлебка с чесноком и пряностями.

Гобелен *(фр.)*.